В данной книге,
использованы журнальные иллюстрации

Художников:

Геннадия НОВОЖИЛОВА
«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Георгия КОВЕНЧУКА и
Шимо КЛАИЧА (Югославия)
«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»,

Николая КОШКИНА
«ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА»

И.МЕЛЬНИКОВА
«ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ ИЛИ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ»

ПУБЛИКАЦИИ:

«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
ЮНОСТЬ 1970 №9-11

«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»
АВРОРА 1972 №7-10

«ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА»
Знание-сила 1976 №9-12, 1977 №1

«ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ ИЛИ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ»
ЮНОСТЬ 1988 №6-7

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ В ЖУРНАЛЬНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Выпуск 2

Сборник

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ

2020

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

«Как сообщают, в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышла желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса...»
Из газет.

Глава 1

Я оставил машину, вылез и снял черные очки. Все было так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым, над входом красовалась траурная вывеска «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх лавсановой рубашки. Тяжелой, медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля и долины Бутылочного Горлышка.

— Там... — произнес он неестественно низким и глухим голосом. — Вон там это произошло. — Он простер указующую руку. В руке был штопор. — На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин, — все тем же глухим голосом продолжал владелец. — Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только бог, и земля дрогнула, когда он грохнулся об нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Привет от инспектора Згута, — сказал я, и владелец тут же охотно прервал себя.

— Вот достойный человек! — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. — Я вижу, он не забыл наши вечера у камина.

— Он только о них и говорит, — сказал я и повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

— Ни шагу назад! — строго произнес он. — Этим займется Кайса. Кайса! — трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака — великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был бы не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукою уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные

низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, и хозяин распахнул на столе громоздкий гроссбух.

— Прежде всего разрешите представиться, — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. — Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..

— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях с моим чемоданом в руке стояла этакая кубышечка, пышечка этакая лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку.

— Это Кайса, — сообщил мне хозяин.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... м-м...

— Глебски, — сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура, — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. — В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски, — продиктовал я. — Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, упал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. — Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу.

— Пойдемте, — сказал хозяин, вставая. — Я провожу вас.

Мы поднялись в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь, — произнес он прежним глухим голосом. — Прошу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня... — начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посередине комнаты висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм... — сказал я озадаченно. — По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется, «данхилл». Из трубки поднимался дымок.

— Живет... — произнес наконец хозяин. — Живет ли?..

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь, — окрепшим голосом продолжал хозяин, — вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да! — сказал хозяин с вызовом. — Это его трубка. Это вот его куртка. А вот это его альпеншток...

— А вот это его газета, — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мюрский вестник».

— Нет, — сказал хозяин. — Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление, — согласился я.

— Газета, конечно, не его, — повторил хозяин. — И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет, — задумчиво возразил хозяин, — здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим-об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенного шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор, и хозяин распахнул передо мною дверь четвертого номера.

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе ни пылинки, за промытым окном снежная равнина и сиреневые горы. В спальне хозяйничала Кайса. Чемодан мой

был раскрыт, вещи аккуратно разложены и развешаны, а Кайса взбивала подушки.

— Ну вот вы и дома, — сказал хозяин. — Располагайтесь, отдыхайте, делайте, что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам, внизу; обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить сейчас или освежиться — я имею в виду напитки, — обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагий господи, наконец-то я был один! Я знаю, нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве! Сам я этого не читал, но вот сын утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И это просто прекрасно, что мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно нестарым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вот тогда станет совсем уже прекрасно...

— Принести что-нибудь? — спросила Кайса. — Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, руки у нее были голые, сдобные, и шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин.

— Кто у вас тут сейчас живет? — спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну кто? Господин Мозес живут с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, все глазами смотрит...

— Так-так, — сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве. — Она снова закраснелась и принялась поводить плечами.

— А еще кто? — спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотизеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры... И Брюн.

— Кто это Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах.

— Так, — сказал я. — Все?

— Еще кто-то живет. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю, — признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстокра утащили. И еще следы оставляют... Мокрые...

— Ну ладно, — сказал я со вздохом. — Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пробегусь-ка я лучше на лыжах.

Я раздавил окурок в девственно чистой пепельнице и отправился в спальню переодеться.

Глава 2

Возле самого отеля еще пытались ходить на лыжах, но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения... унылые заслякоченные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской, — с каждым выдохом освобождаясь от самого себя, казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово, что я сюда приехал... Молодец, Згут, умница, Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и лупишь своих «медвежатников» по

мордам... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... А ведь я уже три года не ходил на лыжах, с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик... А, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя бог...

Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Я снял перчатку, вытер лицо и вдруг услышал трескучий грохот, словно шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих, новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы, вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, и я едва успел заметить тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа...

Когда я подъехал к отелю, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина! Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У Погибшего Мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда. Сюда он врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собою сорок два кирпича...»

Посередине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему, гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собою дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическим носом. Секунду он разглядывал меня, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр, — почти пропел он. — К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый, — произнес он. — С кем имею честь?

Я отрекомендовался, и тут он вдруг схватил меня за лацкан.

— Какая прелесть! Инспектор! Где вы это нашли?

В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот

и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава, — заявило оно хриплым басом. — Хилая работа, дядя.

— Из рукава! — грустно повторил дю Барнстокр. — Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрав брови, и фиалка пропала.

— Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебски, — продолжал дю Барнстокр. — Я следил за вами из окна. И, надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы! — пробормотал я. — Так, бегал когда-то...

— Дядя, — воззвало вдруг существо из недр кресла. — Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да! — сказал он. Позвольте представить вам, господин Глебски: это Брюн, единственное чадо моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Чадо равнодушно улыбнулось мне розовым, нежным ртом и осведомилось сипло:

— Хорошо мы вас шуганули? Там, на дороге...

— Мы? — переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет... «Все очки ему залепил», — сообщило оно дяде.

— В данном случае, — любезно пояснил дю Барнстокр, — Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая...

— Сигаретку бы, — напомнило дитя.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска, — сказал мне дю Барнстокр. — Скоро обед...

— Да, — сказал я. — Конечно. Прошу прощения.

У себя в номере я умылся, переоделся и, взяв сигарету, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий, рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста!» — а потом снова короткий взвизг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряцанье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною по стойке «Смирно».

— Честь имею, инспектор, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно, — сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сказал он. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от инфантерии». Получается смешно. — И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, не выводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах. — Собственно говоря, — продолжал он, — я приехал сюда полазить по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лажу по дверям, по стенам... — Он вдруг замолчал и взял меня под руку. — Проект «Мидас», слыхали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий. — Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. — Держитесь за мной, инспектор! — гаркнул он на бегу. — Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю икру...

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо его покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, стремительно мело овощной суп.

Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные, смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах и в супербоевиках.

Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике, в хрустальной граненой рюмке, жутко голубела знаменитая фирменная настойка на лепестках эдельвейса.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись. — Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль — маленький маринованный огурчик. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку о рот. Я содрогнулся.

Все смотрели на меня, и потому я содрогнулся только мысленно и откусил половину огурчика. Хозяин крякнул. Симонэ тоже крякнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О! Это настоящий мужчина». Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину огурчика, горько сожалея, что они не бывают величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо.

— Госпожа Мозес! — произнес хозяин. — Разрешите представить вам инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы. Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам — так у меня пекло в животе, — но она улыбнулась, и мне сразу полегчало.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее, о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня, как новичка, посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что действительно, дня два назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похохатывая, сообщил, что кто-то читает его книги — по преимуществу специальную литературу, делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то бродит по дому. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Симон Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый, и ничего такого не слышал, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих, — что оно, чадо, в общем, ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет, оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один майор в незнакомый город, — объявил он. — Останавливается в гостинице и велит позвать...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон, — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам, — тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества, — он посмотрел на чадо, — э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказало чадо с пренебрежением, — «Все прекрасно, но не делится пополам». Этот?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась, госпожа Мозес. — А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неуловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле, — сказал дю Барнстокр. — Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. Будь я математиком, господа, я бы попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

«Самого дю Барнстокра спросить как-то неловко, — размышлял я. — Кайса — дура. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело?.. Жаркого еще взять, что ли?..»

— ...Согласитесь, — журчал дю Барнстокр. — Мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку планету через бездны космоса...

— Подсчитал, — сказал Симонэ. — Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных, то это будет единица минус «е» в степени минус единица.

— Неужели так и будет? — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал, словно дворняга загавкала. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении? — осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети, — ответил Симонэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность! — с жаром сказал дю Барнстокр, но тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой. Я обернулся. На пороге возникла удивительная фигура. Массивный пожилой

мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги. Одну руку он держал за спиной, в другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Супу! — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами.

Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он, — торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, без малого, не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче снег, — объявил он. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. — О чем речь? — осведомился он.

— Господин Симонэ подсчитал нам вероятность... — начал дю Барнстокр.

— Чушь, — сказал господин Мозес. — Математика — это не наука, Барн... Барл... дю! «А это кто?» — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин. — Господин Мозес — инспектор Глебски.

— Инспектор... — проворчал Мозес. — Фальшивые квитанции, подложные паспорта... — Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса, — сейчас же сказал Симонэ. — Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. «Так!» — одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ, — продолжал Симонэ, — а чревоугодник в ожидании своего любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно, — сказал господин Мозес. — Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался.

— Пардон, — сказал он нерешительно. — У меня тут появились сильнейшие опасения...

— Так. Опасения, — удовлетворенно повторил господин Мозес. — А дальше?

— Все, — сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как все? — спросил он с негодованием. — Но ему принесли филе?

— М-м... Собственно... Нет, — сказал Симонэ.

— Это наглость, — сказал Мозес. — Надо было вызвать метрдотеля. — Он с отвращением отодвинул от себя тарелку. — На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть, — сказал Симонэ, бледно улыбаясь.

Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар, — сказал он. — Вы нашли негодяя, который крадет туфли? Инспектор, все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна. Что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих.

— Странная мысль, — неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько, — возразил я. — Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да! — произнес хозяин глухим голосом. — Конечно, в доме только свои. Но он был для Леля не просто своим. Он был для него богом, господа!

Мозес уставился на него.

— Кто он? — спросил он строго.

— Он. Погибший.

— Не забивайте мне голову, — сказал Мозес. — А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте ему — настоятельно посоветуйте! — прекратить. Вы меня понимаете? — Он обвел нас налитыми глазами. — Иначе я тоже начну шутить! — рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если Мозес тоже начнет шутить.

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господа. До ужина.

Глава 3

— Представления не имею, кто он такой, — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. — Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко полыхал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштоссов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы, — продолжал хозяин задумчиво. — А господин Мозес не скуп, нет. «Могу ли я осведомиться, — спросил я его, — чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника стокроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигару и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я Мозес, сударь. Альберт Мозес! Мозес не нуждается в

рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». Что вы на это скажете? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресле и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже тринадцатый год подряд. Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель, — решительно сказал хозяин. — Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он. — Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. — Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка, — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима, — признал он. — Даже господин дю Барнстокр не удержался и ущипнул ее вчера за подбородочек. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик положил глаз на госпожу Мозес...

— Госпожа Мозес... — задумчиво произнес хозяин. — А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что она не госпожа и не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом... — Он понизил голос. — По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек... — сказал я.

— Я не настаиваю, — сказал хозяин. — Я ни на чем не настаиваю. Но должен вам заметить... — Он прислушался.

— Машина, — сказал он. — Слышите?

Он поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон! — вопили фальцетом. — Двадцать крон и ни грошем меньше! Вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом! — визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа! — загудел его мощный голос. — Это все пустяки!..

— Из-за пятерки удавиться готов! Мне еще назад возвращаться!

— Пятнадцать, и ни гроша больше! Вымогатель!

Мне стало холодно, я вернулся к камину, взял стакан и направился в буфетную. В холле я задержался — дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бр-р-р», мощно встряхнулся и оказался светловолосым викингом. Румяное лицо его было мокрое, на ресницах белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапуги! — говорил он с истерическим надрывом. — Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется, — по семь с половиной с носа...

— Господа, господа!.. — приговаривал хозяин. — Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: «Скряга...» — и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой? — спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не было.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся.

Ничего особенного там не было. Только чуть колыхалась портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса. Наверное, от сквозняка.

Глава 4

К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим, пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то не желал даже ночью терять возможность вдыхать целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне кружку какао и сандвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, думал я. Утро слишком хорошо для двоих. Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечишка, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже била ключом.

В буфетной у Кайсы я не без труда выяснил, что душ в отеле работает только на первом этаже, и поспешил за свежим бельем и полотенцем. Но как я ни спешил, я все же опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение. Перед

дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, давясь от смеха, оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. С первой дочкой он разделался быстро, а об остальных мы, к счастью, так ничего и не узнали, потому что в холле объявилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно ответил, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шаннель у них две ванны — одна золотая, а другая платиновая, и когда мы не нашлись, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ, гоготнув, тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем, но ненадолго, ибо к нам тут же присоединился господин Хинкус, ходатай, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут за двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр успокоил его: извлек у него из полотенца два леденцовых петушка на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменился в лице. Он принял петушки, сунул их в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Господин же дю Барнстокр, очень довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и белокурый викинг Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря ни слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов.

И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой. Хинкус вдруг что-то неразборчиво пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте, — сказал я. — Кто-нибудь приехал нынче утром?

— Только вот эти господа, — сказал дю Барнстокр. — Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером, — возразил Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. В душевой никого не было. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль! — воскликнул дю Барнстокр. — Хозяин!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выглянул Хинкус.

— Это невероятно! — возбужденно говорил дю Барнстокр. — Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа!..

— А у меня опять кто-то на постели валялся, — сообщило сверху чадо. — И полотенце мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа... — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он заглянул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. — Господа! — произнес он глухим голосом. — Я могу только засвидетельствовать факты. Это ЕГО приемник, господа. И это ЕГО куртка...

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, подумал я со злостью. Пусть теперь постоит. Сколько воды зря пропало...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказало оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же

странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, унылый шалун Симонэ — прыгает там с трубы на трубу и регочет. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-видимому, сидел, другой стоял. Загорают, подумал я, и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо было бы выпить чашечку кофе для бодрости. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораете? — спросил я из вежливости. — Смотрите не сгорите. Вид у вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить, — проговорил он хрипловато.

— Вы бы все-таки оделись, — посоветовал я. — Вдруг там госпожа Мозес...

— Да, — сказал он. — Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там? — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом.

— Где? — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно, — сказал я. — Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось, — грубо ответил ходатай по делам, выпил и налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку.

— Так, — сказал он наконец, — неприятности. Могут быть у человека неприятности?

Было в нем что-то жалкое, и я смягчился.

— Да, конечно, — сказал я. — Извините.

Он хлопнул третью рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо, — ответил я. — Боюсь сгореть. Кожа чувствительная.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок.

— Воздух там хорош, — произнес он. — И вид прекрасный. Вся долина, как на ладони... Горы...

— Пойдемте сыграем в бильярд, — предложил я. — Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазами.

— Нет, — сказал он. — Я уж лучше подышу воздухом...

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свою рюмку с бренди.

— Смотрите не свалитесь с крыши, — сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Они были очень увлечены.

Я извинился и закрыл дверь. Ладно, погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще лучше. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно.

— Вы тоже загорали? — ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль? — Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. — Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором, — попросил я. — Мне до такой степени надоело слышать это на работе...

— Я о-бо-жаю полицию, — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. — Эти герои, эти смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня, — сказал я. — Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор, — ответила она и тут же спохватилась: — Простите, но как же мне вас называть?

— Может быть, Петер? — предложил я.

— Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы?.. Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?

Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симонэ. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены.

— Симон! — воскликнула госпожа Мозес и приложила ладони к щекам. — Что с вами?

В ответ Симонэ заклекотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Боже мой, да вы убьетесь! — закричала госпожа Мозес.

— В самом деле, Симонэ, — сказал я с досадой. — Вы сломаете себе шею.

Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес зааплодировала.

— Вы просто чудо, Симон, — сказала она. — Как муха!

— Ну что, инспектор, — сказал Симонэ, чуть задыхаясь. — Сразимся во славу прекрасной дамы? — Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад. — Я вас вызываю, инспектор Глебски!

С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий.

— Сражайтесь, господа, сражайтесь, — сказала госпожа Мозес. — Прекрасная дама оставляет залог победителю. — Она бросила на середину стола кружевной платочек. — А я вынуждена покинуть вас. — Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась.

— Чертовски завлекательная женщина, — заявил Симонэ. — С ума можно сойти. — Он подцепил кием, платочек, погрузил нос в кружева

и закатил глаза. — Прелесть!.. У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор?

— Вы бы побольше путались под ногами, — мрачно сказал я, собирая шары в треугольник. — Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?

— А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную? — резонно возразил Симонэ, разбивая пирамиду.

— Не в буфетную же мне ее вести... — проворчал я и пошел вокруг стола, выбирая шар полегче.

— Глядите-ка, — сказал Симонэ. Он стоял у окна и заглядывал куда-то вбок. — Какой-то дурак сидит на крыше... Пардон! Два дурака. Один стоит, я принял его за печную трубу.

— Это Хинкус, — проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара.

— Хинкус — это такой маленький и все время брюзжит, — сказал Симонэ. — Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Истый потомок древних конунгов, вот что я вам скажу, инспектор Глебски.

Я наконец ударил. И промазал. Совсем несложный шар промазал. Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал наклейку. Наклейка была в порядке.

— Не разглядывайте, не разглядывайте, — сказал Симонэ, подходя к столу. — Нет у вас никаких оправданий.

Он ударил. Потом еще раз ударил. Хлестко, с треском, с лязгом. Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симонэ еще раз ударил и сказал:

— Пардон. Действуйте, инспектор.

Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?

— Вы будете бить или нет? — спросил Симонэ. — Что там такое?

— Хинкус надирается, — сказал я. — Ох, свалится он сегодня с крыши...

Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не стал. Кто же это такой? А, так это же чадо, наверное... Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал.

— Вы читали мемуары Кориолиса о бильярдной игре? — спросил Симонэ.

— Нет, — сказал я мрачно. — И не собираюсь.

— А я вот читал, — сказал Симонэ. Он в два удара кончил партию и наконец разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола.

— Вы остались без партнера, Симонэ, — сказал я мстительно. — Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве.

Симонэ взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман.

— Прекрасно, — сказал он. — Чем мы теперь займемся?

Я подумал.

— Пойду-ка я побреюсь. Обед скоро.

Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина дю Барнстокра. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблёскивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку.

— Как там Хинкус? — спросил я, доставая пачку. — Здорово надрался?

— Хинкус? Ах, этот... — Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым. — Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой.

— А вы тоже с ним заряжались? — спросил Симонэ с интересом.

Чадо пренебрежительно фыркнуло.

— Черта с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса...

Тут мне пришло в голову, что пора наконец выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть.

— Значит, вы были, в буфетной? — спросил я вкрадчиво.

— Да. А что? Полиция не разрешает?

— Полиция хочет знать, что вы там делали.

— И научный мир тоже, — добавил Симонэ. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему.

— Кофе пить полиция разрешает? — осведомилось чадо.

— Да, — ответил я. — А еще что вы там делали?

Вот сейчас... Не может же оно сказать: «Я закусывало» ...

— А ничего, — хладнокровно сказало чадо. — Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной.

— Сладкое перед обедом вредно, — с упреком сказал Симонэ. Он был явно разочарован. Я тоже.

— Ну, ладно, — пробормотал я. — Пойду побреюсь.

— Может быть, есть еще вопросы? — спросило чадо нам вслед.

— Да нет, бог с вами, — сказал я.

Хлопнула дверь: чадо удалилось в свой номер.

— Схожу-ка и я перекушу, — сказал Симонэ, останавливаясь возле лестничной площадки. — Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним...

Я отказался, и мы разошлись. Симонэ застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда, я проходил мимо номера-музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное, и послышалось недовольное ворчание. Я заглянул в номер и обнаружил там господина Мозеса. Господин. Мозес, высоко задрав одной рукой край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы.

— Проклятый притон! — прохрипел он при виде меня. — Грязное логово!

— Что вы тут делаете? — спросил я.

Господин Мозес немедленно взвинтился.

— Что я тут делаю? — взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло. — Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене! Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?

Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился.

— Может быть, я должен объявить награду? — продолжал он, взвинчивая себя все круче. — Извольте, объявляю. Сколько вам нужно, вы, инспектор? Пятьсот? Тысячу? Извольте: полторы тысячи крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы! Две тысячи крон!

— У вас пропали часы? — спросил я, нахмурившись. Шутки кончились. Золотые часы — это не войлочные туфли и не занятый душ.

— Да!

— Когда вы видели их в последний раз?

— Сегодня рано утром. Они лежали на столе.

Я подумал.

— Советую вам, — сказал я наконец, — написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию.

Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал;

— На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?

— Мне неудобно вмешиваться в это дело, — возразил я. — Я не частный сыщик, я государственный служащий.

— Ладно, — сказал он вдруг. — Я подумаю... — Он помолчал. — Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это

очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу это заявление.

На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я к себе.

Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гуммиарабиком — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, — и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры».

Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил сигарету и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно — это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французские студенты писали на стенах Сорбонны. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно было быть кретином или полным дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Кретинов здесь полно, это верно... но не до такой же степени! Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. Вот тебе и отпуск, подумал я. Вот тебе и долгожданная свобода...

Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше, запрокинув голову и присосавшись к бутылке, по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.

Глава 5

Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был, как всегда, пуст. Из бильярдной доносился треск шаров

— там был Симонэ. Дю Барнстокр и Олаф сидели в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. Пять минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, вероятно, дышать чистым воздухом по крайней мере до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок.

Пятый или шестой ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков, — других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посередине комнаты.

Содержимое первого, более тяжелого баула сразу насторожило меня. Это был типичный фальшивый багаж: какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было три смены белья, пижама, несессер, набор авторучек, пачка денег — солидная пачка, больше моей — и две дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка — пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой — полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы и маленький дамский браунинг.

Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышление у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма, золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском, циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Никелированная безделушка с перламутровой рукояткой, строго говоря, вообще не оружие... Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких тяжелых и массивных. Настоящие гангстеры, с именем и репутацией.

Так-так-так... Давай-ка быстренько сформулируем. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за гангстера. Правда, фальшивый багаж...

Я снова прислушался. В столовой звенели посудой — Кайса уже накрывала на стол. Кто-то протопал мимо дверей. Голос Симонэ зычно осведомился: «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?»

Пронзительно взвизгнула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж. Пора было удирать. Я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился дю Барнстокр.

— Дорогой инспектор! — провозгласил он. — Победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел дю Барнстокров.

Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера.

— Обчистили Олафа? — сказал я.

— Представьте себе, да! — сказал он, счастливо улыбаясь. — Наш милый Олаф слишком уж методичен. Играет, как машина, никакой фантазии. Даже скучно... Кстати, милый инспектор. Вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне...

Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару.

— Где же она? — пробормотал он, похлопывая себя по карманам. — Ага! Вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня. — Он протянул мне смятый клочок бумаги.

Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: «Мы вас нашли. Я держу вас на мушке. Не пытайтесь бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. Ф.». Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды.

— Прелестно, не правда ли? — сказал дю Барнстокр, охорашиваясь перед зеркалом.

— Как она к вам попала?

— Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: «Да-да, войдите», — но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь.

— Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели, — сказал я.

— Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла, — сказал дю Барнстокр. — Пойдемте? Откровенно говоря, я основательно проголодался.

Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чадо.

Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса, Симонэ и Олаф топтались возле стола с закусками,

хозяин разливал настойку. Дю Барнстокр и чадо отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симонэ зловещим шепотом рассказывал Олафу о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Олаф, добродушно хмыкая, поедал икру. Тут вошла Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину:

— Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали... И две бутылки пустые...

— Так пойди и скажи, что все собрались, — приказал хозяин.

— Они мне не верят, я и так сказала, что все собрались, а они мне...

— О ком речь? — отрывисто вопросил господин Мозес.

— Речь идет о господине Хинкусе, — ответил хозяин. — Он все еще пребывает на крыше, а я...

— Чего там на крыше! — сиплым басом сказало чадо. — Вон он, Хинкус! — И оно указало вилкой на Олафа.

— Дитя мое, вы заблуждаетесь, — мягко произнес дю Барнстокр, а Олаф добродушно осклабился и прогудел:

— Олаф Андварафорс, детка. Можно просто Олаф.

— А почему тогда он?.. — Вилка протянулась в мою сторону.

— Какого дьявола, Сневар?! — сказал Мозес. — Не хочет идти — пусть торчит на морозе.

— Уважаемый господин Мозес, — произнес хозяин с достоинством. — Именно сейчас весьма желательно, чтобы все были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость... Кайса, быстро!

— Да не идут они...

Я поставил тарелку с закуской на столик.

— Погодите, — сказал я. — Сейчас я его приведу.

Выходя из столовой, я услыхал, как Симонэ сказал: «Правильно! Пусть-ка полиция займется своим делом», — после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной лестницы.

Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была приоткрыта.

Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега, вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропинка, и в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный Хинкус. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а

правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно, оно было закрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда, словно тарантул глядел из норки.

— Пойдемте, Хинкус, — сказал я. — Все собрались. Ждут вас.

— Все? — хрипло спросил он.

Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна. Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.

— А чего меня ждать? — спросил он. — Начинали бы...

— Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз.

— Сюрприз... — сказал Хинкус и покашлял. — Туберкулез у меня, — сообщил он вдруг. — Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе... и мясо черномясой курицы...

Мне стало его жалко.

— Черт возьми, — сказал я искренне. — Сочувствую вам. Но обедать-то все-таки тоже нужно...

— Нужно, конечно, — согласился он и встал. — Пообедаю и опять сюда вернусь. — Он поставил бутылку в снег. — Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха...

— Ну-ну, Хинкус, — сказал я. — Туберкулез теперь лечат. Это вам не девятнадцатый век.

— Да, наверное, — вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса. — Вы идите, я шубу сброшу, — сказал он, останавливаясь у своей двери.

Я кивнул и вошел в столовую.

— А где арестованный? — громогласно спросил Симонэ.

— Все в порядке, — сказал я. — Сейчас придет.

Дю Барнстокр что-то рассказывал о магии чисел.

Госпожа Мозес ахала. Симонэ отрывисто похохатывал. «Бросьте, Бардл... Дюбр... — гудел Мозес. — Все это — средневековый вздор». Я налил себе хорошую порцию супу, и тут появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту между мною и Олафом. В это время хозяин постучал ножом о край тарелки.

— Господа! — торжественно провозгласил он. — Прошу минуточку внимания! Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить

сегодня праздничный бал Встречи Весны. Конца обеду не будет! Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа!

Симонэ с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже зааплодировала. Все оживились, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты — это еще куда ни шло...» А дитя стучало вилкой о стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо:

— Слушайте, инспектор, вы, говорят, полицейский... Что мне делать? Полез я сейчас в баул... за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то... А у меня там... ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там... Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то не мои, белье рваное... и книжки...

Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист.

— Ну, хорошо, — сказал я сквозь зубы. — А чего вы от меня хотите?

Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи.

— Да нет... ничего... Я только не понимаю, это шутка или как... Если кража, так ведь вы полицейский... А может быть, конечно, и шутка, как вы полагаете?

— Да, Хинкус, — сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп. — Тут все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус.

Глава 6

К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж бедный лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симонэ над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил полстакана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело.

Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и дю Барнстокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил

оглушительную музыку. Олаф и Симонэ одновременно устремились к госпоже Мозес, и поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чадо снова показало мне язык. Правильно! Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... к этому разбойнику бутылку и стакан.

— Танец, мадемуазель? — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с чадом.

— Я не танцую, сударыня, — лениво ответило чадо. — Бросьте трепаться и дайте сигаретку.

Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — по-ве-де-ни-е! — аморально, что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпорю, дайте мне только срок. Или, добавил я, подумав, привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Развешивание лозунгов, сказал я. Нехорошо. На дверях. Шокирует и будирует. Будирует!

Чадо отвечало мне что-то, и довольно остроумно, то хрипловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня шла кругом, и скоро мне стало казаться, что разговариваю я сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на неправильный путь подросток, который все время хлобыстал мое бренди и за которого я нес ответственность как работник полиции и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная, пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывавшегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак как на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов-мотоциклов, добавил я строго. Условимся об этом сразу же. Моя старуха этого не выносит. Мы условились, я откинулся на стуле и оглядел зал.

Все шло прекрасно. Законы и моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок, не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокр, Мозес и хозяин резались в тринадцать без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симонэ что-то совершенно современное. Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и Олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении — я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки.

Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа

Мозес и пригласила меня на танец, и я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес и только с нею. С моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без цыпок, и она охотно позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого, разбитного юнца, не дающего слово сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симонэ, унылый шалун, но с этим вполне можно было мириться, поскольку он не был родственником. Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила:

— Посмотри, какой очаровательный вид!..

Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня, и я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с ее талии, пока нас тут не застукали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал:

— Бедняга Хинкус...

Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня снизу вверх.

— Бедняга? — спросила она. — Почему бедняга?

— Он тяжело болен, — объяснил я. — У него туберкулез, и он страшно боится.

— Да-да, — подхватила она. — Вы тоже заметили? Он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин. И совсем не нашего круга...

Я горестно покачал головой и вздохнул.

— Ну вот, и вы туда же... — сказал я. — Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный, одинокий человечек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он то и дело зеленеет и покрывается потом.

Тут портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чадо. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло:

— Пермете ву...

— Битте, мой мальчик, — очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.

Я вздохнул и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симонэ лупил шарами в бильярдной, Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела вполсилы, госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную.

Симонэ приветствовал меня взмахом кия и, не теряя ни секунды драгоценного времени, предложил мне пять шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожующих коровах и профессорах с иностранными именами, я пил содовую, не поддаваясь на уговоры и насмешки партнера, я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь, я исполнялся торжества, попадая, я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал, я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симонэ тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары, он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку; в промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания; он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина! Проклятое демократическое воспитание!»

Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая червы, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое: «Послушайте, Драбл... Бандрл... дю!..», и негодующий стук кружки по столу, и голос хозяина: «Господа, господа! Деньги — это прах...», и раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли...» Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает дю Барнстокра по плечу, и услышал, как он гудит: «Игра была хороша, Барн... дю... Вы опасный противник. Спокойной ночи, господа! Пойдемте, дорогая...». Потом, помнится, у Симонэ вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решив, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности.

В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только дю Барнстокр, сидя спиною ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с

раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную.

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара и порвал сукно на бильярде. Это было уже слишком.

— Все, — сказал я и положил кий. — Пойду подышу свежим воздухом.

Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо, а затем прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед фасадом отеля. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет и у дю Барнстокра и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, несчастный, согнутый под бременем своего страха.

— Хинкус! — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник.

Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время выпить горячего портвейна. Я вернулся в холл и, встретив хозяина, посвятил его в свой замысел.

— Это идея, — сказал он. — Ступайте в каминную, Петер, а, я пойду распоряжусь.

Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе и опять ходит по холлу, щелкая выключателями, потом шаги его затихли, и в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он спустился в холл и прошел в буфетную.

Я закурил сигарету, бросил спичку в камин, и в этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Я подскочил и машинально поглядел на часы — было десять часов две минуты. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла.

— Слыхали? — спросил он. — Обвал в горах. И не очень далеко... Подождите-ка, Петер.

Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. Хорошо! — подумал я, устраиваясь поудобнее.

Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли.

— Дело швах, Петер, — глухо и торжественно произнес наконец он. — Мы отрезаны от внешнего мира.

— Завалило дорогу?

— Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние десять лет: обвалом забило Бутылочное Горлышко, вы его проезжали, единственный проход в мою долину.

Он отпил из стакана.

— Я сразу понял, что к чему, — продолжал он. — Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать. Пока о нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду...

— Воды у нас хватит, — задумчиво сказал я. — А вот не впадем ли мы в людоедство?

— Нет, — сказал хозяин с видимым сожалением. — Разве что вам захочется разнообразить меню.

— А как насчет топлива? — спросил я.

— У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели.

— Гм... — сказал я. — Они деревянные?

Хозяин взглянул на меня с упреком.

— Почему вы не спросите, Петер, как у нас с выпивкой?

— А как?

— С выпивкой, — гордо сказал хозяин, — у нас особенно хорошо. Одной только фирменной настойки у нас сто двадцать бутылок.

Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Потом хозяин вдруг сказал:

— Одно меня беспокоит, Петер, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.

— Каким образом? — спросил я. — Наоборот, восемь жирных мух запутались в вашей паутине. Какая реклама! Все они потом будут рассказывать, как чуть не съели друг друга...

— Это так, — самодовольно признался хозяин. — Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше, сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса...

— Друзья Хинкуса? — удивился я.

— Представьте себе. Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму. — Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал: «Мюр, отель «У Погибшего Альпиниста». Жду, поторопитесь».

— Вот уж никогда бы не подумал, — пробормотал я, — что у Хинкуса есть друзья.

Глава 7

К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно: обречено ли человечество на вымирание (да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет); является ли сенбернар Лель разумным существом (да, является, однако убедить в этом дураков-ученых не представляется возможным); угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть (нет, не угрожает ввиду, наличия в сарае у хозяина вечных двигателей как первого, так и второго рода); какого пола Брюн (здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн вообще не имеет пола).

Кажется, именно в эту минуту сенбернар Лель, дремавший у наших ног, вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понял! — строго сказал он.

Лель гавкнул два раза подряд и направился в холл.

— Ага, — сказал хозяин, поднимаясь. — Кто-то пожаловал.

Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед парадной дверью. Из-за двери доносились странные скребущие и скулящие звуки. Я схватил хозяина за руку.

— Медведь! — прошептал я. — Гризли! Ружье есть? Быстро!

— Боюсь, что это не медведь, — глухим голосом произнес хозяин. — Боюсь, что это наконец он. Надо отпереть.

— Не надо! — возразил я.

— Надо. Он заплатил за две недели, а прожил всего одну. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию.

За дверью скреблись и прискуливали. Лель вел себя странно: он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно потягивая воздух носом. Именно так должны вести себя собаки, впервые встретившиеся с привидением, но хозяин смело протянул руку и отодвинул засов.

Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы бросились к нему, втащили в холл и перевернули

на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел.

Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. «Берите его под мышки, Петер, — распорядился он, — а я возьму за ноги...» Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок: оказалось, что незнакомец был однорукий, правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам.

Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная, я был способен анализировать и сопоставлять с необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочками и

модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Тут я понял: он ехал сюда на автомобиле и попал в лавину в Бутылочном Горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто! Надо разбудить Хинкуса...

Я выскочил из каминной и побежал на второй этаж. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. «Да ведь он все еще на крыше!» — ужаснулся я и стремглав помчался к чердачной лестнице. Так и есть, сидит на крыше. Он сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул я.

Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под рукой.

— Хинкус! — растерянно сказал я, непроизвольно подхватывая его.

Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я и протрезвел окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно, как днем. На крыше было много следов, и все это были следы одинаковые, не разберешь, чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт — то ли здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. Снежная долина, насколько хватал глаз, была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье Бутылочного Горлышка.

«Стоп!» — подумал я, стараясь держать себя в руках. Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обделывал какие-то свои делишки... лжетуберкулезник, лжебедняга... Какие же делишки и где? Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобраться в следах, ничего не понял, медленно спустился на второй этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в

номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы, и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая...

Одно мне было ясно: готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо погнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Потом я вспомнил про записку, которую подбросили дю Барнстокру. Мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что его убьют лишь в том случае, если он попытается бежать...

Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собою дверь. Я подошел к номеру дю Барнстокра и потрогал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос дю Барнстокра отозвался: «Одну минуточку, я сейчас...» Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось, я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул ключ, скрипнула дверь. Голос дю Барнстокра с изумлением произнес: «Странно, однако...» Снова скрипнула дверь, и снова щелкнул ключ. Здесь все было в порядке — по крайней мере пока. «Нет, — решительно подумал я. — Убийство — это, конечно, чепуха. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле два богатых человека: Мозес и хозяин. Так. Прекрасно. Оба на первом этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина — в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле...» Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Гм... Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия, вроде снежной бабы на крыше...

Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посередине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подолом и держала в охапке мокрую и смятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет, из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там, а ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет: не потащат же полуживого человека на второй этаж...

Кайса, очнувшись, наконец, двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового

платка — ничего. Я вернул одежду Кайсе и пошел взглянуть на незнакомца. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: «Надо, сударь, надо... пропотеть надо... хорошенько пропотеть надо...» Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа — белый, как снег, один глаз был болезненно сощурен, а другой и вовсе закрыт. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае.

— Вы один? — спросил я.

Он молча смотрел на меня сощуренным глазом.

— Кто-нибудь еще остался в машине? — спросил я раздельно. — Или вы ехали один?

Незнакомец приоткрыл рот, подышал и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело, как тряпка.

— Черт возьми, — пробормотал я. — А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к Бутылочному Горлышку.

— Да, — согласился хозяин. — Вдруг там еще кто-нибудь остался... Я думаю, они попали под обвал!

— Придется вам поехать, — сказал я решительно, и в этот момент незнакомец заговорил.

— Олаф, — сказал он без выражения. — Олаф Анд-ва-ра-форс... Позовите.

Я испытал очередной шок.

— Ага, — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол. — Сейчас позову.

— Олаф... — повторил незнакомец.

Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца: мрачная при всем ее изяществе схема, которую я построил, развалилась сама собой.

— Вы были один? — спросил я снова.

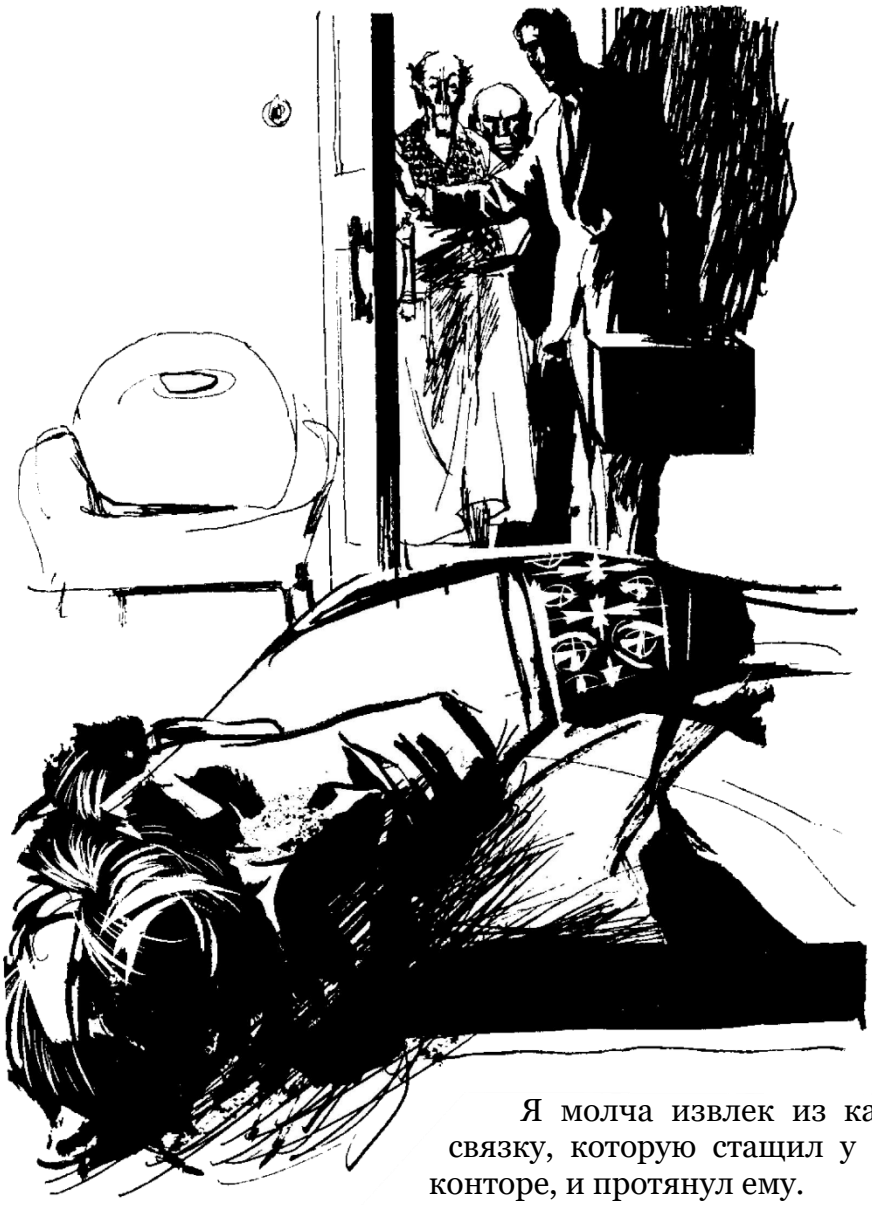
— Один... — простонал незнакомец. — Авария... Позовите Олафа... Где Олаф Андварафорс?

— Здесь, здесь, — сказал я. — Сейчас придет.

Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула. Ну, ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф? В голове у меня была каша.

Вернулся хозяин, брови у него были высоко задраны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Странное дело, Петер. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали...



Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему.

— Ага, — сказал хозяин. Он взял ключи. — Ну, все равно. Вы знаете, Петер, пойдемте-ка вместе. Что-то мне все это не нравится.

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?

— Сейчас, сейчас, — сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор. — Вот что,

Алек, — сказал я. — Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся.

— Ага, — произнес хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как дела обстоят... То-то я смотрю...

Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес:

— Иди сюда, Лель. Сиди здесь... Сидеть. Никого не впускать. Никого не выпускать.

Хозяин нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал и, не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку ключей.

— Который? — спросил я.

Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черта с два — дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел дю Барнстокр, заспанный, но благодушный.

— Что происходит, господа? — осведомился он. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин дю Барнстокр, — сказал хозяин, — но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес дю Барнстокр с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Я расчистил путь для своего ключа и выпрямился. Из-под двери несло зимним холодом, и я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не чувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его. Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет.

На полу лежал Олаф Андварафорс. Он был явно и безнадежно мертв.

Глава 8

Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел, он стоял

тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на двадцать. Аристократический нос его обвис и жалко подрагивал.

— Какой ужас! — бормотал он, с отчаянием глядя на меня. — Какой кошмар!

Я запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Какой ужас!.. — бормотал дю Барнстокр у меня за спиной. — И ни реванша теперь... ничего...

— Идите к себе в номер, — сказал я ему. — Запритесь и сидите, пока я вас не позову... Алек, оба ключа от номера я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока не сообщайте этому... однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж, все ли машины на месте... Теперь вот что... Если увидите Хинкуса, задержите его, хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере.

Хозяин кивнул и, не сказав ни слова, пошел вниз.

У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там по крайней мере были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры... Ни белья, ни пижамы, ни мыльницы... Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил.

Ладно. В ноль часов двадцать четыре минуты третьего марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алека Сневара и дю Барнстокра, обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на сто восемьдесят градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежащим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежавшее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы

стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа... (Я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его) ... следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представилось возможным (и не представится). Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею.

Непонятен странный запах изо рта, и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, тоже требует немалой силы...

Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался...

В дверь постучали. Вошел хозяин, неся на подносе стакан с горячим кофе и сандвичи.

— Машины все на месте, — объявил он, ставя передо мною поднос. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяется его шуба и шапка, но это вы, наверное, видели.

— Да, это я видел, — проговорил я, отхлебывая кофе. — А что однорукий?

— Спит, — сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцами натеки клея на столе. — Н-да...

— Спасибо, Алек, — сказал я. — Идите пока, и пусть будет тихо. Пусть все спят.

Хозяин покачал головой.

— Уже не выйдет. Мозес уже встал, у него свет... Ладно, я пойду. А Кайсу я запру... хотя она еще ничего не знает.

— И пусть не знает, — сказал я.

Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сэндвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину

чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время будет нетрудно установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, это мы установим. Теперь так: ожерелье Кайсы, записка дю Барнстокра, слышали ли что-нибудь соседи Олафа — дю Барнстокр и Симонэ...

Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену из номера-музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, засучил рукава и осторожно, на цыпочках, вышел в коридор. По физиономии, по щекам, мельком подумал я. Я ему покажу шуточки...

Я распахнул дверь и пулей влетел в номер-музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, и стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть.

— Вылезай! — яростно рявкнул я.

В ответ раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил я.

В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, надрывом, с сипением, он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву Погибшего Альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и наконец подал голос: сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательства, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать свою шею, запястья, бока.

— Что с вами случилось? — спросил я.

— Что случилось... — пробормотал он. — Сами видите, что случилось! Связали, как барана, и сунули под стол...

— Кто?

— Почем я знаю? — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло. — Бог ты мой! — пробормотал он. — Выпить бы... У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?

— Нет, — сказал я. — Но будет. Как только вы ответите на мои вопросы.

Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав.

— А, черт, часы раздавил, сволочь... — пробормотал он. — Сколько сейчас времени, инспектор?

— Час ночи, — ответил я.

— Час ночи... — повторил он. — Час ночи... — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он и поднялся. — Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью.

Легким толчком в грудь я усадил его снова.

— Успеется, — сказал я.

— Кто вы такой, чтобы распоряжаться? — в полный голос взвизгнул он.

— Не орите, — сказал я. — Я полицейский инспектор. А вы на подозрении, Хинкус.

— На каком еще подозрении? — спросил он, сразу сбавив тон.

— Слушайте, Хинкус, — сказал я. — В отеле произошло убийство. Так что лучше отвечайте на мои вопросы.

Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот.

— Убийство... — повторил он как бы разочарованно. — Вот те на! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили... Я сидел себе на крыше, дремал. Вдруг чувствую, душат, валят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел, думал, заживо похоронили. Принялся стучать. Стучал-стучал, никто не идет. Потом вы пришли. Вот и все.

— Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?

Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину.

— Ну? — сказал я.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Что?

— Я спрашиваю, когда примерно вас...

— А... Да что-то около девяти. Последний раз, когда я смотрел на часы, было восемь сорок.

— Дайте сюда ваши часы, — сказал я.

Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами.

— Разбиты они, — сообщил он.

Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка была отломана, а минутная показывала сорок три минуты.

— Кто это был? — снова спросил я.

— Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал.

— И не проснулись, когда вас схватили?

— Меня схватили сзади, — угрюмо произнес он. — Нет у меня глаз на заду.

— А ну, поднимите подбородок!

Он мрачно смотрел на меня исподлобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог его знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал:

— Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?

Дернув головой, он освободился.

— Идите к черту, — прохрипел он. — К дьяволу. Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальных мне наплевать... И мне нужно выпить! — заорал он вдруг. — У меня все болит, понимаете вы это, полицейская балда?

По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого.

— Ладно, — сказал я и поднялся. — Пойдемте.

— Куда?

— За выпивкой, — сказал я.

Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я провел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку.

Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более, что он приехал вместе с Олафом, можно было даже предположить, что он и есть убийца и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним, конечно, явно не все было в порядке, никаким туберкулезником он не был, не был он, видимо, и ходатаем по делам несовершеннолетних, и оставался открытым вопрос, для чего он торчал на крыше... Меня вдруг осенило. Я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши.

— Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я. — Тот, кто вас схватил... Ведь вы видели его и раньше, днем?

Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке.

— Так, — сказал я. — Ну, пойдемте. Я запру вас в номере. Бутылку можете взять с собой.

— А вы? — хрипло спросил он.

— Что я?

— Вы уйдете?

— Естественно, — сказал я.

— Послушайте, — сказал он. — Послушайте, инспектор... — Глаза у него бегали, он искал, что сказать. — Вы... Может быть, я пойду с вами? Я не убегу, и... ничего... клянусь вам...

— Вы боитесь остаться один в номере? — спросил я.

— Да, — ответил он.

— Но ведь я вас запру, — сказал я. — И ключ унесу с собой...

В каком-то отчаянии он махнул рукой.

— Это не поможет, — пробормотал он.

— Ну-ну, Хинкус, — строго сказал я. — Будьте же мужчиной! Что вы расклеились, как старая баба!

Он ничего не ответил и только крепче прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял: Хинкус плакал.

Я оставил его наедине с совестью и направился к дю Барнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма.

— Мой дорогой инспектор! — немедленно начал он. — Мой уважаемый друг! Я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности...

— Что вы убили Олафа Андварафорса? — мрачно пошутил я.

Он содрогнулся и всплеснул руками.

— О боже! Нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Кэль идэ! Нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле... — Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом. — Поверьте, поймите меня правильно, это были просто шутки! Это у меня профессиональное, я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения... Никакого злого умысла, уверяю вас! Никакой корысти...

— Какие именно шутки вы имеете в виду? — спросил я сухо.

— Н-ну... Все эти маленькие розыгрыши по поводу тени Погибшего Альпиниста. Ну там туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать... Шутка с душем...

— Стол у меня испоганили тоже вы? — спросил я.

— Стол? — Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол.

— Да, стол. Залили клеем.

— Н-нет, — испуганно сказал он. — Клеем... стол... Нет-нет, это не я, клянусь вам! — Он снова прижал руки к груди. — Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно, я никому не причинял ни малейшего ущерба... Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал...

— Хозяин был с вами в сговоре?

— Нет, что вы! — Он замахал на меня руками. — Я имею в виду, что он... что ему это, в общем, нравилось...

— Понятно, — сказал я. — А следы в коридорах?

Лицо дю Барнстокра сделалось серьезным.

— Нет-нет, — сказал он. — Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было, еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног, они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер-музей.

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, — это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?

— Тоже не мой, — сказал дю Барнстокр с достоинством. — Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду.

— Минуточку, — сказал я. — Значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь, вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку. Так?

— Так.

— Минуточку, — повторил я. Я ощутил приближение новой мысли. — Позвольте, господин дю Барнстокр, а почему вы, собственно, решили, что записка адресована именно вам?

— Совершенно с вами согласен, — сказал дю Барнстокр. — Но ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь... Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку...

— Так, — сказал я. — И что же Олаф?

— Прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке... А вы полагаете, эта записка действительно...

— Все может быть, — сказал я. Мы помолчали. — А теперь расскажите, что вы делали, начиная с того момента, как Мозесы ушли спать.

— Извольте, — сказал дю Барнстокр. — Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого...

— Одну минуту, — прервал я его. — Скажите сначала мне вот что. Кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого?

Дю Барнстокр взялся за лоб длинными белыми пальцами.

— М-м-м... — произнес он. — Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой... Ну, естественно, Мозес, хозяин... Время от времени карту брала госпожа Мозес... Это у нас за столиком... Брюн и Олаф танцевали, а потом... нет, пардон, еще до этого... танцевали госпожа Мозес и Брюн... Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не

в состоянии установить, когда это было — в половине девятого, в девять... Часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст, только танцевали Брюн с Олафом... Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти.

— Так, — сказал я. — А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола?

— Нет, — сказал он уверенно. — Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь вернемся к вам. Итак, после того как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах...

— Упражняясь в фокусах? А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я даю волю своим пальцам, это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я закурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я словно бы от какого-то толчка — я вдруг вспомнил, что в десять часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени я не помню, но было самое начало одиннадцатого, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу — никто не отозвался, и я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше. Я честно прождал до одиннадцати, читая вот эту книгу, а в одиннадцать лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть.

— Угу, — сказал я. — Понятно. Значит, до одиннадцати часов, когда вы легли спать, не произошло ничего существенного... не было никакого шума, движения?

— Нет, — сказал дю Барнстокр. — Ничего.

— А где вы были? Здесь или в спальне?

— Здесь, сидел в этом кресле.

— Угу, — сказал я. — И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом?

— С Хинкусом?.. А, это такой маленький, жалкий... Постойте, мой милый друг... Да, конечно! Мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то маленьким фокусом. Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации.

— А после этого вы с ним не разговаривали?

Дю Барнстокр задумчиво сложил губы куриной гузкой.

— Нет, — сказал он. — Насколько мне помнится, нет.

— И вы не поднимались на крышу?

— На крышу? Нет. Нет-нет. На крышу я не поднимался.

Я встал.

— Благодарю вас, господин дю Барнстокр. Вы оказали следствию помощь. Сейчас советую вам принять снотворное и лечь спать.

— Я попытаюсь, — с готовностью сказал дю Барнстокр.

Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я намеревался разбудить чадо, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симонэ. Я немедленно повернул туда.

Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как унылый шалун, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет.

— Не трудитесь, Симонэ, — произнес я угрюмо. — Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симонэ обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он под моим взглядом все более сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии своего адвоката, — объявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симонэ, — сказал я с отвращением. — А еще физик. Какие здесь в задницу адвокаты!

Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте, что хотите, Петер, но я вам клянусь: я не убивал ее.

Наступила моя очередь присесть. Я нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами, зачем это мне? — страстно продолжал Симонэ. — Ведь должны быть мотивы... Никто не убивает просто так... Тем более такое зверство, такой кошмар... Клянусь вам! Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!

На несколько секунд я закрыл глаза. Так. В доме был еще один труп. На этот раз женщина.

— Вы же отлично знаете, — горячечно бормотал Симонэ, — преступлений просто так не бывает. Нужен мотив... Вы же меня знаете, Петер! Посмотрите на меня — разве я похож на убийцу?

— Стоп, — сказал я. — Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку.

Он не стал думать.

— Пожалуйста, — с готовностью сказал он. — Но вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда и только правда. Дело было так. Она и раньше давала мне понять, только я не решался... А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. И вот часов в одиннадцать, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда... Я тихонько прошел мимо и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее — тоже. Темно было, хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке, прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял... Бр-р-р-р! Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая. И этот оскал... Я не помню, как я оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку...

— Наденьте брюки, — сказал я с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил он с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул я. — В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал он. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком приказал ему оставаться на месте и свернул в коридор, на половину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприязненное. Симонэ семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая.

Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симонэ за моей спиной издал странный звук — что-то вроде «а-ап!».

— Прошу прощения, — еле ворочая языком, проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл дверь. Затем я повернулся к Симонэ и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь! — одними губами произнес Симонэ. Он был на грани обморока. Я отпустил его.

— Вы ошиблись, Симонэ, — сухо сказал я. — Пошли.

Прежним порядком мы проследовали в мой номер. Войдя, Симонэ бросился в кресло, на секунду закрыл лицо ладонями, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой. — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!

Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва, Петер! Я клянусь вам! Она была убита, и мало того...

— Ерунда, — сказал я холодно. — Вы были пьяны, ошиблись дверью...

— Нет-нет, — возразил Симонэ, мотая головой. — Я был пьян — это верно, но тут что-то нечиста, тут что-то не так... Скорее уж это был кошмар, бред. Я глаз не сомкнул все это время, то раздевался, то одевался...

— Где вы находились все это время?

— У себя. Я больше не выходил из номера.

— В какой именно комнате вашего номера вы находились?

— То в одной, то в другой... Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне... — Глаза его вдруг снова выкатились. — Постойте-ка, — сказал он. — Но, если она жива... — Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу. — Что случилось?

— Убит Олаф, — сказал я.

— Как убит? Вы же только что были у него в номере... Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали...

— Я разговаривал не с ним, — сказал я. — Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?

Симонэ вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то! — пробормотал он. — Сумасшедший бред... Сначала то, теперь это...

Я применил старый, испытанный прием. Пристально глядя на Симонэ, я сказал:

— Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы.

Снмонэ мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же исчезли. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе.

— Что вы этим хотите сказать? — пробормотал он. — Что это значит — «перестаньте крутить» ...

— Это значит, что я жду ответа, — сказал я. — Когда точно вы вернулись в свой номер?

Симонэ преувеличенно оскорбленно пожал плечами.

— Извольте, — сказал он. — Смешно, конечно, и дико... пожалуйста. Извольте. Из бильярдной я вышел без десяти десять. С точностью плюс-минус одна минута. Я прошел в спальню, разделся... — Он остановился. — А вы знаете, Петер... В это время Олаф был еще жив. За стеной спальни двигали мебель. Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баиньки, а я пойду к моей Ольге... Или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без пяти десять. Плюс-минус три минуты.

— Так. Дальше.

— Дальше... Дальше я пошел в туалетную комнату, побрился, вымылся до пояса... Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около половины одиннадцатого.

— Вы остались в спальне?

— Да, одевался я в спальне. Но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И я клятвенно утверждай, что после вечеринки Олафа в глаза не видел.

— Верю, — сказал я. — Теперь скажите: когда вы в последний раз разговаривали с Хинкусом?

— Гм... Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать.

— А когда вы его в последний раз видели?

Симонэ прищурился, вспоминая.

— Около душа? — произнес он с вопросительной интонацией. — Да нет, что это я! Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши... А что с ним случилось?

— Ничего особенного, — небрежно сказал я. — Еще один вопрос, Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки с душем, с пропавшими туфлями...

— Понимаю, — сказал Симонэ. — По-моему, начал это дю Барнстокр, а поддерживали его все, кому не лень.

— И вы?

— И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки... — Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо.

— И больше ничего? — спросил я.

— Ну почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров, я устраивал «посещения утопленника» ...

— То есть?

— То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами...

— А часы Мозеса — ваша работа? — спросил я.

— Какие часы Мозеса? Золотые такие? Луковица?

Мне захотелось его ударить.

— Да, — сказал я. — Луковица. Вы их сперли?

— За кого вы меня принимаете? — возмутился Симонэ. — Что я вам, воришка?

— Нет-нет, не воришка, — сказал я, сдерживаясь. — Вы их утащили в шутку. Устроили «посещение Багдадского Вора».

— Слушайте, Петер, — сказал Симонэ очень серьезно. — Я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели...

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту. — Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. — Что это может быть, как по-вашему?

Симонэ быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно вложил обратно в чемодан.

— Не моя область, — сказал он. — Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. Где вы это взяли? У Олафа?

— Да, — сказал я.

— Подумать только! — пробормотал он. — У этой дубины... Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры? Очень странный агрегат... — Он посмотрел на меня. — Если хотите, Петер, я могу покрутить эти колесики и винтики. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие.

— Не надо, — сказал я. — Дайте сюда. — Я закрыл чемодан.

— Правильно, — одобрил Симонэ, откидываясь в кресле. — Это надо отдать экспертам. Я даже знаю кому... Между прочим, почему вы не вызовете специалистов?

Я коротко объяснил ему про обвал.

— Все одно к одному, — уныло произнес он. — Мне можно идти?

— Да, — сказал я. — Идите и ложитесь спать.

Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. «Военное или космическое, — подумал я. — Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия... Тьфу, глупость! Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли... Куда же мне его деть?» Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку, спустился вниз.

Хозяин расположился за столиком с бумагами и арифмометром. Винчестер был у него под рукой — прислонен рядом к стене.

— Что новенького? — спросил я.

— Да ничего особенно хорошего, — ответил он с виноватым видом. — Пришлось мне объяснить Мозесу, что произошло.

— Зачем?

— Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил, что к чему...

— Плохо, — сказал я. — Но это я сам виноват. А он что?

— А ничего. Выкатил на меня свои глазищи, помолчал с полминуты, а потом стал орать: кого это я поселил на его территории, да как посмел...

— Ну, ладно, — сказал я. — Вот что, Алек. Дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ, вы уж извините, оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. А в-третьих, я очень хотел бы кофе.

— Пойдемте, — сказал хозяин.

Глава 9

Я выпил кружку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный, но от Кайсы я почти ничего не добился. Она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: «Чего это?» Однако мне удалось выяснить, что Олаф выпросил у нее бусы на память и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина.

— Что вы обо всем этом думаете, Алек? — спросил я.

Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи.

— Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название.

— Вот как? — сказал я. — А что это будет за название?

— Еще не знаю, — ответил хозяин. — И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться...

— У владельца уже есть частное мнение? — удивился я.

— Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением... Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют. Когда они вас обескураживают. Словом, задавайте ваши вопросы.

Неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой.

— Да, — сказал он. — Вот видите, и Хинкус тоже...

Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за неторопливость, а тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет.

— Насколько я помню, все было в порядке. Все двери верхнего этажа были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались.

Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал возможностями отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ... Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном... Между прочим, этого никто не смог бы сделать...

— Вы мне разрешите полюбопытствовать, — сказал хозяин, — зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес?

— А, пустяки, — сказал я. — Физик перепил, и ему почудилось бог знает что...

— Вы не скажете мне, что именно?

— Да вздор! — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого. — Вы меня сбили, Алек. Ну, ладно, потом вспомню... Теперь насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью.

— Я, конечно, могу попытаться, — мягко сказал хозяин, — но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало.

— Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией, — сказал я с раздражением. — Просто Хинкус того... — Я постучал себя по темени.

— Ну, хорошо, хорошо, — произнес хозяин примирительно. — Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил, в-третьих, ребенок дю Барнстокра... Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом...

— Когда это было? — быстро спросил я.

— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.

— Это очень интересно, — сказал я. — Но об этом после. Так. Кто еще выходил?

— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес... Гм... — Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. — Нет, — сказал он решительно. — Не помню. Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она... Нет, я не видел. К сожалению.

— Ну, что ж, и на том спасибо, — сказал я рассеянно. Я уже думал о другом. — А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?

— Именно так.

— Спасибо, — сказал я и встал. — Я пойду. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?

— После обеда? Нет.

— Ах, да, вы же играли... А до обеда?

— До обеда я видел его несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал... Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом... Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать... Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди.

Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую мысль.

— Слушайте, Алек, я совсем забыл, — сказал я. — Как записался у вас Олаф?

— Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.

Нет, это была не та мысль.

— Спасибо, Алек, — сказал я и снова сел. — Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.

Я обхватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался и что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это последний человек, который видел Олафа живым. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе, промежуточек. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отозвался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере. Нет, рано, рано делать выводы. Возьмемся-ка за чадо. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи.

Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?

— Откройте, Брюн, это я, Глебски, — сказал я.

Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:

— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!

— Откройте, вам говорят! — прикрикнул я.

— А в чем дело?

— Вашему дядюшке плохо, — сказал я наугад.

— Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть...

Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.

— Не так быстро, — сказал я, придерживая его за плечо. — Ну-ка, зайдемте в номер...

Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.

— Так плохо? — шепотом спросило оно. — Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!

С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:

— Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом.

— Но вы же сказали...

— Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо!

— С каким Олафом? Что вам от меня надо?

— Когда и где вы в последний раз видели Олафа?

Чадо помотало головой.

— Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей?

— Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом?

— Да что вы затвердили одно и то же? — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя. — И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?

— Я вас спрашиваю...

— А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов!

— Хватит болтать! — гаркнул я. — Олаф убит. Я знаю, что после вас никто не видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну?

Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед.

— Отвечайте, — сказал я спокойно. — Вы вышли с ним из столовой и направились... куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

Чадо молчало. Оно сидело, съежившись, на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими!» и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы.

— Слезы тоже не помогут, — сказал я холодно. — Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться, — я сунул руку в карман, — я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?

— Я понимаю... — едва слышно пролепетало чадо. — Я скажу... Мы вышли в коридор... А потом... Я плохо помню, память у меня паршивая. Он что-то сказал и ушел, а я... это...

— Ну? — сказал я.

— Это... это стыдно, — прошептало чадо. — И противно.

— Полиция, как и медицина, — наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость, — не признает таких понятий, как «стыдно».

— Ну, ладно, — сказало вдруг чадо, гордо вздернув голову. — Хрен с вами. Дело было так. Сначала шутки: жених и невеста, мальчик или девочка... ну, вроде как вы со мной обращались... Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что... А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде... по лицу...

— Ну? — сказал я, не глядя на него.

— Ну, он обиделся, обругал меня и ушел.

— Куда?

— Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем... Ушел по коридору. — Чадо махнуло рукой. — Не знаю, куда.

— А вы?

— А я... А что я? Все настроение пропало, противно, скукотища... Одно и оставалось — завалиться спать.

— Когда вы заснули?

— Не помню.

— Ну, хорошо, предположим, — сказал я. — А, теперь подробно опишите все ваши действия до того момента, когда вы с Олафом удалились в коридор.

— Подробно? — спросило чадо.

— Да, со всеми подробностями.

— Ладно, — согласилось чадо, показав мелкие, острые, до голубизны белые зубы. — Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне в дрезину бухой инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения...

Я скушал это, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное.

— Тут, на мое счастье, — продолжало чадо злорадно, — подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабак в Гамбурге. Потом он хватает Мозесиху и волочит за портьеру, и это уже похоже на совсем другое заведение в том же Гамбурге. И стало мне инспектора жалко, потому что парень он, в общем, неплохой, просто пить не умеет, а старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс, причем инспектор рад-радешенек: видно, за портьерой он протрезвел...

— Кто в это время был в зале? — сухо спросил я.

— Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симонэ наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил.

— Так, продолжайте, — сказал я.

— Ну, пляшу я с Мозесихой, она ко мне хищно прижимается, и тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией уплывает в коридор, а на меня набегает Олаф...

— Постойте, когда это было?

— Ну уж пардон! Часы мне были ни к чему.

— Значит, госпожа Мозес вышла в коридор?

— Ну, я не знаю, в коридор, или к себе она пошла, или в пустой номер, — там рядом два пустых номера... Я же не знаю, какая у нее была авария, может быть, вы ей за портьерой весь корсет разнесли... Дальше рассказывать?

— Да.

— Пляшем это мы с Олафом, он отсыпает мне разные комплименты — фигура, мол, осанка, мол, походка... А потом говорит: пойдемте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что? Пожалуйста, можно и пойти... Тем более что в зале ничего интересненького я не вижу...

— А госпожу Мозес вы в зале видите в это время?

— Нет, она у себя в сухом доке, заделывает пробоины... Ну, выходим мы в коридор... А дальше уже рассказано.

— И госпожу Мозес вы больше не видели?

И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил.

— Н-нет, — сказало чадо. — Откуда? Мне было не до того.

Очень, очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму. Хотя бы и силой.

— Что вы делали днем на крыше? — спросил я резко.

— На какой еще крыше?

— На крыше отеля. — Я ткнул пальцем в потолок. — И не врите, я вас там видел.

— Идите-ка вы знаете куда? — ощетинилось чадо. — Что я вам, лунатик какой-нибудь, по крышам бегать?

— Значит, это были не вы, — примирительно сказал я. — Ну хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его еще сначала, спутали с Олафом... Когда вы его видели в последний раз?

— В последний?.. Это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой.

Я так и подскочил.

— Когда? — спросил я.

Чадо встревожилось.

— А что такого? — спросило оно. — Ничего такого не было... Только это мы выскочили из зала, я смотрю, Хинкус сворачивает на лестницу...

— Вы уверены, что это был Хинкус?

Чадо пожало плечами.

— Мне показалось, что Хинкус... Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку... Но все равно — Хинкус, кому же еще быть? Маленький такой, сутулый...

— Стоп! — сказал я. — Он был в шубе?

— Да... В этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое... А что такое? — Чадо перешло на шепот. — Это он убил, да? Хинкус?

— Нет-нет, — сказал я.

Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад... а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере... а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил.

— Сидите здесь, — приказал я. — Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил.

— А можно, я пойду к дяде? — спросило чадо дрожащим голосом.

Я поколебался, потом махнул рукой.

— Идите.

Выскочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет: в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руке одну из ножек.

— Это вы? — сказал он хрипло и выпрямился.

— Да! — сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется, но я все-таки сказал свирепо: — Мне надоело слушать, вранье, Хинкус! Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок. Но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете говорить мне правду или нет?

На лице его промелькнула растерянность.

— Меня? После девяти?

— Да! Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Он вдруг судорожно хихикнул. — Я шел по коридору? — Он снова хихикнул, и еще раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота. — Я? Меня? Вот то-то и оно, инспектор! Вот то-то и оно! — проговорил он, захлебываясь. — Меня видели в коридоре... И я тоже видел меня! И я схватил меня... И я связал меня... И я замуровал меня в стену! Я — меня... Понимаете, инспектор? Я — меня!

Глава 10

Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину:

— Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посильнее?

— У меня все есть, — ответил хозяин.

— Вот и займитесь, — сказал я, протягивая ему ключ.

Голова у меня гудела. Было без пяти четыре. Я устал, осатанел и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот: чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник — опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы, но зато тогда пришлось бы решить вопрос, где и как ему удается прятаться. Ладно, займусь-ка я Мозесами.

Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате, с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом.

— Вы намерены беседовать здесь? — устало спросил я.

— Да, намерен, — с вызовом ответил он, густо дохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов. — Именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса.

— Тогда лучше пройдемте в контору, — предложил я.

— Н-ну, в контору... — Он отхлебнул из кружки. — В контору — еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве — меня, Мозеса?

— Нет, — сказал я. — Упаси бог...

В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол.

— Мне не нравится наша полиция, — немедленно объявил Мозес, уставясь на меня. — Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы... собаки, воры, шум среди ночи... Что это за бродяга расположился у меня в номере третьем? Я вам заплатил за номер третий! Вы были обязаны спросить у меня разрешение!

Я не мог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал:

— Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво.

— Может быть, и покойник воскреснет? — ядовито осведомился паршивый старик. — Может быть, вы мне и это пообещаете? Я Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не привык ко всем этим покойникам, собакам, божедомам, обвалам...

Я сидел с закрытыми глазами и ждал.

— Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи, — продолжал Мозес. — Я не привык проигрывать по триста крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов... Этот Барл... Брал... Он же просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами! Мозес — это Мозес, сударь!..

Он еще долго бурчал, скворчал, шумно отхлебывал, рыгал и отдувался, и я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу и что он привык к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь... Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь... Потом стало тихо.

— Вот так-то, инспектор, — сказал он и поднялся. — Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи.

— Одну минуточку, — сказал я. — Два пустяковых вопроса. — Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить. — Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?

— Примерно! — хрюкнул он. — И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно!.. Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть? — осведомился он ядовито.

— Да, простите, пожалуйста.

— Благодарю вас, инспектор, — произнес он еще более ядовито и сел. — Так вот, я с госпожою Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном, — я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме, как своей крепости, и в особенности, сударь, если депо идет о женщине, о супруге, сударь, о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор!

— Да-да, это было опрометчиво, — сказал я, — приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения.

— Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака.

— Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек, — сказал я, снова закрывая глаза. — Он потерпел аварию на автомобиле, он калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес. — Я открыл глаза. — А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно?

Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня.

— Меня удовлетворили ваши объяснения, — заявил он. — Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно. — Он отхлебнул. — Итак, мы с госпожою Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно... — Он прищурился с большой язвительностью и повторил: — Примерно, инспектор, в двадцать один час тридцать три минуты с секундами по местному времени! Это вас

удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму и, я надеюсь, последнему вопросу.

— Мы еще не совсем покончили с первым, — возразил я. — Вы вышли из зала в двадцать один тридцать три. А дальше?

— Дальше? А дальше я вернулся в свой номер, немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я Мозес...

— Да-да, конечно, — поспешно сказал я. — Еще один последний вопрос, господин Мозес.

— Последний! — сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем.

— Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую?

Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами.

— Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству? — сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло. — И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может...

Я закрыл глаза. На протяжении последующих пяти минут я услыхал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет?.. Потом Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением:

— Впрочем, это смешно — приписывать такой мелкой личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса, Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того. Взвесив все обстоятельства... Я же понимаю, что у вас недостанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы — не больше двух вопросов, сударь! — в моем присутствии. Немедленно. Следуйте за мной.

Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес и, когда она откликнулась, скрипуче проворковал:

— К вам можно, дорогая? Я не один.

К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал ей руку — тут я почему-то вспомнил, как хозяин утверждал, будто он лупит ее плеткой.

— Это инспектор, дорогая, — проскрипел Мозес, валясь в кресло. — Вы помните инспектора?

— Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски? — откликнулась красавица. — Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Сколько поэзии!

Я сел на стул. Мне все это надоело. Хватит, подумал я. К черту.

— Сударыня, — сказал я сухо. — Следствием установлено, что примерно в половине девятого вчера вечером вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это?

Старик негодующе заворочался в кресле, но госпожа Мозес опередила его.

— Ну, разумеется, подтверждаю, — ответила она. — С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась.

— Насколько я понимаю, — продолжал я, — вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так?

— Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени, я не смотрела на часы... Но скорее всего это было именно так.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую.

— Да... кажется, — сказала госпожа Мозес. Она наморщила лобик, а я весь так и напрягся. — Ну, конечно! — воскликнула она. — Когда я уже возвращаюсь, я увидела в коридоре парочку...

— Где? — быстро спросил я.

— Ну... сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф и это забавное существо... я не знаю, юноша или девушка... Кто он, Мозес?

— Минуточку, — сказал я. — Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки?

— Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило беседовали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила...

Вот она, заминочка, Брюн, подумал я. Чадо вспомнило, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успело ничего сообразить, а потому принялось врать, надеясь, что пронесет.

— Я женщина, инспектор, — продолжала госпожа Мозес, — и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы не услыхали бы от меня ни слова, но сейчас, мне кажется, я

должна, я вынуждена быть вполне откровенной... Не правда ли, Мозес?

Мозес в кресле пробурчал что-то неопределенное.

— И еще, — продолжала господа Мозес. — Но это, наверное, не имеет особенного значения... Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человечек...

— Хинкус, — просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле.

— Да, Финкус... Его, кажется, так зовут... Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда?

— Прошу прощения, — сказал я. — Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла?

— Даже полицейскому должно быть ясно, — раздраженно прорычал Мозес. — Моя жена ясно сказала вам, что она спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу...

— Не сердитесь, Мозес, — ласково произнесла госпожа Мозес. — Инспектор просто интересуется деталями... Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Мы разминулись и пошли каждый своей дорогой.

— Как он был одет?

— Ужасно! Какая-то кошмарная шуба... От него даже, простите, пахло... мокрой шерстью, псиной... Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю: если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество.

— Я бы многим здесь посоветовал, — прорычал Мозес поверх кружки, — сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы наконец закончили?

— Нет, не совсем, — проговорил я медленно. — Еще один вопрос... Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли спать и крепко заснули?

— Крепко заснула? Да как вам сказать... Так, подремала немножко...

— И, вероятно, вас что-то разбудило? Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер — я приношу вам глубочайшие извинения, — вы не спали...

— Ах, вот вы о чем... Не спала... Да, действительно, не спала, но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного... Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью

какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать: нет, не слышала.

— Никакого шума? — удивился я.

Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз.

— По-моему, никакого, — сказала она неуверенно. — А вы, Мозес?

— Абсолютно никакого, — решительно сказал Мозес. — Если не считать отвратительной возни, поднятой этими господами...

— И никто из вас не слышал даже шума обвала?

— Какого обвала? — удивилась госпожа Мозес.

— Не волнуйтесь, дорогая, — сказал Мозес. — Ничего страшного. Неподалеку в горах случился обвал, я расскажу вам об этом после... Ну что, инспектор? Теперь уже, может быть, достаточно?

— Да, — сказал я. — Теперь достаточно. — Я встал. — Еще один, самый последний вопрос. Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес...

Она рассмеялась и перебила меня:

— Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости, пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, доски... я даже не сразу поняла, куда попала...

Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднималась на второй этаж. Я представления не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже, хотя и можно было предположить, что речь шла об амурах с Симонэ, в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка — мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза.

— Благодарю вас, сударыня, — пробормотал я. — Вы оказали большую помощь следствию, сударыня.

Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. Это не мое дело. Это — дело семейное, меня это не касается... Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать хотя бы часа два, но я чувствовал, что сейчас мне не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо дю Барнстокра врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему она врет, что почти

не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала обвала и возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки случилось с Симонэ... Как бы поступил на моем месте Згут? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом...

Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу.

— Послушайте, Алек, — сказал я. — Может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса?

Хозяин поднял голову и посмотрел на меня.

— Именно двойник Хинкуса? — деловито спросил он.

— Да. Именно двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты, подумайте об этом, Алек!

Хозяин подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петер. Вы заблуждаетесь. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях...

— Это ваше ощущение? — горько спросил я.

— Что вы имеете в виду?

— Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе.

Хозяин встал.

— Вы все-таки еще не созрели, Петер, — сказал он. — А я жду, когда вы наконец созреете.

— Зачем это вам надо? Я уже перезрел, я скоро упаду.

— Не упадете! — успокоил меня хозяин. — И вы еще далеко не созрели. А я хочу дождаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела.

— Господи, — пробормотал я. — Могу себе представить, что это за слова!

Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил:

— А хотите, я расскажу вам, что именно почудилось нашему сумасшедшему физику?

— Ну, попробуйте, — сказал я.

— Наш сумасшедший физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петер, холодную куклу.

Глава 11

Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня.

— Ну-ка, подите сюда, — сказал я. — Рассказывайте.

— А кофе?

— Черт с ним, с кофе! Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, выкладывайте все, как есть.

Он вернулся к столику, но садиться не стал.

— Я не знаю, как все есть, — сказал он. — Я могу только кое-что предполагать.

— Откуда вы знаете, что обнаружил Симонэ?

— Ага, значит, я угадал... — Он сел и удобно развалился. — Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно...

— Слушайте, Алек, — сказал я. — Я не стану скрывать: вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже, — сказал он.

— Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать... А мне надо, мне уже пора кого-то подозревать... Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алек. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности... Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытный полицейский.

— Ну, раз так, — сказал он, — тогда, конечно. Тогда я сейчас принесу вам кофе и расскажу о некоторых своих ощущениях.

Пока он ходил за кофе, я лежал в кресле с закрытыми глазами и думал, можно ли мне временно наплевать на все это и поспать часа три. Потом запахло кофе, и хозяин сказал: «Прошу». Я взял чашку, отхлебнул и покосился на него. Он уже сидел в своем кресле и тоже держал в руке дымящуюся чашку — широкий, кряжистый. Того и гляди, заговорит глухим голосом.

— Выкладывайте, — сказал я.

— Значит, так, — сказал он. — Как я понимаю, мне надлежит сейчас ответить на вопрос: откуда я знаю, что видел господин Симонэ в спальне госпожи Мозес... — Он отпил кофе и с наслаждением

подвигал губами. — Значит, так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам...

Я застонал, и хозяин повысил голос.

— Такое явление реального мира — мертвый человек, имеющий внешность живого и совершающий на первый взгляд вполне осмысленные и самостоятельные действия, — носит название «зомби». Можно сказать, что зомби — это третье состояние живого организма. А если использовать терминологию современной науки, то зомби функционально представляет собой очень точный биологический механизм, выполняющий...

— Слушайте, Алек, — утомленно сказал я. — Я смотрю телевизор и время от времени хожу в кино. Все эти чудовища Франкенштейна, Серые Девы, Джоны Кровавые Пузыри, Дракулы...

— Все это порождения невежественного воображения, — с достоинством возразил хозяин. — А Дракула — это вообще...

— Мне все это неинтересно, — сказал я. — Понимаю: вы репетируете свою речь перед газетчиками. Но меня-то все это не касается. Вы обещали мне рассказать что-то интересное насчет госпожи Мозес и Симонэ. Вот и рассказывайте. Вы что, тоже залезали к ней в постель? И тоже претерпели, мягко выражаясь, разочарование?

Некоторое время он смотрел на меня грустными глазами.

— Да, — сказал он наконец с сожалением. — Так я и думал. Вы еще не созрели... Ну хорошо. — Он вздохнул. — Пусть будут одни факты без теории. Шесть дней тому назад, когда мой отель осчастливили посещением господин и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посередине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. А затем я был грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мною господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади...

— Кукла, — сказан я задумчиво.

— Зомби, — мягко поправил меня хозяин.

— Кукла... — повторил я, не обращая на него внимания. — Какой у него багаж?

— Несколько обычных чемоданов, — сказал хозяин. — И гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой четверых носильщиков, и бедняги измучились, затаскивая этот сундук в дом. Разворотили мне весь косяк...

— Ну, что ж, — сказал я, подумав. — В конце концов это его личное дело. Я слыхал о миллионере, который повсюду таскал за собой коллекцию ночных горшков... Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину... Между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновения нашего Симонэ и подсунул ему вместо жены эту самую куклу... Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев! — Я представил

себя на месте Симонэ и содрогнулся. — Ей-богу, славная шутка, — сказал я.

— Ну, вот вы все и объяснили, — сказал хозяин.

Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен. Но, черт его побери, зачем ему это нужно — крутить мне голову, забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер и рекламе этого заведения способствовать не намерен... Нет, хватит с меня. Больше я с господином Алеком Сневаром на эти темы не разговариваю. Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся.

— Вот что, — сказал я. — Вы мне мешаете, Алек. Сидите здесь, а я пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать.

— Уже без четверти пять, — напомнил хозяин.

— Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алек, у меня вовсе нет впечатления, будто события закончились. Поэтому оставайтесь здесь, в холле, и будьте наготове.

— Ну, что ж, надо так надо, — сказал хозяин.

Я прошел в каминную (Лель опять поворчал на меня), взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симонэ более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы. Или, наоборот, нельзя выкидывать ни в коем случае, потому что, если в одиннадцать часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то, где же была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу... но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое... Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби?.. Да нет, какое, к черту, алиби — ночь, темно, установить это алиби можно только на ощупь, а на ощупь получается не алиби, а шутка... Собственно, что меня здесь смущает? Только одно: комната Симонэ находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее: Мозесам нужно было, чтобы комната Симонэ, начиная с одиннадцати часов и в течение некоторого времени, была пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симонэ, совсем не нужна кукла, достаточно было бы самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес... хрупкая, изнеженная, до кретинизма светская госпожа Мозес... Нет, все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно...

То есть на редкость мерзкая ситуация: все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно

непонятно, как произошло преступление. Самое главное непонятно. Бог с ним, с убийцей! Объясните мне, как он убил! Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике, никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться было нельзя. Остается одно — сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмотреть снова, но я точно помню: снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером в заднице. Влетел, свернул соотечественнику шею и вылетел... Так что в запасе у меня только два паршивеньких предположеньица. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов...

Оба предположения указывают прямо на владельца дома и механика-изобретателя. Так. Ну-с, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он безвылазно сидит за карточным столом. Начиная примерно с без пяти десять и до момента обнаружения трупа он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно двадцать — двадцать пять минут, когда его не видит никто либо видит только Кайса, которой он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов. Непонятны мотивы (не для рекламы же!) психологически совершенно неоправданно все его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше.

Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею. Симонэ. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы — парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего не понятно. Хинкус. Двойник Хинкуса... Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать...

Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребенок видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но не сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой... И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул

обвала. Я посмотрел на часы, было две минуты одиннадцатого и тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху. Кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симонэ в это время брился. Дю Барнстокр спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал, связанный, под столом. Хозяин и Кайса были на кухне. Мозесы были у себя. Значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса... Я бросил кочергу и побежал наверх.

Номер чада был пуст, и я постучался к дю Барнстокру. Чадо, подперев кулаками щеки, уныло сидело за столом. Дю Барнстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел.

— Снимите очки! — резко приказал я чаду, и чадо немедленно повиновалось.

Да, это была девушка. И прехорошенькая, хотя глаза ее опухли и покраснели от слез. Я сел напротив и сказал:

— Вот что, Брюн. В девять часов десять минут госпожа Мозес видела вас с Олафом у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?

Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями.

— Мы были у него в номере, — сказала она.

Дю Барнстокр жалобно застонал.

— Нечего стонать, дядя! — сказала Брюн, немедленно рассвирепев. — Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. У него было что-то вроде ожерелье, какие-то бусы, и он все хотел надеть их мне на шею, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте — лавина!» И он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил... Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное... Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я едва не упала, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом, и еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела, я дико разозлилась и сразу пошла к себе...

— Так, — сказал я. — Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

Брюн затрясла головой.

— Нет. Я ничего не слышала, только шум обвала.

— И ушли вы сразу же? Не задержались у дверей ни на секунду?

— Сразу же. Я дико разозлилась.

— Как же развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова.

— Он сказал, что хочет мне что-то показать, — заговорила она, нагнув голову. — Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась... ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...

— Стоп. Вы говорили, что видели Хинкуса.

— Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу.

— Так. Продолжайте.

— Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появись эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко. Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Н-ну..., и мы зашли в номер к Олафу.

— Понятно. — Я покосился на дю Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горе́. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. — Ну, ладно. Вы что-нибудь пили у Олафа?

— Я?

— Меня интересует, пил ли что-нибудь Олаф.

— Нет. Ни он, ни я — мы не пили.

— Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом. Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?

— А что такого я могла заметить?

— Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует, — пояснил я. — Особенно это заметно, если он на ваших глазах чувствует себя все хуже и хуже.

— Ничего такого не было, — решительно сказала Брюн. — Он чувствовал себя прекрасно.

— А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?

— Я вообще ничего не помню, — ответила Брюн тихо. — Это был обычный треп. Шуточки, остроты... Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик. Во всех двигателях избирался...

— Когда случился обвал, вы сидели или стояли?

— Стояли. У самых дверей.

— А вы уверены, что он кинулся от вас именно к окну?

— Н-ну, как вам сказать... Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну... в сторону окна... ну, я не знаю, как еще вам сказать, может быть, и не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате не видела, кроме окна...

— Олаф передвигал какую-нибудь мебель?

— Мебель?.. А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло... ну, потом, конечно, отодвинул.

Я встал.

— На сегодня все, — сказал я. — Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить.

Дю Барнстокр тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками.

— Дорогой инспектор! Вы, конечно, понимаете, что я понятия не имел...

— Да, дю Барнстокр, — сказал я. — Дети растут, дю Барнстокр. Все дети, даже дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, дю Барнстокр. Глаза — это зеркало души.

Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл.

— Вы реабилитированы, Алек, — объявил я хозяину.

— Разве я был осужден? — удивился он, поднимая глаза от арифмометра.

— Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом-момбизмом... Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я.

— А если он проснется раньше вас?

— Я не собираюсь спать, — сказал я. — Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной.

— Слушаюсь, — сказал хозяин. — Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?

Я подумал.

— Да, пожалуй. В девять часов завтрак. А там видно будет... Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались?

— Гм... — сказал хозяин с сомнением. — Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек?

— Где бы вы спрятались? — повторил я.

Хозяин покачал головой.

— Обманывают вас, — сказал он. — Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. Двенадцать номеров, из них только два пустуют, но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила... Подвал — он у меня закрыт снаружи на висячий замок... Чердака нет, между крышей и потолком едва руку просунешь... Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и, кроме того, мы там целый день крутимся — то я, то Кайса. Вот, собственно, и все... Может быть, стоит заглянуть в генераторную — туда я не часто наведываюсь.

— Давайте ключи, — сказал я.

Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, залез даже в подземный склад солярки — я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить, это было бы слишком просто, но проклятая чиновничья добросовестность не позволяла мне оставлять в тылу белые пятна. Двадцать лет беспорочной службы — это двадцать лет беспорочной службы: в глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже, всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, хватающим вершки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу.

Когда я, злой и грязный, выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреневой дымкой. И какой же свежий, сладкий, морозный воздух наполнял долину! Пропади оно все пропадом!..

Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин.

— Ага, — произнес он, увидев меня. — А я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму.

— Иду, — сказал я, отряхивая пиджак.

— Собственно, он зовет не маму, — сказал хозяин, — он зовет Олафа Андварафорса.

Глава 12

Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил:

— Вы Олаф Андварафорс?

Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить

утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил:

— Нет. Я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски.

— Да? — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же Олаф Андварафорс?

По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрывшись до пояса одеялом, ночная рубашка Алека была ему явно велика, ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой.

— Прошу прощения, — сказал я, — но предварительно я должен задать вам несколько вопросов.

На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение — до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что на виду остался только белок. Некоторое время мы молчали.

— Так вот, — сказал я, — прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик, — сказал он быстро.

— Луарвик... А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

Он опять помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми.

— Приблизительно да, — сказал он наконец.

— В каком смысле приблизительно?

— Луарвик Луарвик.

— Хорошо. Допустим. Кто вы такой?

— Луарвик, — сказал он. — Я Луарвик. — Он помолчал. — Луарвик Луарвик. Луарвик Л. Луарвик.

Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач.

— Я хотел узнать, чем вы занимаетесь.

— Я механик, — сказал он. — Механик-водитель.

— Водитель чего? — спросил я.

Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Хорошо, оставим это, — поспешно сказал я. — Вы иностранец?

— Очень, — сказал он. — В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

«Что он, издевается надо мной? — подумал я. — Непохоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене».

— Зачем вы сюда приехали? — спросил я.

— Здесь есть Олаф Андварафорс.

— Вы ехали к Олафу Андварафорсу?

— Да.

— Попали под обвал?

— Да.

— Ехали на автомобиле?

Он подумал.

— Машина, — сказал он.

— Зачем вам нужен Андварафорс?

— Я имею с ним дело.

— Какое именно?

— Я имею с ним дело, — повторил он. — С ним.

Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес.

— Сюда нельзя, — сказал я резко.

Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью.

— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!

— Не орите на меня, — неожиданно миролюбиво предложил Мозес. — Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении?..

— Не сейчас, позже... — Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.

— Извольте, извольте... — бурчал Мозес, вытесняемый в коридор. — Я, конечно, мог бы протестовать...

Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс? — спросил Луарвик.

— Нет, — сказал я. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит, — повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций. Ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется. — Мертвый? Олаф Андварафорс?

— Да.

— Нет, — сказал Луарвик. — Вы неточно знаете.

— Я знаю совершенно точно, Я видел его мертвым. Сам.

— Я хочу посмотреть.

— Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.

— Я имею с ним дело, — сказал Луарвик.

— Но я же говорю вам: он убит. Умер. Его убили.

— Хорошо. Я хочу посмотреть.

Меня вдруг осенило: я вспомнил про чемодан.

— Он должен был вам что-нибудь передать?

— Нет, — ответил он равнодушно. — Мы должны говорить. Я с ним.

— О чем?

— Я с ним. С ним.

— Слушайте, господин Луарвик, — сказал я, — Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу, понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам все равно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.

Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны.

— Я ничего не могу сказать вам, — невнятно проговорил он сквозь одеяло.

— Почему?

— Я могу сказать только Олафу Андварафорсу.

— Откуда вы ехали? — спросил я.

Он молчал.

— Где вы живете?

Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой — в потолок.

— Вы выполняете чье-нибудь поручение?

— Да.

— Чье именно?

— Зачем вы хотите это знать? — спросил он. — Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами.

— Прошу вас понять, — сказал я проникновенно. — Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто был убийца. Ну, хорошо. Вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать.

— Они не знают Олафа тоже, — сказал он.

— То есть как?

— Они не знают Олафа. Зачем?

Я потер обросшие щетиной щеки.

— У вас концы с концами не сходятся, — сказал я угрюмо. — Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?

— Это может быть. Это так.

— Кто эти люди?

Молчание.

— Где они находятся?

Молчание.

— Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности!

— Зачем? — спросил он.

— При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания, — сказал я строго. — Отказ может быть рассмотрен как соучастие.

— Я хочу надеть одежду, — сказал вдруг Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— С какой целью? — спросил я.

— Я хочу его видеть.

— Но вы же не знаете его в лицо.

— Я не хочу его лицо, — сказал Луарвик.

— А что же вам нужно?

Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.

— Я хочу видеть Олафа Андварафорса! — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. — Зачем вопросы? Зачем вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?

Я тоже потерял терпение.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать... Узнать?

— Да! Узнать!

— Хочу. Хочу видеть.

— Как вы можете его узнать, — сказал я, — если вы не знаете его в лицо?

— Какое лицо? — заорал Луарвик. — Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой!

— Почему вы думаете, что это другой? — быстро спросил я.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил он.

Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф

Андварафорс, которого ищет Луарвик Л. Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо... А действительно, почему обязательно в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде, или по какому-нибудь перстню... или, скажем, по татуировке...

В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: «Одеваться, пожалуйста...» Я открыл дверь и принял у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца.

— Одевайтесь, — сказал я, положив костюм на постель.

Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу Погибшего Альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом — по-видимому, это нелегкое дело: одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдержался. Потом Луарвик сказал: «Я надел». Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши ботинки еще не высохли, — сказал я. — Обувайте это, и пошли.

Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он еще далеко не пришел в себя. Я его хорошо понимал: со мной тоже бывало такое...

Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть.

Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки — все было в порядке. Тогда я достал ключ и

распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в нос — очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все оставалось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно ткнул меня в поясницу. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть.

Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным лицом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — деловитый осмотр. И тем более странными показались мне его слова.

— Я удивлен, — произнес он совершенно бесцветным голосом. — Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил я.

Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея.

Как это он может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли?.. Наконец он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше. Не знал, что Олаф Андварафорс.

— А где вы его видели раньше? — спросил я.

— Там. — Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. — Это не есть главное.

Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался, что именно.

— Олаф Андварафорс умер не здесь? — спросил он, останавливаясь передо мною.

— Почему вы так думаете? — спросил я.

— Я не думаю. Я сделал вопрос.

— Вы что-нибудь ищете?

— Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал он. — Где?

— Вы ищете чемодан? — спросил я. — Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня, — сказал я.

— Это хорошо, — похвалил он. — Я хочу его иметь здесь. Принесите.

Я пропустил мимо ушей его тон и сказал:

— Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным изумлением спросил он. — Зачем снова вопросы?

— А затем, — терпеливо ответил я, — что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я не знаю, — сказал я, — ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице.

— Не надо, — сказал он. — Не хочу. Устал. Пойдем.

Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось? Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием,

Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость.

— Ну что? — спросил я. — Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет, — решительно ответил он. — Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?

— Ступайте в свою комнату, — вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо-бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо-бессмысленном Луарвике Л. Луарвике.

Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и, наконец, закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка, приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырую вату. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.

Глава 13

Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут пятнадцать, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, теребил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски, бессвязные проклятья и жалобы теснились в моей глотке, но взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности столика рядом с бумагами и счетами хозяина лежал огромный черный пистолет.

Это был парабеллум с удлиненной рукоятью. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его, и пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался со спускового крючка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносился звон кастрюль, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе.

— Это ты принес? — спросил я Леля шепотом.

Он наклонил голову на другой бок и все продолжал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет.

Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — двести метров, приспособление для установки оптического прицела, рамка для приставного приклада, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства... Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоять ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его забыл. Должно быть, потому что он представлялся мне жертвой.

Я извлек из рукояти обойму — обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а скорее серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я облизал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля.

— Где ты это взял, старик? — спросил я.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно, — сказал я. — Понимаю. Подожди минутку.

Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоять и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль

фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом.

Мы обогнули гостиницу, а затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в пятидесяти. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, я видел след своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы, а в остальном пелена снега вокруг была нетронута. Это могло означать только одно: пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял: пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой... но почти наверняка с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно.

— Что ж, Лель, — сказал я сенбернару, — ты молодец. А я вот нет. Хинкуса надо было трясти поосновательней, как это умеет делать старина Згут. Правда? К счастью, это еще не поздно сделать.

И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом.

Я намеревался сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукиного сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужном формуляре. Мне было теперь предельно ясно, что дела Олафа и Хинкуса связаны между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью: держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля; что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной «Ф» (тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу — дю Барнстокр не вызывает ни малейших подозрений); что он кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать, и будь я проклят, если я сейчас же не выясню, кому и почему. В этой версии была, конечно, масса противоречий. Если Хинкус, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко?

Почему ему тоже не свернули шею? Да! И надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду...

Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил кружку горячего кофе и громадный сочный бутерброд с ветчиной. Это было как раз то, что нужно. Пока я жевал и глотал, он внимательно разглядывал меня прищуренными глазами и наконец спросил:

— Что-нибудь новенькое?

Я кивнул, проглотил и ответил:

— Да. Пистолет. Только не я, а Лель. А я идиот.

— Гм... Да. Лель — умная собака. А что за пистолет?

— Интересный пистолет, — сказал я. — Профессиональный... Между прочим, вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть.

— Этот ваш пистолет заряжен серебряными пулями? — медленно произнес он. Я кивнул. — М-да, я читал об этом... — сказал хозяин. — Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам.

— Опять зомбизм-момбизм, — проворчал я.

— Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вервольф... лисица-кицунэ... жабья королева... Я вас предупреждал, Петер! — Он поднял толстый палец. — Я уже давно жду чего-нибудь вроде этого. А теперь, оказывается, что не только я...

Я дожевал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то все время так получалось, что версия хозяина — единственная и безумная — все время находила подтверждение, а все мои версии — многочисленные и реалистические — нет... Вурдалаки, призраки, привидения... Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие: как сказал один писатель, потусторонний мир — это ведомство церкви, а не полиции...

— Вы узнали, чей это пистолет? — спросил хозяин.

— Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками, Хинкус его фамилия, — сказал я и вышел.

Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся столбом господин Луарвик Л. Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болтался и имел такой вид, словно его жевала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне навстречу и загородил дорогу.

— Один небольшой, но важный разговор, — объявил он.

— Я занят. Давайте через полчаса.

Он поймал меня за локоть.

— Очень прошу выделить несколько минут. Это важно для меня.

— Это важно для вас... — повторил я, продолжая продвигаться к лестнице. — Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем.

Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги: одну — носком наружу, другую — носком внутрь.

— Для вас тоже важно, — сказал он. — Вы будете довольны. Вы получите все желаемое.

Мы уже поднимались по лестнице.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я.

— Это дело относительно чемодана.

— Через полчаса, — сказал я. — И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете.

— Да, — согласился он. — Мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный.

— Какая там срочность, — возразил я. — Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час.

— Нет-нет, очень прошу вас немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я — вам, вы — мне. Все.

Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжалился.

— Хорошо, пойдемте ко мне. Только давайте побыстрее.

— Да-да, это будет быстро.

Я привел его в свой номер и, присев на край оскверненного стола, сказал:

— Выкладывайте.

Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь, на виду.

— Нету здесь чемодана, — сказал я. — Давайте скорее.

— Тогда я сяду, — сказал он и сел в мое кресло. — Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?

— Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете на него права, и он ваш.

Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал:

— Нет. Чемодан не мой. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: «Отдай то, что взял. Комендант двести двадцать четыре». Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом, вы все время говорите: чемодан. Это меня обмануло. Не чемодан. Футляр. Внутри — прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа, догадался. Теперь

я знаю: Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут, как Олаф, или может быть взрыв. Тогда все будут еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф — дурак, он умер. Мы умные, мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым глазом и немилосердно терзая пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов за последние полчаса основательно увеличился. Разговорился Луарвик.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я эмигрант. Изгнанник. Жертва политики.

Да, разговорился Луарвик. И откуда что берется!

— Эмигрант откуда? — спросил я.

— Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране.

— Откуда вы сюда приехали? Из какого города?

— Из города рядом. Не знаю названия. Меня проводили.

— Кто?

— Не знаю. Секретно. Тоже изгнанники.

— Вы хотите сказать, что вы член тайного общества?

— Не могу сказать. Честь. Надо скорее. Можно погибнуть.

Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно: он врал и врал страшно неумело.

— На чем вы ехали сюда? — спросил я.

— Машина.

— Какой марки?

— Марки... Черный, большой.

— Вы не знаете марки своего автомобиля?

— Не знаю, он не мой.

— Но вы же механик, — сказал я со злорадством. — Какой же вы, к черту, механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?

— Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье.

— А что вы будете делать с этим чемоданом?

— Быстро увезу.

— Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу.

— Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит сам.

— Хорошо, — сказал я и соскочил со стола. — Поехали.

— Как?

— На моей машине. У меня хорошая машина. Возьмем чемодан, отвезем подальше, посмотрим.

Он не двинулся с места.

— Чего же вы сидите? — спросил я. — Ведь опасно, надо скорее...

— Не годится, — сказал он наконец. — Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан, тогда продайте чемодан. А?

— То есть? — сказал я, снова присаживаясь на край стола.

— Я даю деньги, много денег. Вы не на работе, вы в отпуске. Вы нашли чемодан, я его купил. Все.

— И сколько же вы мне дадите? — спросил я.

— Много. Сколько хотите. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз — в Государственном банке, когда вел там дело о подлоге.

— Сколько здесь? — спросил я.

— Мало? Тогда еще вот.

Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной.

— Сколько здесь денег? — спросил я.

— Какая разница? — удивился он. — Все ваше.

— Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?

Он молчал, глаза его то разъезжались, то съезжались.

— Так. Не знаете. А где вы их взяли?

— Это мои.

— Бросьте, Луарвик. Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому. Так?

— Вы не хотите деньги?

— Вот что, — сказал я. — Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик. Вам остается одно: говорить все начистоту. Кто вы такой?

— Вы взяли деньги? — осведомился Луарвик.

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо, — сказал он. — А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — спросил я. — Спросите у Мозеса... Итак, кто вы такой?

Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я сгреб деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.

— Вы напрасно не отдаете чемодан, — сказал Луарвик. — Это не будет вам полезно.

— Не угрожайте, — напомнил я.

— Вы будете причиной большого несчастья.

— Хватит врать, — сказал я. — Не хотите говорить правду — дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь... Стоп! Не туда. Идите за мной.

Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина, в его присутствии пересчитал деньги и написал акт. Хозяин тоже пересчитал деньги — денег оказалось больше восьмидесяти тысяч, мое жалованье за десять лет беспорочной службы, — и подписал акт. Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее.

— Подпишите, — сказал я, протягивая ему ручку.

Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.

— Нет, — сказал он. — Я пойду.

— Как хотите, — сказал я. — Ваше положение это не изменит.

Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.

— Зачем он хотел вас подкупить? — спросил хозяин. — Что ему было надо?

— Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе... — Я достал ключ и открыл сейф. — Вот этот вот.

— Он стоит восемьдесят тысяч? — спросил хозяин с уважением.

— Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история, Алек. — Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а акт положил в карман.

Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул: «Кайса!» — и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебирал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много.

Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симонэ был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что, когда Брюн клянчила у своего дяди сигареты, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре; что дю Барнстокр, орудуя вилкой, всегда

отставляет мизинец; что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа; и еще много подобной же дребедени.

Во всей этой навозной куче я обнаружил только две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф, весь в снегу, стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал, что его встретят, и как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход на половину Мозесов, и как мне показалось, что портьера колышется, надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что, когда я стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес...

Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания не стремилась афишировать, что она одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере-музее рядом со своим номером за пять минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка; и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены — явно подброшены, а потом снова изъяты — в баул Хинкуса... и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол... если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная.

В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратили в фальшбагаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо.

Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен. Но по крайней мере теперь была ясна расстановка сил: Хинкус, с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик — с другой. И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. Мозес, небось, думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком... О том, кто и как скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег.

— Кушать, пожалуйста... — пропищала где-то наверху Кайса. — Кушать, пожалуйста...

Глава 14

Хинкус уже поднялся. Он стоял посредине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем.

— Доброе утро, — сказал я. — Как вы себя чувствуете?

Он настороженно глядел на меня исподлобья, лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего, затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад.

— Более или менее, — буркнул он. — Чего это меня здесь заперли?

— У вас был нервный припадок, — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. — Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?

— Пойду, — сказал он. — Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне — отдых в горах... — Он скомкал и отшвырнул полотенце. — Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза...

— Да, — сказал я. — Не повезло вам. Можно только посочувствовать... Ну, мы еще поговорим об этом.

Я повернулся и пошел к двери.

— Нечего мне об этом разговаривать! — со злостью крикнул он мне вслед.

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сандвичами. Я поздоровался с нею, отнаблюдал серию ужимок, выслушал серию хихиканий и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симонэ — в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами.

— Ну и ночка, инспектор, — сказал он. — Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время, кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина... — Он сел, выбрал сандвич, потом посмотрел на меня. — Нашли? — спросил он.

— Смотря что, — ответил я.

— Ага, — сказал он и неуверенно хохотнул. — Вид у вас неважный.

— У каждого тот вид, которого он достоин, — отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородные седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня.

— Доброе утро, инспектор, — нежно пропел он. — Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симонэ. Не правда ли?

— Привет, — буркнуло чадо.

— Коньяку бы выпить, — сказал Симонэ с какой-то тоской. — Но ведь неприлично, а? Или ничего?..

— А как наши дела, дорогой инспектор? — искательно спросил дю Барнстокр.

— Следствие напало на след, — сообщил я. — В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симонэ снова загоготал было и сразу сделал серьезное лицо.

— Вероятно, нам придется провести весь день в доме, — сказал дю Барнстокр. — Выходить, вероятно, не разрешается...

— Почему же? — возразил я. — Сколько угодно. И чем больше, тем лучше.

— Удрать все равно не удастся, — добавил Симонэ. — Обвал. Я бы, конечно, мог удрать через скалы...

— Но? — спросил я.

— Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?.. Послушайте, господа, — сказал он. — Давайте прогуляемся по дороге, посмотрим, как там в Бутылочном Горлышке...

— Вы не возражаете, инспектор? — осведомился дю Барнстокр.

— Нет, — сказал я, и тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик... как персик... как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сандвичи перед собой.

— Доброе утро, господа! — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес.

Я покосился на Симонэ. Симонэ косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе.

— Прелестное утро, — продолжала госпожа Мозес. — Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожил до этого утра!

— Все там будем, — провозгласил вдруг Мозес хрипло.

— Аминь, — вежливо закончил дю Барнстокр.

Я покосился на Брюн. Девочка сидела, нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик Л. Луарвик в сопровождении хозяина. На лице хозяина имела место скорбная улыбка.

— Доброе утро, господа, — произнес он. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в гостеприимстве.

Судя по виду господина Луарвика Л. Луарвика, катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симонэ.

— Очень приятно, Луарвик! — прохрипел господин Мозес. — Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома.

— Да, — сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим — на Симонэ. — Прекрасная погода. Совсем зима...

— Это все чепуха, Луарвик, — сказал Мозес. — Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид... Симонэ, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел чье-то филе...

И тут наконец появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симонэ пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и, пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса, но с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел.

Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили бревном по голове. Затем на лице явственно проступила радость, исступленная какая-то, он даже заулыбался вдруг совершенно по-детски. А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров: сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, господин Хинкус? — участливо наклоняясь вперед, осведомился дю Барнстокр. — Здешний воздух...

Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки.

— Я-то себя ничего чувствую, — ответствовал он, усаживаясь. — А вот каково вы себя чувствуете?

Дю Барнстокр в изумлении откинулся на спинку стула.

— Я? Благодарю вас... — Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн. — Может быть, я как-то задел, затронул...

— Не выгорело дельце! — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку. — Сорвалось, а, старина?

Дю Барнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса.

— Право же, я боюсь... — Старый фокусник явно не знал, как себя вести. — Я имел в виду исключительно...

— Ладно, ладно, замнем для ясности, — ответствовал Хинкус. Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.

— А хамить-то не надо бы! — сказала вдруг Брюн.

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд.

— Брюн, дитя мое... — сказал дю Барнстокр.

— Р-распетушился! — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. — Пьянствовать меньше надо...

— Господа, господа! — сказал хозяин. — Все это пустяки!

— Не беспокойтесь, Сневар, — поспешно сказал дю Барнстокр. — Это — какое-то маленькое недоразумение... Нервы напряжены...

— Понятно, что я говорю? — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.

— Господа! — решительно вмешался хозяин. — Господа, я прошу внимания! Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю, да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андварафорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски. С другой стороны, нас вовсе не должно излишне нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

Хинкус перестал жевать и поднял голову.

— Наши погреба полны, господа! — торжественно продолжал хозяин. — И я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал...

— Какой такой обвал? — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. — Что за чертовщина?

— Да, простите, — сказал хозяин, поднеся ладонь ко лбу. — Я совсем забыл, что некоторые гости... Дело в том, что вчера в десять часов вечера снежная лавина завалила Бутылочное Горлышко и разрушила телефонную связь...

За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу, — вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая

от него куски вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы, я отхлебнул кофе и объявил:

— Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Я предлагаю этим лицам прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский вертолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа.

— Как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. — Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните! Мы поймем!

Я покосился на хозяина. Алек Сневар, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете.

Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но всем, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий.

Первым поднялся дю Барнстокр.

— Дамы и господа! — сказал он. — Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться в небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте.

Задвигались стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симонэ предложил руку госпоже Мозес — очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика Л. Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками.

За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться надолго, впрок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей.

— Ну что, Хинкус? — сказал я. — Поговорим?

— Это насчет чего? — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.

— Да насчет всего, — сказал я.

— Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю.

— По какому делу? — спросил я.

— Про убийство! По какому еще?..

— Есть еще дело Хинкуса, — сказал я.

Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся.

— Алек, — сказал я хозяину. — Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?

— Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано.

Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился на ярких солнечных квадратах, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился; солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки... — проворчал он с горечью.

— Служба такая, — сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени. — Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?

— С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло.

— Записку, угрожающую вы ему писали?

— Никаких записок я не писал. А вот жалобу я напишу. За истязание больного человека...

— Слушайте, Хинкус. Через час-другой прилетит полиция. Прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что писали ее вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?

Он быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале гремела тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском.

— Ничего не знаю про записку, — сказал наконец Хинкус.

— Хватит врать, Филин! — гаркнул я. — Мне все о тебе известно! Ты влип, Филин. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «ц»! Чистосердечное признание до начала официального следствия... Ну?

Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался.

— Ну? — повторил я.

— Путаете вы что-то, — ответил Хинкус. — Филин какой-то... Я не Филин, я Хинкус.

Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет.

— А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори!

— Ничего не знаю, — угрюмо сказал он. — Чего вы ко мне привязались?

Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно, и закурил.

— Думай, думай, — сказал я. — Быстрее думай, а то поздно будет. Ребята твои не поспели, потому что случился обвал. А полиция здесь будет часа через два, самое большее. Понял, какая картина?

В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать чего-нибудь? Угодно?

— Идите, идите, Кайса, — сказал я. — Ступайте.

Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло его. На лице выступил пот.

— Маху ты дал, Филин, — сказал я. — Перепутал божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать! Олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то, что такое поручение давать... И твоя шпана тебе это еще припомнит. Так что теперь, Филин...

Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, покуривал себе и при этом, дурак этакий, самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперёд, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дёрнул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими девяноста килограммами, плашмя, мордой, животом, коленями грянулся об пол.

О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду, подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий победоносец над поверженным змеем, возвышался осклабившийся героический Симонэ, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симонэ нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне.

— Вам повезло, инспектор, — сказал он, сияя. — Еще секунда, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?

Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог.

— Подождите-ка, — сказал Симонэ и выскочил в столовую, бросив на бильярд обломок кия.

Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол, а ведь посмотришь на него — соплей перешибить можно... Да, джентльмены, это настоящий гангстер, в лучших чикагских традициях. И откуда только они берутся в нашей добропорядочной стране? И подумать только — ведь у Згута такой же оклад, как у меня. Да его озолотить надо!.. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу.

Хинкус застонал, заворочался и попытался сесть. Он все держался за голову. Симонэ вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось естественными причинами. Симонэ присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он.

— Ничего, старина, все будет в порядке... — Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли. — Сейчас я его возьму в оборот.

— Мне уйти? — спросил Симонэ.

— Нет уж, вы лучше останьтесь. А то, как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды... на случай обмороков...

— И бренди! — с энтузиазмом сказал Симонэ.

— Правильно, — сказал я. — Мы его живо приведем в порядок.

Симонэ принес еще воды и бутылку коньяка. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил я сам. Симонэ, запасшийся третьим стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стене, прислонили его спиной, я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил я.

— Да... — сипло выдохнул он.

Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес:

— Что вы там говорили насчет семьдесят второй «ц»?

— Там видно будет, — сказал я.

Он помотал головой и сморщился.

— Нет, так не пойдет. Мне бессрочная и так обеспечена.

— Под розыск? — сказал я.

— В точности так. У меня теперь только один интерес: уклониться от галстука. И, между прочим, все шансы у меня есть — к Олафу я отношения не имею, сами знаете, а тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил...

— А нападение на инспектора полиции?

— Так об этом и речь! — сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку. — По-моему, так никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?..

— Признания пока еще не было, — напомнил я.

— Сейчас будет, — сказал Хинкус. — Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф? Семьдесят вторую «ц» — обещаете?

— Ладно, — сказал я. — Для начала будем считать, что имела место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал.

Симонэ заржал.

— А я что? — спросил он.

— А вы помогли мне справиться... Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврёшь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь!

— Значит, так, — начал Хинкус. — Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слыхать...

Вот оно как. Чемпион. Я даже глаза зажмурил — так мне вдруг захотелось оказаться где-нибудь за сотню миль отсюда, например, у себя в кабинете, пропахшем сургучом, или у себя в столовой с выцветшими голубыми обоями. И что мне дома не сиделось? Раззавидовался на россказни старого осла Згута — природа, мол, покой, эдельвейсовая настойка... Насладился покоем. Чемпион — ведь это наверняка «Голубая свастика», а «Голубая свастика» — это почти наверняка белоглазый сенатор. Смутное время, странное время. Нипочем нынче не разберешь, где политика, где уголовщина, где правительство. Ну что тут делать честному полицейскому? Ладно, пусть честный полицейский делает дело.

— Так вот, — продолжал Хинкус. — Год назад пригребся к нам в компанию один тип. Как он к нам заехал, я не знаю, и настоящего имени я тоже не знаю. Звали его у нас Вельзевулом. Работал он самые трудные и неподъемные дела. Например, он работал Второй Национальный банк, помните это дельце? Или, скажем, задрал он броневик с золотыми слитками — это вы опять же должны помнить, шеф... В общем, работал Вельзевул красиво, чисто, но вдруг решил он завязать. Почему — не знаю, но Вельзевул наш рванул когти. И нас

намылили, кого куда, ему наперехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиону... Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание.

— Так, — сказал я. — Ну, и кто у нас здесь Вельзевул?

— Тут я, точно, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокра. Во-первых, вижу — магические штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал: если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума... Ясно — под фокусника!

— Что-то ты тут путаешь, — сказал я. — Фокусы ладно. Но ведь Барнстокр и Мозес — это небо и земля. Один — тощий, длинный, другой — толстый, приземистый...

Хинкус махнул рукой.

— Я его в разных видах видел — и толстым и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный... Это бы вам надо понять, шеф. Вельзевул — он ведь не простой человек. У него власть над нечистой силой...

— Понес, понес, — сказал я предостерегающе.

— Правильно, — согласился Хинкус. — Конечно, никто не поверит, кто сам не видел... А вот, например, баба его, с которой он разъезжает — кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф выворотила и несла по карнизу. Под мышкой несла. Была она тогда маленькая, щупленькая, ни дать ни взять, ребенок, подросточек, вроде Барнстокровой этой девчонки... а ручищи...

— Филин, — сказал я строго. — Хватит врать.

Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Пускай я вру. Но вот я сейчас, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?

— Кто? — спросил я.

— Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и наслал на меня свою, эту... Под моим же видом наслал... — В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас. — Матерь пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою — голый, покойник, и глаза вытекли... Как я там со страха не подох, как с ума не сошел — не понимаю. Пью и ведь не пьянею, как на землю лью... Он, видно, решил: либо с ума меня свести, либо запугать

до потери сознания, чтобы я смылся с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего, тут он силу и применил...

— А почему он тебя просто не прихлопнул? — спросил я.

Хинкус затряс головой.

— Нет. Этого он не может. У него тогда вся чародейская сила пропадет, если он человеческую жизнь погубит. Это мы все знаем, еще бы... Да разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать, если бы не так?

— Ну, допустим, — проговорил я уже неуверенно.

Я опять ничего не понимал. Хинкус был, несомненно, психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это как-то странно переплеталось с действительностью. Сейф из Второго Национального действительно исчез самым загадочным образом, «растворился в воздухе», как говорили, разводя руками, эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту махину на бок... Черт его знает, как все это понимать.

— А почему же они остались в отеле? — спросил я. — Тебя связали, а сами остались...

— Этого я не знаю, — признался Хинкус. — Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокра, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл... Тьфу, не Барнстокра, конечно... Но я-то думал тогда, что Барнстокр... В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть, через завал ему не перебраться... Он хоть и колдун, но не господь же бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить — тоже... Правда, ежели подумать, баба эта его — или кто она там есть — любой завал могла бы расковырять в два счета...

Я повернулся к Симонэ.

— Ну, — сказал я, — а что скажет по этому поводу наука?

Лицо Симонэ меня удивило, физик был очень серьезен.

— В рассуждениях господина Хинкуса, — произнес он, — есть по крайней мере одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных, невежественных людей никаких законов и ограничений быть не может.

— Но они есть!

— Ну, положим, Чемпиона темным и невежественным не назовешь, — сказал я. — Матерая сволочь, фашист. Гитлеровец. Фюрер тоже не дурак был. Ну, и этот...

— Точно! — подхватил Хинкус. — Чемпион — парень ушлый, обращение понимает. Он до майской заварушки с сенаторами за ручку здоровался, на приемы разные ходил, чуть ли не к самому президенту... Да и сейчас... Денежки. Он их не жалеет.

Он вдруг запнулся, отвел глаза и сунул в рот большой палец. Мы подождали немного, затем Симонэ спросил:

— А как, собственно, был убит Олаф?

Хинкус вынул палец изо рта и сказал решительно:

— Этого я не знаю. Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю. — Он прижал руку к сердцу. — Могу только сказать, что Олаф не наш, и ежели его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю... Нельзя Вельзевулу людей убивать. Что он — враг себе, что ли?

— Так-так-так, — сказал Симонэ. — А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?

Я коротко изложил ему факты: про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я не спускал глаз с Хинкуса. Хинкус, слушая, ежился, глаза у него бегали, и, наконец, он умоляюще попросил еще глоточек. Мне ясно было, что все это ему внове и пугает это его до содрогания. А Симонэ совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы-лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал. Думал.

Я оставил его размышлять и снова взялся за Хинкуса.

— А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье...

Хинкус самодовольно усмехнулся.

— Это мы тоже умеем, — сказал он. — Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул всюду за собой таскает свой кованый сундук. Мне одно и оставалось — расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе — деньгам счету не знает. Сколько из кармана достанет, столько и платит. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры... В общем, выследил я его, я свое дело знаю...

— И к тому же он все время с этой женщиной, — сказал я задумчиво.

— Нет, — сказал Хинкус. — Женщина — это, шеф, не обязательно. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает... Да и не

женщина она вовсе, тоже вроде оборотня. Куда она девается, когда ее нет, — этого никто не знает.

Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с помешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов. Я виновато оглянулся на Симонэ и обнаружил, что физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой, и я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби, вспомнил его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал:

— Так. Хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?

— Кого? А, это который лимоны жрал... Нет, в первый раз. А что?

— Ничего, — сказал я. — Когда должен был прибыть Чемпион?

— Вечером я его ждал... Теперь-то я понимаю — лавина...

— На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?

— А куда мне было деваться? — сказал Хинкус с тоской. — Я — человек известный, пожизненная мне обеспечена. Вот я и решил: отберу пистолет, шлепну, кого надо, а сам подамся к завалу... Чемпион ведь сейчас тоже не спит, шеф. Вертолеты не только у полицейских есть...

— Сколько человек должно было прибыть с Чемпионом?

— Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные...

— Так, — сказал я. Очень мне все это не нравилось, но предстояло еще допросить Мозеса, и я сказал: — Ну-ка, быстренько, перечисли все дела, в которых участвовал Вельзевул.

Хинкус с готовностью принялся загибать пальцы:

— Краймонская пересылка — раз, Второй Национальный — два, золотой броневик — три... Теперь дальше... Архивы Грэнгейма, Вельская выставка...

— Архивы Грэнгейма?

— Да. А что?

Об этом деле я знал мало и уж никак не ожидал, что здесь замешан Чемпион. Грэнгейм собрал богатейшую картотеку нацистских преступников, укрывшихся после 1945 года в нашей стране, это дело было полностью политическое, и в Управлении были убеждены, что организовал ограбление сенатор Гольденвассер, хотя никаких улик против него, конечно, как всегда, не было. Но Чемпион... Впрочем, если учесть, что Чемпион — на самом деле не Чемпион, а бывший

гауптштурмфюрер СС Курт Швабах, скрывающийся у нас... И все равно...

— На кой черт Чемпиону эти архивы?

— Этого я не знаю, — сказал Хинкус уже, несомненно, искренне. — Я человек маленький. — Он помолчал. — Надо понимать, политика. У нас многим не нравится эта политика, да только с Чемпионом не поспоришь.

— А где ты был в мае прошлого года? — спросил я.

Хинкус задумался, вспоминал, затем хитро осклабился и помахал пальцем.

— Нет, шеф. Не выйдет, шеф. В этой заварушке я не участвовал. Тут мне просто повезло — на операции лежал, ничего не знаю. Могу доказать...

С минуту мы молча смотрели друг на друга.

— Ты в «Голубой свастике» состоишь?

— Нет, — отозвался он. — Чего я там не видел, в «свастике» этой? Политикой мы сроду не занимались...

— А Вельзевул состоял?

— Откуда мне знать? Я же говорю, политикой мы...

— Кто Кёнига убил? Вельзевул?

— Какого еще Кёнига? А, профсоюзника этого... Нет, Вельзевул его не убивал. Здесь все, наоборот. Из-за этого Кёнига, говорят, Вельзевул с Чемпионом и поцарапались. Сам я не видал и не слыхал, а ребята рассказывали, будто Чемпион хотел Вельзевула на это дело пустить. Ну, Вельзевул на дыбы. Ему же убивать — себе дороже... Слово за слово, говорят, так и пошла между ними трещина.

— Гольденвассер знал о Вельзевуле?

Хинкус поджал губы, оглянулся на хозяина и проговорил, понизив голос:

— Знаете, шеф, зря вы об этом-то. Не наше с вами это дело. Я — честный вор, вы — легавый, между собой мы всегда договоримся, и сколько мне дадут, столько я и отсижу. А о таких делах нам с вами лучше знать поменьше. Ни к чему это нам, шеф. Опасно это. И мне и вам. Темно это.

Подонок был прав.

— Ладно, вставай, — сказал я и не без труда поднялся сам. — Пойдем, я тебя запру.

Хинкус, постанывая и кряхтя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плиту.

— Не визжи, дура! — строго сказал ей хозяин. — Горячую воду приготовь, бинты, йод... Сюда, Петер, в чулан его.

— Ну да! — заныл Хинкус. — Филина под замок, а этот ходит себе на свободе, с него все как с гуся вода... Нехорошо, шеф, несправедливо получается... И раненый я, и башка болит...

Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе.

Потом мы прошли в контору, Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать.

— Какое оружие есть в отеле? — спросил я у него.

— Винчестер, два охотничьих дробовика. Пистолет...

— Н-да, — сказал я. — Маловато.

Дробовики против пулеметов. Дю Барнстокр против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я Чемпиона — сбросит с вертолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает всех в чистом поле, как куропаток...

— Пока вы были наверху, — сообщил, хозяин, ловко обматывая мне лоб вокруг ссадины, — сюда ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с деньгами — именно мешок, я не преувеличиваю, Петер, — и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности.

— А вы? — спросил я.

— Тут я немного промахнулся, — признался хозяин. — Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас.

— Спасибо, Алек, — сказал я с горечью. — Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора...

Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами, мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в Бутылочном Горлышке не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих.

— Ну, вот так будет достаточно прилично, — сказал он.

— Спасибо, — сказал я.

Он взял таз и деловито осведомился:

— Кого вам прислать?

— К чертям, — сказал я. — Спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне

нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки. Вонючие оборотни.

— У меня нет серебряных пуль, — кротко напомнил хозяин.

— Стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал! И прекратите разводить здесь ваши суеверия! Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете... Ставни у вас здесь есть на окне?

Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору.

— Так, — сказал я. — Хорошо... Нет, свет включать не надо... И вот еще что, Алек. Поставьте кого-нибудь... Симонэ или эту девчонку... Брюн... пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь вертолет, пусть поднимают тревогу...

Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Хотите мой совет, Петер? — сказал он. — Последний.

— Ну?

— Отдайте вы им этот чемодан, и пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете: единственное, что их здесь держит, — это чемодан...

— Понимаю, — сказал я. — Уж это-то я понимаю. И именно поэтому я расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте это ему. Выражений можете не смягчать. Все. Идите и оставьте меня в покое.

Глава 15

Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что Чемпиону сейчас уже не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он мог растеряться и впопыхах наделать глупостей — вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, особенно после прошлогоднего майского путча, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив пистолет рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого.

В дверь негромко, но настойчиво стучали.

— Кто там? — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять пистолета.

— Это я, — отозвался голос Симонэ. — Откройте.

— Что, вертолет?

— Нет. Но надо поговорить. Открывайте.

Скрипя зубами от боли, я поднялся — сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа пистолет наготове.

Вид у Симонэ был торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то возбуждение.

— Ого! — сказал он. — Вы тут как в крепости. И напрасно: никто на вас не собирается нападать.

— Этого я не знаю, — сказал я угрюмо.

— Да, вы здесь ничего не знаете, — сказал Симонэ. — Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу.

— Да что вы говорите? — произнес я язвительно. — Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?

Симонэ нахмурился.

— В этом нет никакой необходимости, — сказал он. — Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор.

— Только не рассказывайте мне о вурдалаках, — попросил я, усаживаясь верхом на стул рядом с сейфом.

Симонэ усмехнулся.

— Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне, не люди.

— Они прибыли к нам с Венеры, — сказал я понимающе.

— Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства... Этого они не говорят. Важно то, что они не люди. Мозес находится на Земле уже около года. В земных делах он, естественно, разобраться не сумел. Первыми, кого он встретил, были гангстеры. И они использовали его в своих целях... В конце концов Мозес во всем разобрался. А разобравшись, решил немедленно бежать и бежал. Луарвик — что-то вроде пилота, он ведает переброской отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в десять часов вечера случилась какая-то авария, что-то у них взорвалось в аппаратуре. В результате — обвал, и Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих... Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность.

Я смотрел на него и уныло думал: слишком много сумасшедших в этом деле. Вот вам еще один псих.

— Короче говоря, что вам от меня надо?

— Отдайте им аккумулятор, Петер, — сказал Симонэ.

— Какой аккумулятор?

— В чемодане аккумулятор. Энергия для их роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он — робот. И госпожа Мозес тоже. Это роботы, им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе ста километров оказались под угрозой. Некоторые, вероятно, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес... а я, если вы помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел...

— Ага, — сказал я. — Не успел он подключиться, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на сто восемьдесят градусов...

— Вы совершенно напрасно язвите, — сказал Симонэ. — Это у них квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы... Я ведь так и не успел вам сказать: у госпожи Мозес тоже была свернута шея.

— Ну, ладно, — сказал я. — Квазимышцы, псевдосвязки... Вы же не мальчик, Симонэ, если пользоваться арсеналом мистики и фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет логично.

— Я ожидал этого возражения, Петер, — сказал Симонэ. — Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа.

— Не пойдет, — сказал я сразу.

— Почему? Вы не верите — вам предлагают доказательства.

Я взялся за свою бедную забинтованную голову. Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу, как доброго гражданина, обязанного содействовать закону. А Мозесов запереть в подвале. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит. И Барнстокров туда же и Кайсу. И будем держаться.

— Ну, что же вы молчите? — сказал Симонэ. — Сказать нечего?

Но мне было что сказать.

— Я не ученый, — медленно проговорил я. — Я полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено возле этого чемодана... Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал. Я вас слушал даже с интересом. Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудия преступления! Понимаете, что у вас получается?

Симонэ в затруднении похлопал себя по темени.

— Слушайте, — сказал он. — Если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей? На полицию рассчитывать нельзя? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал я. — А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам.

— Они не бандиты! — сказал Симонэ.

— Они хуже бандитов! — сказал я. — Вам известно, что они разграбили архив Грэнгейма? Вы что, за нацистов?

— Мне все известно, — сказал Симонэ. — Мозес мне все рассказал. Чемпион — правая рука сенатора Гольденвассера, начальник его штурмовиков. В мае прошлого года, когда эта сволочь затеяла путч, Чемпион был одним из главных организаторов, его чуть не сцапали солдаты, но тут вмешался Мозес. Он же ни черта не понимал в наших делах... да и сейчас не понимает... Он решил, что это не путч, а народное восстание, вытащил Чемпиона и еще двух мерзавцев и сам себя убедил, что имеет дело с солью земли, с цветом человечества... Вот тогда они к нему и присосались, как пиявки...

— В этом будет разбираться суд, — сказал я холодно.

Симонэ откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня прищурившись.

— А вы, однако, порядочная дубина, инспектор Глебски, — сказал он. — Не ожидал.

— Придержите язык, — сказал я. — Идите и займитесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?

Симонэ покусал губу.

— Вот тебе и первый контакт, — пробормотал он. — Вот тебе и встреча двух миров. Это же надо — прилететь на Землю черт те откуда и встретить гангстеров, а в конце концов такого хранителя закона, как вы, Петер.

— Не капайте мне на мозги, Симонэ, — сказал я зло. — И уходите отсюда. Вы мне надоели.

Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно, очень стыдно.

— Возможно, — сказал я сухо. — Это — мое дело... Кстати, вы стрелять умеете?

— Да.

— Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.

Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится — не ясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все совпадает... «Вам будет стыдно, Глебски» ... Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя, в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки и участвовать в антиправительственных заговорах? Землянам не разрешается, видите ли, а им — можно... Ладно. Что же мне все-таки делать?

На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алек. Не мог запастись аварийной сигнализацией. Торгаш, только бы ему деньги тянуть с клиентов...

В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за парабеллум. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес собственной персоной — он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.

— Сядьте у двери, — сказал я. — Вон стул.

— Я могу и постоять, — пророкотал он, глядя на меня исподлобья.

— Дело ваше, — сказал я. — Что вам нужно?

Все так же вызверяясь, он отхлебнул из кружки.

— Какие вам еще нужны доказательства? — спросил он. — Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?

— Кто бы вы ни были, — сказал я, — вы совершили ряд преступлений. И вы за них будете отвечать.

Он шумно потянул носом воздух и сел на стул.

— Я всего год на Земле, — сказал он. — И всего лишь два месяца назад я впервые понял, что помогаю отщепенцам и убийцам. Да, я им помогал. Я вскрывал сейфы, нападал на банки, захватывал золотые грузы. Я помог им ограбить архив. Я спасал преступников от возмездия. Верьте мне, я не ведал, что творю. Я считал, что эти гангстеры-политики и политики-гангстеры ведут борьбу за социальную справедливость. Я считал сенатора Гольденвассера вождем революционеров, а он оказался бешеным человеконенавистником и лакеем денежных тузов. Я считал Чемпиона героем, а он оказался организатором массовых избиений женщин и детей в десятке стран и инициатором политических убийств в этой стране. Я считал Филина и его приятелей... Ведь я считал их идейными борцами. Я понимаю, мои ошибки дорого обошлись вам, но едва я все понял... При первом удобном случае я бежал. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже не было. Не было бы никакого убийства... Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я даже возмещаю их — я готов вручить вам ассигнации Государственного банка общей суммой на миллион крон. Это все, что мне удалось изъять у Чемпиона. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Я уже отослал в ваше правительство подробную записку об омерзительной деятельности сенатора Гольденвассера, которая мне теперь ясна... Что вам еще нужно?

Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и, чтобы избавиться от этого наваждения я сухо спросил:

— Это вы изгадили мне стол и наклеили записку?

— Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком.

— Золотые часы?..

— Тоже я. И браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы вы заинтересовались Хинкусом и арестовали его.

— Это было очень неуклюже сделано, — сказал я. — Все получилось, наоборот.

— Да? — сказал Мозес. — Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи...

Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.

— Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул, — сказал я. — Роботы у вас не роботы, а какие-то, понимаете, половые неврастеники, а сами вы для пришельца из другого мира слишком уж похожи на негодяя, Мозес. На богатого, до предела обнаглевшего негодяя. И притом еще на пьяницу.

Мозес отхлебнул из кружки.

— То есть, вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? — спросил он. — Что ж, стереотип поведения этих роботов моделирует стереотип поведения среднего человека соответствующей социальной группы... — Он снова отхлебнул из кружки. — А что касается меня, инспектор, то я выбрал скверную маску и, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению, потому что вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, — это трансляционное устройство. Но, может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем...

И тут я наконец рассвирепел.

— Куда отпущу? — заорал я. — Если бы вам нужно было уйти, вы бы давно ушли! Перестаньте врать и говорите правду: что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы — пришельцы. А я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру...

— Нет! — сказал Мозес. — Нет! Все совсем не так. Наша станция разрушена, ее может починить только Олаф. Он — робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не даете аккумулятор!

— И опять орете! — сказал я. — Госпожа Мозес — ведь тоже робот, как я понял! У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор...

Он закрыл глаза и замотал головой так, что затряслись брылья.

— Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель... Ну, неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать... ну, я не знаю... грубый трактор, например, и самолет... Это же разные системы...

— У вас на все готов ответ, — угрюмо сказал я. — Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с

вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции. — Я встал. — С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И я напоминаю вам: все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде.

— Так, — сказал он, помолчав. — Со мной вы решили. Пусть будет так. — Он отхлебнул из кружки. — Ну, а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь... Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть хоть он спасется...

Я снова сел.

— Спасется... При чем здесь спасется? Почему это вы так уверены, что Чемпион настигнет вас? Может быть, он давным-давно лежит под обвалом... Может быть, его уже сцапали... Если вы действительно невиновны, подождите сутки-другие. Прибудет полиция, я сдам вас на руки властям...

Он затряс брыльями.

— Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это — поправимые ошибки... Неподготовленный контакт может иметь и для вашего, и для нашего мира самые ужасные последствия... Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий, никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете больше суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите — нет руки... Он уже отравлен... он слабеет с каждым часом...

Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что было зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что, если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испытывал жалость, я был склонен идти навстречу, я терял непредубежденность...

В самом-то деле. Юридические претензии у меня были только к Мозесу. Луарвик был формально чист, хотя он тоже мог быть сообщником, но на это я бы еще мог закрыть глаза... Ну, хорошо, запереть Мозеса и... Что «и»? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат?

Если отбросить все слова, правдивы они или нет, — налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей до выяснения обстоятельств... Вот факт номер один. А вот факт номер

два: эти люди хотят уйти. Неважно, от чего они в действительности хотят уйти — от закона, от гангстеров, от преждевременного контакта... Они хотят уйти. Вот два факта, и они абсолютно противостоят друг другу...

— Идите, — сказал я Мозесу. — И позовите сюда Луарвика.

Мозес грузно поднялся, и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Парабеллум приятно холодил правую щеку. Мельком я подумал, что теперь таскаюсь с этим пистолетом, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон. Представить было страшно, что станут говорить в Управлении об этой истории. Ловец Привидений, Охотник за Пришельцами... Ладно. Хинкуса я, во всяком случае, поймал. И Мозеса я не выпущу. Пусть смеются, а Мозеса я не выпущу. Пусть смеются, сколько душе угодно, а тайна Второго Национального, и тайна захвата броневика, и многие другие тайны будут раскрыты... Вот так-то. Смейтесь, черт побери, смейтесь... а если здесь еще замешана политика, то я простой полицейский, а политикой пусть занимаются те, кому это положено...

Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симонэ и хозяин. Хозяин поставил передо мной кружку кофе, а Симонэ взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что его как-то обтянуло и что он пожелтел.

— Ну, что вы надумали, инспектор? — спросил он.

— Где Луарвик? Я вызывал Луарвика.

— Луарвику совсем плохо, — сказал Симонэ. — Мозес делает ему какие-то процедуры. — Он неприятно оскалился. — Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего два дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами.

Свободной рукой я взял кружку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе.

— Отстаньте. Вы все болтуны. Алек заботится о своем заведении, а вы, Симонэ, — просто интеллектуал на отдыхе...

— А вы-то, — сказал Симонэ. — Вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир? Вы мелкая полицейская пешка. В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни. В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

— Заткнитесь, — сказал я устало. — Перестаньте болтать и хоть минуту просто подумайте. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне даже это. Пусть они

пришельцы. Пусть они невинно обмануты. Великий контакт... Дружба миров и так далее... Вопрос: что они делают у нас на Земле? Мозес сам признался, что он наблюдатель. За чем он, собственно, наблюдает? Не скальтесь, не скальтесь... Мы здесь с вами занимаемся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на Земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет?..

Симонэ молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер, — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер, жду... Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там, на снегу, она прямо готовая мишень...

Я положил парабеллум на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. Готовая мишень... Все мы здесь — готовые мишени. Ну, ничего, может быть, и обойдется... И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание.

— Ничего, Петер, ничего, — ласково сказал хозяин. — Потерпите.

Симонэ с озабоченным и виноватым видом уже засовывал парабеллум к себе в карман.

— Предатели! — сказал я с удивлением.

— Нет-нет, Петер, — сказал хозяин. — Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая.

Симонэ, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и, когда я опомнился, Симонэ уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще придерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед:

— Поторапливайтесь, Симонэ, поторапливайтесь, ему плохо...

Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел, Хозяин озабоченно наклонился надо мной.

— Господи, Петер, — проговорил он, — на вас лица нет...

— Бандиты... — прохрипел я. — Арестанты...

— Да, да, конечно, — покорно согласился хозяин. — Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь... ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу...

Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он — здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило, тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом донышке души слабо тлело чувство облегчения — ситуация больше не зависела от меня, ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть, — сказал я.

Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Проклятый сундук, — произнес он сдавленным голосом.

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!

Голос Симонэ прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами — наверное, молился.

Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петер, вам надо подышать свежим воздухом...» Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?..» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь, там было пусто, резкий аптечный запах расползался по коридору. Добраться бы до дивана, думал я. Только бы добраться до дивана и лечь... И тут я услышал крик.

— Вот они! — завопил кто-то. — Поздно! Поздно!

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось, и вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице...

Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню.

Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом несся Олаф с Луарвиком на спине. Билась на ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав Луарвика. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет.

Вся долина была наполнена мощным ровным гулом, вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, опускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симонэ рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь? Видишь? Видишь?..» А потом вертолет повис над неподвижными телами, медленно опустился и скрыл от нас всех — тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто пытался еще ползти... Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алек сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симонэ все рыдал, все кричал: «Добился! Добился своего, дубина, мерзавец!»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

Эпилог

С тех пор прошло больше двадцати лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю ребятишкам эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно:

пришельцы благополучно отбывают домой в своей сверкающей ракете, а банду Чемпиона благополучно захватывает подоспевшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь.

Сначала факты. Бутылочное Горлышко расчистили через два дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, миллион сто пятнадцать тысяч крон и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более пятисот серебряных пуль, но вертолет Чемпиона, забравший тела, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро Трех Тысяч Дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами четырехсот метров, дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб — во всяком случае, на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не

добавили — все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом и что их бывший главарь погиб, откусив кусок не по глотке.

Симонэ был убежден, что один из роботов уже в вертолете очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего смог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я Чемпиону в его последние минуты...

А Гольденвассер, конечно, вывернулся. Одним гауптштурмфюрером больше, одним меньше — это для него не имело значения. Тем более, что архивы Грэнгейма исчезли бесследно, а сообщение Мозеса никакого действия не возымело. Оно было написано слишком странным языком, содержало ссылки на слишком странные обстоятельства и было, как я слыхал, признано просто бредом сумасшедшего. Особенно на фоне газетной шумихи, которая была поднята вокруг пришельцев. Может быть, Гольденвассеру вспомнились тогда трупы расстрелянных в России и во Франции, в Польше и в Греции, и мертвый Кёниг с черной дырой над переносицей, и другие мертвецы... Вряд ли.

Симонэ сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Но никто не принимал его всерьез. Комиссии, правда, функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей, однако настоящей, серьезной поддержки Симонэ не получил. Ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распадались, снова возникали, материалы комиссий то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться, десятки и сотни халтурщиков вились вокруг этого дела, вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симонэ остался один с кучкой энтузиастов — молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного Горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симонэ погиб. Найти так ничего и не удалось.

Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании дю Барнстокра в Международном обществе иллюзионистов — старику исполнилось девяносто лет. На чествовании присутствовала племянница юбиляра, Брюнхилд Канн, с супругом, известным космонавтом Перри Канном. Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошения об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения, он был ранен в

голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо прирабатывает. Тюремная администрация им довольна.

Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алеку и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась — все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов.

С Алеком мы большие друзья. Отель «У Межзвездного Зомби» процветает — в долине теперь уже два здания, второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и очень мне не нравится. Когда я приезжаю к Алеку, я всегда поселяюсь в своем старом номере, а вечера мы проводим, как встарь, в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алек сильно высох и отпустил бороду, нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Мне всегда очень хорошо у Алека — так спокойно, уютно. Но однажды он глухим шепотом признался мне, что держит теперь в подвале ручной пулемет — на всякий случай.

Я совсем забыл упомянуть о сенбернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алек любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать.

А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав, начальство признало мои действия соответствующими обстановке, а начальник управления даже выбранил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергал свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора — предел, на который я мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов это мне, по-видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при болезни у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клекот... Нет, формально все

обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Згуту я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Алеком. Каждый раз он отвечал односложно и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовала целость отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел, что признался. А Симонэ до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова.

Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представлял своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь. Раз мы достигли Марса и Венеры, почему бы кому-нибудь не высадиться у нас, на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая с такой скрупулезностью объясняла бы все темные места этой истории.

Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом и теперь могу сказать: да, дело только в этом. Обойтись с ними так, как обошелся я, было, наверное, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало встретиться. Они встретились с гангстерами, с фашистами, с Гольденвассером, с полицией. Ну, ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или с военными? Было бы им лучше? Вряд ли...

На душе у меня скверно, вот в чем дело. Никогда со мной такого не было до и никогда после: все делал правильно, чист перед богом, законом и людьми, а на душе скверно. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, неведомо, в каком человеческом облике, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в Общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня и что они никогда не помогут мне найти друзей Мозеса и Луарвика...

Когда мне становится плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что, если бы я даже не чинил препятствий Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно

правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это — ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножечко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симонэ до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним — и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.

Пикник на обочине

Ты должна сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Р.П.Уоррен

Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19... год:

— ...Вероятно, вашим первым серьёзным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана?

— Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьёзное и, собственно, не открытие. И не совсем моё.

— Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана — понятие, известное всякому школьнику.

— Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его «Истории Посещения» — там всё это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент, а назвали радиант почему-то моим именем.

— Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман...

— Послушайте, земляк. Радиант Пильмана — это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из револьвера. Дырки на глобусе лягут на некую плавную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым серьёзным открытием, заключается в простом факте: все шесть Зон Посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-Денеб. Денеб — это альфа созвездия Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана.

— Благодарю вас, доктор. Дорогие хармонтцы! Наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана!

Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу?

— Что именно их интересует? Имейте в виду, в Хармонте меня тогда не было...

— Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации...

— Честно говоря, прежде всего я подумал, что это утка. Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Хармонте может случиться что-нибудь подобное. Гоби, Ньюфаундленд — это ещё куда ни шло, но Хармонт!

— Однако в конце концов вам пришлось поверить.

— В конце концов да.

— И что же?

— Мне вдруг пришло в голову, что Хармонт и остальные пять Зон Посещения... впрочем, виноват, тогда было известно только четыре... что все они ложатся на очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты радианта и послал их в «Нэйчур».

— И вас нисколько не взволновала судьба родного города?

— Видите ли, в то время я уже верил в Посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными королевскими танковыми частями.

— Вы были правы. Помнится, наш брат информатор тогда много напутал... Однако вернёмся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о Посещении?

— Первым и последним.

— Но вы, без сомнения, внимательно следили всё это время за ходом международных исследований в Зонах Посещения...

— Да... Время от времени я листаю «Доклады».

— Вы имеете в виду «Доклады Международного института внеземных культур»?

— Да.

— И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?

— Сам факт Посещения.

— Простите?

— Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истёкшие тринадцать лет, но и за всё время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы. Неважно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твёрдо знает: оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что институту внеземных культур уже никогда больше не повезёт сделать более фундаментальное открытие.

— Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытия технологического порядка. Открытия, которые могла бы использовать наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных учёных полагает, что находки в Зонах Посещения способны изменить весь ход нашей истории.

— Н-ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения. А что касается конкретных находок, то я не специалист.

— Однако вы уже два года являетесь консультантом Комиссии ООН по проблемам Посещения...

— Да. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации Зон Посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт.

— А разве на эти чудеса посягает ещё кто-нибудь?

— Да.

— Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров?

— Я не знаю, что это такое.

— Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в Зону и тащат оттуда всё, что им удаётся найти. Это настоящая новая профессия.

— Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.

— Ещё бы! Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что именно входит в вашу компетенцию, доктор Пильман...

— Имеет место постоянная утечка материалов из Зон Посещения в руки безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки.

— Нельзя ли чуточку поконкретней, доктор?

— Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушателей не интересует моё мнение о несравненной Гвади Мюллер?

— О, разумеется! Но я хотел бы сначала покончить с наукой. Вас как учёного не тянет самому заняться инопланетными чудесами?

— Как вам сказать... Пожалуй.

— Значит, можно надеяться, что хармонтцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города?

— Не исключено...

1. Рэдрик Шухарт, 23 года, холост, лаборант Хармонтского филиала Международного института внеземных культур

Накануне стоим это мы с ним в хранилище уже вечером, остаётся только спецовки сбросить, и можно закатиться в «Боржч», принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю, своё отработал и уже держу наготове сигаретку, курить хочется дико, два часа не курил, а он всё возится со своим добром: один сейф загрузил, запер и опечатал, теперь другой загружает, берёт с транспортёра «пустышки», каждую со всех сторон осматривает (а она тяжёлая, сволочь, шесть с половиной кило, между прочим) и с кряхтеньем аккуратненько водворяет на полку.

Сколько уже времени он с этими «пустышками» бьётся, и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, «пустышка» действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а всё равно, каждый раз как увижу — не могу, поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, миллиметров пять толщиной, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, и кроме этого расстояния, ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления, — пустота и пустота, один воздух. И при всём при том что-то между ними, конечно, есть, сила какая-то, как я это понимаю, потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому ещё не удавалось.

Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь наконец своим глазам. Это всё равно что стакан кому-нибудь

описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы всё поняли, а если кто не понял, возьмите институтские «Доклады» — там в любом выпуске статьи про эти «пустышки» с фотографиями...

В общем, Кирилл бьётся с этими «пустышками» уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается, да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймёт, сам разберётся, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь «пустышку» раскурочить, кислотами её протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему всё понятно, будет ему честь и хвала, и вся мировая наука содрогнётся от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого ещё очень далеко. Ничего он покуда не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто ещё, напоил бы я его как лошадь, свёл бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а на утро бы снова напоил и снова к девке, к другой, и был бы он у меня через неделю как новенький, уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит, не стоит и предлагать, не та порода.

Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его стало, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул.

— Слушай, — говорю, — Кирилл...

А он как раз стоит, держит на весу последнюю «пустышку», и с таким видом, словно так бы в неё и влез.

— Слушай, — говорю, — Кирилл! А если бы у тебя была полная «пустышка», а?

— Полная «пустышка»? — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил.

— Ну да, — говорю. — Эта твоя гидромагнитная ловушка, как её... объект семьдесят семь-бэ. Только с ерундой какой-то внутри, с синенькой.

Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там, за собачьей слезой, какой-то проблеск разума, как он сам обожает выражаться.

— Постой, — говорит он. — Полная? Вот такая же штука, только полная?

— Ну да.

— Где?

Вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом.

— Пойдём, — говорю, — покурим.

Он живо сунул «пустышку» в сейф, прихлопнул дверцу, запер на три с половиной оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую «пустышку» Эрнест даёт четыреста монет наличными, а за полную я бы из него, сукина сына, всю его поганую кровь выпил, но хотите верьте, хотите нет, а я об этом даже не подумал, потому что Кирилл у меня ну просто ожил, снова стал как струна, аж звенит весь, и по лестнице скачет через четыре ступеньки, закурить человеку не даёт. В общем, всё я ему рассказал: и какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашёл этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня, и, ясное дело, сразу всё про меня понял, да и чего здесь было не понять!..

— Ай да ты! — говорит он, а сам улыбается. Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В девять я закажу пропуска и «галошу», а в десять благословясь выйдем. Давай?

— Давай, — говорю. — А кто третий?

— А зачем нам третий?

— Э, нет, — говорю. — Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится? «Зона», — говорю. — Порядок должен быть.

Он слегка усмехнулся, пожал плечами:

— Как хочешь! Тебе виднее.

Как бы не виднее! Конечно, это он свеликодушничал, для меня старался: третий лишний, сбегаем вдвоём, и всё будет шито-крыто, никто про тебя не догадается. Да только я знаю, институтские вдвоём в Зону не ходят. У них такой порядок: двое дело делают, а третий смотрит и, когда его потом спросят, — расскажет.

— Лично я бы взял Остина, — говорит Кирилл. — Но ты его, наверно, не захочешь. Или ничего?

— Нет, — говорю. — Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмёшь.

Остин парень неплохой, смелость и трусость у него в нужной пропорции, но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу: вообразил человек о себе, будто Зону знает и понимает до конца, значит, скоро гробанётся. И пожалуйста. Только без меня.

— Ну хорошо, — говорит Кирилл. — А Тендер?

Тендер — это его второй лаборант. Ничего мужик, спокойный.

— Староват, — говорю я. — И дети у него...

— Ничего. Он в Зоне уже бывал.

— Ладно, — говорю. — Пусть будет Тендер.

В общем, он остался сидеть над картой, а я поскакал прямиком в «Боржч», потому что жрать хотелось невмоготу и в глотке пересохло.

Ладно. Являюсь я утром, как всегда, к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот дылдоватый сержант, которому я в прошлом году дал хорошенько, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуте.

— Здорово, — он мне говорит. — Тебя, — говорит, — Рыжий, по всему институту ищут...

Тут я его так вежливенько прерываю:

— Я тебе не Рыжий, — говорю. — Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.

— Господи, Рыжий! — говорит он в изумлении. — Да тебя же все так зовут.

Я перед Зоной взвинченный, да ещё трезвый вдобавок, взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошёл. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей говорит:

— Рэдрик Шухарт, вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отдела безопасности капитану Херцогу.

— Вот то-то, — говорю я. — Это другое дело. Учись, сержант, в лейтенанты выбьешься.

А сам думаю: «Это что за новости? Чего это ради понадобился я капитану Херцогу в служебное время?» Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решётки там на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик, новый какой-то, не знаю я его. У нас в институте этих сержантов больше, чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, — им в Зону ходить не надо, и на мировые проблемы им наплевать.

— Здравствуйте, — говорю я. — Вызывали?

Вилли смотрит на меня как на пустое место, отодвигает машинку, кладёт перед собой толстенную папку и принимается её листать.

— Рэдрик Шухарт? — говорит.

— Он самый, — отвечаю, а самому смешно, сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает.

— Сколько времени работаете в институте?

— Два года, третий.

— Состав семьи?

— Один я, — говорю. — Сирота.

Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает:

— Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.

Сержант козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:

— Опять за старое взялся?

— За какое такое старое?

— Сам знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришёл.

Так, думаю.

— И откуда материал?

Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.

— Это тебя не касается, — говорит. — Я тебя по старой дружбе предупреждаю: брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают, шестью месяцами не отделаешься. А из института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?

— Понимаю, — говорю. — Это я понимаю. Не понимаю только, какая же это сволочь на меня донесла...

Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и знай себе листает папку. Это значит — вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.

— Спасибо, Шухарт, — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров.

— Это всё, что я хотел выяснить. Вы свободны.

Ну, я пошёл в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам всё время думаю: откуда же это звон идёт? Ежели из института, то ведь это всё враньё, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если бумаги из полиции, опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник попался? Эта сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит. Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает. Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать! Последний раз ночью я в Зону ходил три месяца назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь чёрта меня возьмёшь, я скользкий.

Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у этих жаб на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже неважно, кто именно. Никакой сталкер, если он совсем не свихнулся,

на пушечный выстрел к Зоне не подойдёт, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый тёмный угол залезть надо. Какая, мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц! Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту?

Обдумал я всё это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в Зону мне сегодня идти не надо. Только как это всё поделикатнее сообщить Кириллу?

Я ему сказал прямо:

— В Зону не иду. Какие будут распоряжения?

Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвёл к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:

— Что-нибудь случилось, Рэд?

Ну что я ему скажу?

— Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул. Здорово этот Нунан играет, шельма...

— Подожди, — говорит он. — Ты что, раздумал?

Тут я даже закряхтел от натуги.

— Нельзя мне, — говорю ему сквозь зубы. — Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.

Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:

— Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.

— Брось, — говорю. — Разве о тебе речь?

— Я даже Тендеру ещё ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдёт он или нет...

Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.

— А что тебе Херцог сказал?

— Да ничего особенного, — говорю. — Донёс кто-то на меня, вот и всё.

Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по-своему кабинетику взад-вперёд. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось: вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут... Тут он перестаёт бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:

— Слушай, Рэд, а сколько она может стоить, — полная «пустышка»?

Я сначала его не понял, подумал сначала, что он её ещё где-нибудь купить рассчитывает, да только где её такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него деньги, у иностранного специалиста, да ещё русского? А потом меня словно обожгло: что же это он, поганец, думает, я из-за зелёненьких эту бодягу развёл? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже рот раскрыл, чтобы всё это ему высказать и осёкся. Потому что, действительно, а за кого ему меня ещё принимать? Сталкер — он сталкер и есть, ему бы только зелёненьких побольше, он за зелёненькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю.

У меня даже язык отнялся от таких мыслей, а он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил.

— К гаражу, — говорю, — ещё никто никогда с пропуском не ходил. Туда ещё трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой Тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли, что надо, и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, — говорю, — что заранее мы знали, за чем идём. А это значит, что кто-то нас навёл. А уж кто из нас троих навёл — здесь комментариев не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?

Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим.

Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потёр и бодрячком этаким объявляет:

— Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Рэд, и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдётся. Не в первый раз...

Расстелил он на подоконнике карту, упёрся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слышу, бормочет:

— Сто двадцать метров... даже сто двадцать два... и что там ещё в самом гараже... Нет, не возьму я Тендера. Как ты думаешь, Рэд, может, не стоит Тендера брать? Всё-таки у него двое детей...

— Одного тебя не выпустят, — говорю я.

— Ничего, выпустят... — бормочет он. — У меня все сержанты знакомые... и лейтенанты. Не нравятся мне эти грузовики! Тринадцать лет под открытым небом стоят, а всё как новенькие... В двадцати

шагах бензовоз ржавый, как решето, а они будто только что с конвейера... Ох уж эта Зона!

Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стёкла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стёклами — Зона-матушка, вот она, рукой подать, вся как на ладони с тринадцатого этажа...

Так вот посмотришь на неё — земля как земля. Солнце на неё как на всю остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, всё вроде бы как тринадцать лет назад. Папаша, покойник, посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил, разве что спросил бы: чего это завод не дымит, забастовка, что ли?.. Жёлтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают, рельсы, рельсы, рельсы, на рельсах паровозик с платформами... Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мёртвых. Вон и гараж виден: длинная серая кишка, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. Тринадцать лет стоят, и ничего им не делается. Упаси бог между двумя машинами сунуться, их надо стороной обходить... Там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючкой не заросла... Сто двадцать два метра, это откуда же он считает? А, наверное, от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше не будет. Всё-таки продвигаются Очкарики... Смотри, до самого отвала дорога провешена, да как ловко провешена! Вон она, та канавка, где Слизняк гробанулся, всего в двух метрах от ихней дороги... А ведь говорил Мослатый Слизняку: держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет... Как в воду глядел, нечего хоронить... С Зоной ведь так: с хабаром вернулся — чудо, живой вернулся — удача, патрульная пуля мимо — везенье, а всё остальное — судьба...

Тут я посмотрел на Кирилла и вижу: он за мной искоса наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова всё перерешил. Ну их, думаю, всех к чёрту, что они, в конце концов, жабы, сделать могут? Он бы мог вообще ничего не говорить, но он сказал.

— Лаборант Шухарт, — говорит. — Из официальных, подчёркиваю: из официальных источников я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премиальные гарантирую. — А сам улыбается что твоя майская роза.

— Из каких же это официальных источников? — спрашиваю я и тоже ему улыбаюсь, как дурак.

— Это конфиденциальные источники, — отвечает он. — Но вам я могу сказать... — Тут он перестал улыбаться и насупился. — Скажем, от доктора Дугласа.

— А, — говорю, — от доктора Дугласа... От какого же это Дугласа?

— От Сэма Дугласа, — говорит он сухо. — Он погиб в прошлом году.

У меня мурашки по коже пошли. Так и так тебя! Кто же перед выходом говорит о таких вещах? Хоть кол им, Очкарикам, на голове тёши, ничего не соображают... Ткнул я окурок в пепельницу и говорю:

— Ладно. Где твой Тендер? Долго мы его ещё ждать будем?

Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал «летучую галошу», а я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путём сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на покрышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему бы брату сталкеру такую карту... а впрочем, чёрта от неё толку ночью-то, когда задницу звёздам показываешь и собственных рук не видно...

А тут и Тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек: в Зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в Зону? — говорит. — Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идёт, оправился и задышал снова.

В общем, спустились мы в «будуар», Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их ещё одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет — любой сталкер за такой костюм пятьсот монет отвалит, глазом не моргнёт. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд ничего особенного, костюм вроде водолазного и шлем как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее, как у лётчика-реактивщика или, скажем, у космонавта. Лёгкий, удобный, нигде не жмёт, и от жары в нём не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берёт. Конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля — это всё земное, человеческое. В Зоне ничего этого нет, в Зоне не этого надо опасаться. В общем, что там говорить, и в спецкостюмах тоже мрут как миленькие. Другое дело, что без них мёрли бы, может быть, ещё больше. От «жгучего пуха», например, эти костюмы на сто процентов спасают. Или от плевков «чёртовой капусты» ... Ладно.

Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к

выходу в Зону. Так здесь у них это заведено, чтобы все видели: вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и святого духа, аминь. И точно: во все окна аж до пятнадцатого этажа сочувствующие повыставлялись, только что платочками не машут и оркестра нет.

— Шире шаг, — говорю я Тендеру. — Брюхо подбери, слабосильная команда! Благодарное человечество тебя не забудет!

Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно, какие уж тут шутки!.. Но когда в Зону выходишь, то уж одно из двух: либо плачь, либо шути, а я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего держится, только губами шевелит, вроде молится.

— Молишься? — спрашиваю. — Молись, — говорю, — молись! Дальше в Зону, ближе к небу...

— Что? — спрашивает он.

— Молись! — кричу. — Сталкеров в рай без очереди пропускают!

А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине: не бойся, мол, со мной не пропадёшь, а если и пропадёшь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.

Сдали мы пропуска последнему сержанту. На этот раз, в порядке исключения, это лейтенант оказался, я его знаю, у него папаша кладбищенскими оградами в Рексополе торгует, — а «летучая галоша» уже тут как тут, подогнали её ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут: и «скорая помощь», и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели, — куча отъевшихся бездельников со своим вертолётом. Глаза б мои на них не глядели!

Поднялись мы на «галошу», Кирилл встал за управление и говорит мне:

— Ну, Рэд, командуй.

Я без всякой торопливости приспустил «молнию» на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в Зону иду, а без этого нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут.

— Так, — говорю. — Вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Всё, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнёт вопросы задавать, буду бить по чему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу: на руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнять, что тебе сказано. А не выполнишь — дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Но уж я позабочусь, чтобы ты увидел.

— Ты, Рэд, главное, приказать не забудь, — сипит Тендер, а сам весь красный, уже потеет и губами шлёпает. — Уж я на зубах пойду, не то, что на руках. Не новичок.

— Вы для меня оба новички, — говорю. — А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты «галошу» водить умеешь?

— Умеет, — говорит Кирилл. — Хорошо водит.

— Хорошо так хорошо, — говорю. — Тогда с богом. Опустить забрала! Малый вперёд по вешкам, высота три метра! У двадцать седьмой вешки остановка.

Кирилл поднял «галошу» на три метра и дал малый вперёд, а я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю: гвардейцы-спасатели в свой вертолёт полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам, дурак, отдаёт, а над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший: «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу прощаться. Ты у меня попрощаешься!..

Поплыли.

Справа у нас был институт, слева — Чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил! Асфальт весь потрескался, трещины проросли травой, но это ещё была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже чёрная колючка, и по этой колючке было видно, как чётко Зона себя обозначает: чёрные заросли у самой мостовой словно косой срезало. Нет, пришельцы эти всё-таки порядочные ребята были. Нагадили, конечно, много, но сами же себе обозначили ясную границу. Ведь даже «жгучий пух» на нашу сторону из Зоны — ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает...

Дома в Чумном квартале облупленные, мёртвые, однако стёкла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это «ведьмин студень» из подвалов дышит. А вообще так вот посмотришь: квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего особенного нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник, вторая жена у него ушла перед самым Посещением, а у дочки бельмо на глазу было, так мы её, помню, до слёз задразнивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном бельё до самого моста

бежал все шесть километров без передышки. Потом долго чумкой болел, кожа с него слезла, ногти. Почти все, кто в этом квартале жил, чумкой переболели, потому-то квартал и называется Чумным. Некоторые померли, но главным образом старики, да и то не все. Я, например, думаю, что они не от чумки померли, а от страху. Страшно было очень.

А вот в тех трёх кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и называются: Первый Слепой, Второй Слепой... Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: да не может этого быть, вспомните хорошенько! Нет, стоят на своём: сильнейший гром, от которого и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слыхал...

Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целёхонек. Детская коляска в воротах, даже бельишко в ней вроде бы чистое... Антенны вот только подвели — обросли какими-то волосами наподобие мочала. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат: интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочалы, нигде такого больше нет, только в Чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались: спустили с вертолёта якорь на стальном тросе, зацепили одну мочалку. Только он потянул, вдруг — пш-ш-ш! Смотрим: от антенны дым, от якоря дым, и сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил, что к чему, трос выбросил и сам дёру дал... Вон он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает и весь мочалой оброс...

Так потихоньку-полегоньку доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня: сворачивать? Я ему махнул: самый малый! Повернула наша «галоша» и пошла самым малым над последними метрами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе, вот уже и тень «галоши» на колючки упала... Всё, Зона! И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю: вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет, и каждый раз забываю.

Ну, ладно, ползём потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно, ему-то что, его не тронут. И тут мой Тендер не выдержал. Не успели мы ещё до первой вешки

дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно новички болтают в Зоне: зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде поноса, от человека не зависит, а льёт себе и льёт. И чего только они не болтают!

То начнёт пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящееся, вот как Тендер сейчас завёл про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял...

— Замолчи, — говорю.

Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлёпал и опять: сколько шёлку на подкладку пошло. А огороды уже кончаются, под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была, и чувствую я — ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло, пылевые чёртики побежали, и вроде бы я что-то слышу.

— Молчи, сволочь! — говорю я Тендеру.

Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завёл. Ну, тогда извини.

— Стой, — говорю Кириллу.

Он немедленно тормозит. Реакция хорошая, молодец. Беру я Тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал: тр-р-р... тр-р-р... тр-рр... Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты, рот оскален. Я рукой ему показываю, стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. Но ведь он тоже этот треск слышит, и, как у всех новичков, у него сразу позыв действовать, делать что-нибудь. «Задний ход?» — шепчет. Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым шлемом трясу: нишкни, мол. Эх, мать честная! С этими новичками не знаешь куда смотреть — то ли в поле смотреть, то ли на них. И тут я про всё забыл. По-над кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьём разным поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей, перевалило через бугор и пошло, пошло, пошло нам наперерез, рядом с самой вешкой, над дорогой задержалось, постояло с полсекунды или это мне показалось только? — и утянулось в поле, за кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

Чёрт их побрал, очкариков, — надо же, сообразили, где дорогу провесить: по выемке! Ну, и я тоже хорош, куда это мои глаза дурацкие глядели, когда я ихней картой восхищался?

— Давай малый вперёд, — говорю я Кириллу.

— А что это было?

— А хрен его знает!.. Было и нету, и слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял? Ты сейчас машина, рычаг мой...

Тут я спохватился, что меня, похоже, тоже словесный понос одолевать начинает.

— Всё, — говорю. — Ни слова больше.

Хлебнуть бы сейчас! Барахло эти скафандры, вот что я вам скажу. Без скафандра я, ей-богу, столько прожил и ещё столько же проживу, а без хорошего глотка в такой вот момент... Ну да ладно!

Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг не слышно, только двигатель гудит спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара... Над гаражом марево... Всё вроде бы нормально, вешки одна за другой мимо проплывают. Тендер молчит, Кирилл молчит, шлифуются новички. Ничего, ребята, в Зоне тоже дышать можно, если умеючи... А вот и двадцать седьмая вешка — железный шест и красный круг на нём с номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и наша «галоша» остановилась.

Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас — полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, всё как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, — пёстрое там что-то виднеется, может, тряпьё его. Паршивый был парень, упокой господи его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбридж за версту видит и под себя подгребает... А вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит, а умным людям показал, куда ступать нельзя... Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нём всё виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки! Если по прямой к асфальту идти, проходить придётся как раз между ними. Ишь стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промежду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева всё должно быть чисто на сто шагов. А вот через левый бугорочек перевалить можно... Правда, не знаю я, что там за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..

— Слушай, Рэд, — шепчет мне Кирилл. — Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз, вот мы и у гаража, а?

— Молчи, дурак, — говорю я. — Не мешай, молчи.

Вверх ему. А долбанёт тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберёшь. Или комариная плешь где-нибудь здесь объявится, тут

не то, что костей, мокрого места не останется. Ох уж эти мне рисковые, не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем... В общем, как до бугра идти — ясно, а там постоим, посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:

— Мальчика с пальчик помнишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет всё наоборот. Смотри! — И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гаечка прошла нормально. — Видел?

— Ну? — говорит.

— Не «ну», а видел, я спрашиваю?

— Видел.

— Теперь самым малым веди «галошу» к этой гаечке и в двух метрах до неё не доходя остановись. Понял?

— Понял. Гравиконцентраты ищешь?

— Что надо, то и ищу. Подожди, я ещё одну брошу. Следи, куда упадёт, и глаз с неё больше не спускай.

Бросил я ещё одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.

— Давай, — говорю.

Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное сделалось: видно, всё понял. Они ведь все, Очкарики, такие. Им главное название придумать. Пока не придумал, смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравиконцентратор, тут ему словно всё понятно становится, и сразу ему жить легче.

Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зевает от нервности с этаким собачьим прискуливанием, томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты... Бросил я четвёртую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чём дело, но чувствую — не так, и сразу хвать Кирилла за руку.

— Стой, — говорю. — Ни с места...

А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз тоже вроде нормально было пошла, но на полпути её словно кто-то вбок дёрнул, да так дёрнул, что она в глину ушла и с глаз исчезла.

— Видал? — говорю я шёпотом.

— В кино только видел, — говорит, а сам весь вперёд подался, того и гляди с «галоши» сверзится. — Брось ещё одну, а?

Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдёшься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я ещё восемь гаек, пока «плешь» не обозначил.

Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил, в самую серёдку, пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а пятипудовая гиря. Ахнула и только дырка в глине. Он даже крякнул от удовольствия.

— Ну ладно, — говорю. — Побаловались, и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с неё не спускай.

Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот как кот нагадил, я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да... Ну, зависли мы над бугорочком, до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место чистейшее, каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? Кидай гайку, и с богом.

Не могу кинуть гайку.

Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь.

— Ты что, — говорит Кирилл, — чего мы стоим?

— Подожди, — говорю. — Замолчи, ради бога.

Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдём, как по маслу проплывём, травинка не шелохнётся, — полминуты, а там и асфальт... И тут вдруг потом меня как прошибёт! Даже глаза залило, и уже знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь, а прямо ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвёл к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвёл глаза.

— Ничего, — я ему говорю. — Кривой дорогой ближе. — И кинул последнюю гаечку на асфальт.

Дальше дело пошло проще. Нашёл я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменила, смотрел я на неё и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек.

Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лёг на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца, ничего не было видно, черно и черно, потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целёхонький стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг всё как прежде потому, наверное, что «ведьмина студня» в яме мало скопилось, не выплёскивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно,

серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого! Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково... Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят, действительно, как новенькие, — с тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, ещё новее стали, а бензовоз тот совсем, бедняга, проржавел, скоро разваливаться начнёт. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте...

Не понравилась мне эта покрышка. Тень от неё какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до неё далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там всё-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить, почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится... тень почему такая от покрышки... Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное... С тенями здесь бывает. А вот что это там всё-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок её там сплёл? Ох, ни разу я ещё жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр, валяется. Надо мне было тогда же её и упереть, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжёлая, стерва, полная ведь, поднять-то я её мог, но на горбу тащить, да ещё ночью, да на карачках... а кто пустышек ни разу не таскал, пусть попробует: это всё равно что пуд воды без вёдер нести... Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас... Повернулся я к Тендеру и говорю:

— Сейчас мы с Кириллом пойдём в гараж. Ты останешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось, хоть земля под тобой загорится. Если струсишь, на том свете найду.

Он серьёзно мне покивал: не струшу, мол. Нос у него что твоя слива, здорово я ему врезал... Ну, спустил я тихонечко аварийные блок-тросы, посмотрел ещё раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.

— Не торопись, — говорю ему. — Не спеши. Меньше пыли.

Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ёрзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:

— Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.

И пошёл. На пороге остановился, огляделся. Всё-таки до чего же проще работать днём, чем ночью! Помню я, как лежал вот на этом самом пороге. Темно, как у негра в ухе, из ямы «ведьмин студень» языки высовывает, голубые, как спиртовое пламя, и ведь что обидно — ничего, сволочь, не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас что! Глаза к сумраку привыкли, всё как на ладони, даже в самых тёмных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку, очень на паутину похоже. Может, паутина и есть, но лучше от неё подальше. Вот тут-то я и напортачил. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в неё ткнуть. А я привык один работать, у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.

Шагнул это я внутрь, и прямо к канистрам. Присел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:

— Ну берись, да не урони, тяжёлая...

Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! — и не могу. Да и не успел бы, наверное, слишком уж быстро всё получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только глаза закрыл. Всё во мне обмерло, ничего не слышу, слышу только, как эта паутина рвётся. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопается, но, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами, ни рук, ни ног не чувствую, а Кирилл говорит:

— Ну, что? — говорит. — Взяли?

— Взяли, — говорю.

Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идём. Тяжеленная, стерва, даже вдвоём её тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши», Тендер к нам уже лапы протянул.

— Ну, — говорит Кирилл, — раз, два...

— Нет, — говорю, — погоди. Поставим сначала.

Поставили.

— Повернись, — говорю, — спиной.

Он без единого слова повернулся. Смотрю я — ничего у него на спине нет. Я и так и этак — нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.

— Слушай, — говорю я Кириллу, а сам всё на канистры смотрю. — Ты паутину видел?

— Какую паутину? Где?

— Ладно, — говорю. — Счастлив наш бог.

А сам про себя думаю: сие, впрочем, пока неизвестно.

— Давай, — говорю, — берись.

Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили её на попа, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на неё, вскарабкались на «галошу» сами и без лишних слов — в обратный путь.

Лафа этим учёным! Во-первых, днём работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «галоша» сама везёт, есть у неё такое устройство, курсограф, что ли, которое ведёт «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывём мы обратно, все манёвры повторяем, останавливаемся, повисим немного и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок.

Новички мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят вовсю, страха у них почти не осталось, одно любопытство да радость, что всё благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозится, что вот сейчас пообедает и сразу обратно в Зону, дорогу к гаражу провешивать, а Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плешь» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулись на радостях на обратном пути. Молчите, говорю, и глядите как следует по сторонам, а то будет с вами как с Линдоном-Коротышкой. Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном-Коротышкой. Плывём в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и этак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутинка и блеснёт.

Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошей» вместе в вошебойку, или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трёх кипятках и трёх щелочах, облучали какой-то ерундой, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: «Валяйте, ребята, свободны!». Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть — не протолкнёшься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают приветственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить ни одного смельчака не нашлось... Ладно, меня это всё не касается. Меня теперь ничто не касается...

Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол, холуи-сержанты подберут, — а сам двинул в душевую, потому что мокрый я был весь с головы до ног. Заперся я в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила, поганка. Подлая. Живой. Очкарикам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слёзы то ли от крепкого, то ли сам не знаю отчего. Высосал флягу досуха, сам мокрый, фляга сухая. Одного последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь всё поправимо. Живой. Закурил сигарету, сижу. Чувствую, отходить начал. Премиальные в голову пришли. Это у нас в институте поставлено здорово. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.

Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю, а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Меня аж передёрнуло. Да, господа мои, в Зоне времени нет. Пять часов... А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Плюнуть и растереть. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь? Когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь рылом в землю и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мёртвый... А во вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-пулемётчики, жабы, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти, что ты заразный, они тебя шлёпнуть стремятся, и все козыри у них на руках, иди потом, доказывай, что шлёпнули тебя незаконно... И значит, снова рылом в землю молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как Мослатый Исхак застрял на рассвете на открытом месте, застрял между двумя канавами, ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мёртвым притворялся. Слава богу, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел — не узнал, сломали его, как не было человека...

Отёр я слёзы и включил воду. Долго мылся. Горячей мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извёл. Потом надоело. Выключил душ и слышу: барабанят в дверь, и Кирилл весело орёт:

— Эй, сталкер, вылезай! Зелёненькими пахнет!

Зелёненькие — это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл в одних трусах, весёлый, без никакой меланхолии и конверт мне протягивает.

— Держи, — говорит, — от благодарного человечества.

— Кашлял я на твоё человечество! Сколько здесь?

— В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах — два оклада!

Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.

— Ну как, доволен? — спрашивает Кирилл, а сам сияет — рот до ушей.

— Ничего, — говорю. — А ты?

Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседней кабине.

— Эй! — кричу я ему вслед. — А Тендер что? Подштанники небось стирает?

— Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный... Он им так компетентно излагает...

— Как, — говорю, — излагает?

— Компетентно.

— Ладно, — говорю, — сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр. — И тут меня словно током ударило. — Подожди, Кирилл, — говорю. — Ну-ка выйди сюда.

— Да я уже голый, — говорит.

— Выйди, я не баба!

Ну, он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.

— Чего тебе моя спина далась? — спрашивает он.

Отвесил я ему пинка по голому телу, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, чёрт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится... К дьяволу всё это! Напьюсь сегодня как лошадь. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет... Ни с какой картой его не возьмёшь. Я уж и передёргивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому...

— Кирилл! — кричу. — В «Боржч» сегодня придёшь?

— Не в «Боржч», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить...

— Брось! Написано «Боржч». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придёшь или нет? Ричарда бы ободрать...

— Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили...

— А ты-то понимаешь?

— Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идейка пройдёт... Напишу статью, и тебе её персонально

посвящу: Рэдрику Шухарту, почётному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю.

— Тут-то меня и упекут на два года, — говорю я.

— Зато в науку войдёшь. Так эту штуку и будут называть «банка Шухарта». Звучит?

Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелёненькие и пошёл себе.

— Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа...

Он не ответил — вода сильно шумела.

Смотрю: в коридоре господин Тендер собственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа, тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, — болбочет, — даёт почти стопроцентную гарантию успеха и безопасности...» Тут он меня увидал и сразу несколько усох, улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я, однако не успел. Слышу: топочут позади.

— Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!

— Комментариев не имею, — отвечаю я и перехожу на бег. Но чёрта с два от них оторвёшься: один, с микрофоном, — справа, другой, с фотоаппаратом, — слева.

— Видели вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!

— Нет у меня комментариев! — говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. — Гараж как гараж...

— Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?

— Прекрасного, — говорю я, а сам нацеливаюсь точнёхонько в сортир.

— Что вы думаете о целях Посещения?

— Обратитесь к учёным, — говорю. И раз за дверь.

Слышу: скребутся. Тогда я им через дверь говорю:

— Настоятельно рекомендую, — говорю, — расспросите господина Тендера, почему у него нос как свёкла. Он по скромности замалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.

Как они двинут по коридору! Как лошади, ей-богу. Я выждал минуту: тихо. Высунулся: никого. И пошёл себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю, он мне честь отдаёт. Герою дня, значит.

— Вольно, сержант, — говорю. — Я вами доволен.

Он осклабился, как будто я ему бог весть как польстил.

— Ну, ты, Рыжий, молодец, — говорит. — Горжусь, — говорит, — таким знакомством.

— Что, — говорю, — будет тебе в твоей Швеции о чём девкам рассказывать?

— Спрашиваешь! — говорит. — Они ж у меня будут таять, как свечки!

Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без памяти, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело... Иду это я по улице и размышляю, в чём же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг. И захотелось мне вдруг прямо сейчас же Гуту увидеть. Просто так. Посмотреть на неё, за руку подержать. После Зоны человеку только одно и остаётся — за руку девочку подержать. Особенно когда вспомнишь все эти разговоры про детей сталкеров, какие они получаются... Да уж какая сейчас Гута, мне сейчас для начала бутылку крепкого, не меньше.

Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, жёлтые, прожекторами и пулемётами, жабы, ощетинились, ну и, конечно, голубые каски всю улицу загородили, не протолкнёшься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днём на них мне лучше не смотреть совсем: есть там два-три типчика, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришил бы и не дрогнул...

Прохожу я через эту толпу плечом вперёд, совсем прошёл уже, и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну, это меня не касается, иду дальше, волоку из пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берёт за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:

— Какого дьявола цепляешься, мистер?

— Постой, сталкер, — говорит он. — Два вопроса.

Поднял я на него глаза — капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем ссохся, жёлтый стал какой-то.

— А, — говорю, — здравия желаю, капитан. Как ваша печень?

— Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, — говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. — Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?

И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной, лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам прислали, что ли?.. Днём я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать, жабы, могут, а это мне в данный момент ни к чему.

— Да разве вы меня звали, капитан? — говорю. — Вы же какого-то сталкера...

— А ты, значит, уже и не сталкер?

— Как по вашей милости отсидел — бросил, — говорю. — Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы...

— Что в предзоннике делал?

— Как что? Я там работаю. Два года уже.

И чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я своё удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал, каждую страничку, каждую печать простотаки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.

— Извини, — говорит, — Шухарт. Не ожидал. Значит, — говорит, — не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь верь, хочешь не верь, а я ещё тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень...

И пошёл, и пошёл. Ну, думаю, вылечил я ещё одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущённо опускаю, поддакиваю, руками развожу и даже, помнится, ножкой застенчиво этак панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали-послушали, замутило их, видно, гляжу потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: ученье, мол, свет, неученье тьма кромешная, господь, мол, честный труд любит и ценит, — в общем, несёт он эту разнузданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется, никакого терпёжу нет. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал... Тут, на моё счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблад оглянулся, крякнул с досадой и протягивает мне руку.

— Ну что ж, — говорит. — Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь — служба! Ну, ещё встретимся, — говорит.

Не приведи господь, думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой, — всё, как ему хочется. Потом он ушёл наконец, а я чуть ли не стрелой в «Боржч».

В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь: как ни придёшь, вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них

от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день, возьмёт бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть: потрёт-потрёт, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть...

— Здорово, Эрни! — говорю. — Хватит тебе его мучить, дыру протрёшь!

Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощёлкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье. Эрнест сопит в очередной бокал, хорошо, спокойно... Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне ещё на четыре пальца прозрачного.

— Ну что, полегче стало? — бурчит. — Оттаял, сталкер?

— Ты знай себе три, — говорю. — Знаешь, один тёр-тёр и злого духа вызвал. Жил потом в своё удовольствие.

— Это кто же такой? — спрашивает Эрни с недоверием.

— Да был такой бармен здесь, — отвечаю. — Ещё до тебя.

— Ну и что?

— Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тёр он, тёр... Ты думаешь, кто нас посетил, а?

— Трепло ты, — говорит Эрни с одобрением.

Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой, жареных сосисок принёс. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест своё дело знает. Глаз у него намётанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек Эрни! Благодетель.

Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идёт там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни даёт нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и всё прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник станции наверняка у них на содержании... В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и заколачивает, процентов пятнадцать-двадцать, не больше, а если попадётся, десять лет каторги ему обеспечено...

Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слыхал, как он вошёл. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:

— Разрешите?

— О чём речь! — говорю. — Прошу.

Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстуке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где — не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:

— Бурбон, пожалуйста! — и сразу же ко мне: — Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?

— Да, — говорю. — А вы?

Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладёт передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро эмиграции». Ну, конечно, знаю я его. Пристаёт к людям, чтобы они из города уехали. Кому-то очень надо, чтобы мы все из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему:

— Нет, — говорю, — спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.

— А почему? — живо спрашивает он. — Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?

Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.

— А как же! — говорю. — Сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок... — Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. — Нет, — говорю. — Ни за что!

Он посмеялся, лизнул свой бурбон и задумчиво так говорит:

— Никак я вас, хармонтцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжёлая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком Зона, живёте как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже... Я понимаю, старики. Им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы... Сколько вам лет? Года двадцать два — двадцать три, не больше... Вы поймите, наше Бюро — организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъёмные, трудоустройство на новом месте...

молодым, таким, как вы, — обеспечиваем возможность учиться... Нет, не понимаю!

— А что, — говорю я, — никто не хочет уезжать?

— Да нет, не то, чтобы никто... Некоторые соглашаются, особенно люди с семьями. Но вот молодёжь, старики... Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция...

И тут я ему выдал.

— Господин Алоиз Макно! — говорю. — Всё правильно. Городишко наш дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, — говорю, — это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что всё переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет всё, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звёздам полетим, и куда хочешь доберёмся. Вот такая у нас здесь дыра...

На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрывать. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно...

Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул свой бурбон и говорит:

— Да, конечно... Вечные аккумуляторы, «синяя панацея» ... Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?

— Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, — говорю я. — Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла — к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная... В гробу я вашу Европу видел, — говорю, — занюханную.

— Ну почему же обязательно Европа?..

— А, — говорю, — везде одно и то же, а в Антарктиде ещё вдобавок холодно.

И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печёнками верил в то, что говорил. И Зона наша, гадина, стервозная, убийца, во сто раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьян ещё не был, а просто представилось мне на мгновение, как

я, весь измочаленный, с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон и как всё мне обрыдло, и ничего мне не хочется.

— А вы что скажете? — обращается востроносый к Эрнесту.

— У меня дело, — веско отвечает Эрни. — Я вам не сопляк какой-нибудь! Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал, понял? Чего же я отсюда поеду?..

Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка — «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после Зоны... Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошёл в угол к «однорукому бандиту» старые счёты сводить. И полетело время, как птичка... Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях, вращает белками и ищет, кому бы дать в ухо, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка! Гуталин здоровенный, чёрный, как офицерский сапог, курчавый, ручищи до колен, а Дик — маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится.

— А! — кричит Дик, увидев меня. — Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!

— Пр-равильно! — ревёт Гуталин. — Во всём городе есть только два человека — Рэд и я! Все остальные — свиньи, дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но ты всё-таки человек...

Я подхожу к ним со своим бокалом, Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:

— Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя. Поплачем о грехах человеческих. Горько восплачем!

— Восплачем, — говорю. — Глотнём слёз греха.

— Ибо грядёт день, — возвещает Гуталин. — Ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И тщетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщённые, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, — вам говорю: слепые! Опомнитесь, сволочи, пока не поздно! Растопчите дьявольские бирюльки! — Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. — А выпить мне здесь дадут? — Спросил он уже другим голосом. — Или, где это я?.. Знаешь, Рыжий, опять меня с работы попёрли.

Агитатор, говорят. Я им объясняю: опомнитесь, сами, слепые, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете! Смеются. Ну, я дал управляющему по харе и ушёл. Посадят теперь. А за что?

Подошёл Дик, поставил на стол бутылку.

— Сегодня я плачу! — крикнул я Эрнесту.

Дик на меня скосился.

— Всё законно, — говорю. — Премию будем пропивать.

— В Зону ходили? — спрашивает Дик. — Что-нибудь вынесли?

— Полную «пустышку», — говорю я. — На алтарь науки. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?

— «Пустышку» !.. — горестно гудит Гуталин. — За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принёс ещё одно дьявольское изделие... А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха...

— Засохни, Гуталин, — говорю я ему строго. — Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!

Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис, сидит, плачет, течёт у него из глаз как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая: обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из неё ничего нельзя, а что уже вынесли, — вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволово, мол, дьяволу.

Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прёт этот хабар обратно, в Зону, и там закапывает... Во ревёт-то, господи!

Ну ничего, он ещё разойдётся.

— А что это такое: полная «пустышка»? — спрашивает Дик. — Просто «пустышку» я знаю, а вот что такое полная? Первый раз слышу.

Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал.

— Да, — говорит. — Это интересно. Это, — говорит, — что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?

— Да, — отвечаю. — С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.

— Намучился с ними, наверное...

— Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. «Прирождённый сталкер», — говорю. — Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.

— И каждую ночь? — спрашивает он с пьяным смешком.

— Ты это брось, — говорю. — Шутки шутками...

— Знаю, — говорит он. — Шутки шутками, а за такое можно и схлопотать. Считай, что я тебе должен две плюхи...

— Кому две плюхи? — встрепенулся Гуталин. — Который здесь?

Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднёс. Успокоили. А народу тем временем всё прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики заняты. Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что: кому пива, кому коктейлей, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось, всё больше какие-то молокососы в пёстрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул.

— А как же, — говорит. — Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной огородить от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются...

— А когда они у сталкеров были? — говорю. А сам думаю: «Вот тебе и на, что ещё за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему, соблазна меньше. Буду ходить в Зону днём, как порядочный, — деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее: „галоша“, спецкостюм, то-сё, и на патрулей наплевать... Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные». И такая меня тоска взяла! Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе позволить, Гуте на любую тряпку копи, в бар не ходи, ходи в кино... И серо всё, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.

Сижу я так, думаю, а Дик над ухом гудит:

— Вчера в гостинице зашёл я в бар принять ночной колпачок, сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека, даёт понять, что он меня знает, знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги...

— Шпик, — говорю я. Не очень мне интересно было это, шпиков я здесь навидался и разговоров насчёт услуг наслышался.

— Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Я немножко с ним побеседовал, осторожно, конечно, дурачка такого состроил. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьёзные. Аккумуляторы, «зуда», «чёрные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.

— Так что же ему нужно? — спрашиваю я.

— «Ведьмин студень», как я понял, — говорит Дик и странно както на меня смотрит.

— Ах, «ведьмин студень» ему нужен! — говорю я. — А «смерть-лампа» ему, случайно, не нужна?

— Я его тоже так спросил.

— Ну?

— Представь себе, нужна.

— Да? — говорю я. — Ну так пусть сам и добывает всё это. Это же раз плюнуть! «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счёт.

Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что за чёрт, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.

— Подожди, — говорю. — Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в институте изучать...

— Правильно, — говорит Дик неторопливо, а сам всё на меня смотрит. — Исследования, представляющие потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?

Ничего я не понимал.

— Пришельцы, что ли? — говорю.

Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:

— Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!

— Давай, — говорю, но злюсь. Тоже мне нашли себе простую душу, сукины дети! — Эй, — говорю, — Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.

Нет, спит Гуталин. Положил свою чёрную ряшку на чёрный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.

— Ну ладно, — говорю. — Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донёс куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошёл и донёс.

— Угу, — говорит Дик. — А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?

Я помотал головой:

— Всё равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает, ты бы тут же и обгадился. Это, милок, страшная штука, её из Зоны выносить нельзя... Сам знаешь, сталкеры — люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошёл бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдёт... Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться...

— Что ж, — говорит Дик. — Всё это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако

человек тоже грубый и деловой, и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...

Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:

— Господин Нунан! Вас к телефону!

— Вот дьявол, — говорит Дик злобно. — Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, — говорит, — Рэд.

Встаёт он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой, и поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Чёрт бы побрал эту Зону, нигде от неё спасения нет. Куда ни пойдёшь, с кем ни заговоришь — Зона, Зона, Зона... Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из Зоны проистечёт вечный мир и благорастворение воздухов. Кирилл хороший парень, никто его дураком не назовёт, наоборот, умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг Зоны. Вот теперь, пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет, Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьяволово дьяволу? Не тронь дерьмо...

Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пёстром шарфе.

— Господин Шухарт? — спрашивает.

— Ну? — говорю.

— Меня зовут Креон, — говорит. — Я с Мальты.

— Ну, — говорю. — И как там у вас на Мальте?

— У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.

Так, думаю. Сволочь всё-таки этот Эрнест. Ни жалости в нём нет, ничего. Вот сидит парнишка смугленький, чистенький, красавчик, не брился поди ещё ни разу и девку ещё ни разу не целовал, а Эрнесту всё равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трёх с хабаром вернётся — уже капуста...

— Ну и как поживает старина Эрнест? — спрашиваю.

Он оглянулся на стойку и говорит:

— По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.

— А я бы нет, — говорю. — Выпить хочешь?

— Спасибо, я не пью.

— Ну закури, — говорю.

— Извините, но я и не курю тоже.

— Чёрт тебя подери! — говорю я ему. — Так зачем тебе тогда деньги?

Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:

— Наверное, — говорит, — это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?

— Что правда, то правда, — говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. — Сейчас я пьян, — говорю. — Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уже совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьёзный разговор...

Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю: что-то случилось.

— Ну, — спрашиваю, — опять твои баллоны вакуум не держат?

— Да, — говорит он. — Опять...

Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплёвывает, тот ещё работничек!

— Давай, — говорит, — выпьем, Рэд. — И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. — Ты знаешь, — говорит он, — Кирилл Панов умер.

Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.

— Что ж, — говорю, — выпьем за упокой души...

Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно всё у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, упёрся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.

— Кирилл?!. — А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня как из другой комнаты:

— Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке...

— А чего тут не понимать? — говорю. — Зона...

— Ты сядь, — говорит мне Дик. — Сядь и выпей.

— Зона... — повторяю я и не могу остановиться. — Зона... Зона...

Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они её задевают. А в центре Мальтиец стоит, лицо у него удивлённое, детское, ничего не понимает.

— Малыш, — говорю я ему ласково. — Сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! — сую я ему деньги и уже кричу: — Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..

Не помню, что я там ещё кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:

— Ты сегодня вроде при деньгах?

— Да, — говорю, — при деньгах...

— Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.

И тут я вижу: в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зелёную и бормочу:

— Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский... Гордый, значит... Ну, всё остальное судьба.

— Что это с тобой? — спрашивает друг Эрни. — Перебрал малость?

— Нет, — говорю. — Я, — говорю, — в полном порядке. Хоть сейчас в душ.

— Шёл бы ты домой, — говорит друг Эрни. — Перебрал ты малость.

— Кирилл умер, — говорю я ему.

— Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?

— Сам ты шелудивый, сволочь, — говорю я ему. — Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. «Паскуда ты», — говорю. — Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелёненькие... Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то бью, потом опомнился, сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щёку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала шум, трещит что-то, посуда бьётся, девки визжат, и слышу: Гуталин ревёт, что твои гризли: «Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, чёртово семя?..» И полицейская сирена завывает.

Как она завыла, тут у меня в мозгу всё словно хрустальное сделалось. Всё помню, всё знаю, всё понимаю. И в душе уже больше ничего нет, одна ледяная злоба. Так, думаю, я тебе сейчас устрою вечерочек! Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш вонючий! Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал её между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил её тихонько в плевательницу. А сам окошко в сортире распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как всё это получится, но надо было убираться поскорее. Я эту «зуду» переношу плохо, у меня от неё кровь из носа идёт.

Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу: они

первыми «зуду» чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался, — кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться... Страшная штука «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберётся. Он, конечно, догадается про меня, да только мне наплевать... Всё. Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.

Перелез я через забор и побрёл потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. «Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про изменённый мир... а теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далёкой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всём виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал... И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой чёрт я вообще ему про эту „пустышку“ сказал?» И как вспомнил я об этом, взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл, люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало: смотрю, Гута идёт.

Идёт она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идёт, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на неё глазеют, а она идёт как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.

— Здравствуй, — говорю, — Гута. Куда это ты, — говорю, — направилась?

Она окинула меня взглядом, в момент всё увидела, и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, но ничего про это не сказала, а говорит только:

— Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.

— Знаю, — говорю. — Пойдём ко мне.

Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах, как у неё головка-то посажена, шейка какая, как у кобылки молоденькой, гордой, но покорной уже своему хозяину. Потом она говорит:

— Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь.

У меня сердце сразу сжалось: что ещё? Но я спокойно ей так говорю:

— Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо соображаю... Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?

Беру я её под руку, и идём мы, не спеша к моему дому, и все, кто только что на неё глазел, теперь торопливо рыла прячут. Я на этой улице всю жизнь живу, Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.

— Мать велит аборт делать, — говорит вдруг Гута. — А я не хочу.

Я ещё несколько шагов прошёл, прежде чем понял, а Гута продолжает:

— Не хочу я никаких абортов, я ребёнка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.

Слушаю я её, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше — одним человеком больше.

— Она мне толкует, — говорит Гута, — ребёнок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить? Проходимец он, говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра — в тюрьме. А только мне всё равно, я на всё готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи, на порог не пущу...

— Гута, — говорю, — девочка моя! Да подожди ты... — А сам не могу, смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. — Ласточка моя, — говорю, — чего же ты меня гонишь, в самом деле?

Я хохочу как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревёт.

— Как же мы теперь будем, Рэд? — говорит она сквозь слёзы. — Как же мы теперь будем?

2. Рэдрик Шухарт, 28 лет, женат, без определённых занятий

Рэдрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожектора патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам, и тогда он зажмуривался и задерживал дыхание.

Прошло уже два часа, а на дороге всё оставалось по-прежнему. Машина, мерно клокоча двигателем, работающим вхолостую, стояла на месте и всё шарила своими тремя прожекторами по запущенным

могилам, по покосившимся ржавым крестам и по плитам, по неряшливо разросшимся кустам рябины, по гребню трёхметровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись Зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Рэдрика доносились приглушённые голоса, иногда он видел, как из машины вылетал огонёк сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро, недавно прошёл дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Рэдрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же на кладбище был кто-то ещё. Там снова прошуршала листва и вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упало тяжёлое и твёрдое. Рэдрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Рэдрик замер, следя за его бесшумным движением, ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в чёрном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, повернув в сторону Рэдрика белое лицо с тёмными ямами глаз. На самом деле Рэдрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз ещё на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил её и некоторое время полежал, прижимая к щеке тёплый металл. Затем, не выпуская фляги из рук, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам.

В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж. Он по-прежнему лежал на спине, оттягивая обеими руками воротник свитера, и тихонько, мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Рэдрик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей ладонью ощущая липкую от пота, горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно, но в слабых отсветах прожекторов Рэдрик видел широко раскрытые и словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, чёрную щетину, покрывавшую его щёки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, а затем беспокойно задвигался, ощупывая рукой мешок с хабаром.

— Вернулся... — проговорил старик. — Хороший парень... Рыжий... Не бросишь старика... подыхать...

Рэдрик, запрокинув голову, сделал хороший глоток.

— Стоит, жаба, — сказал он. — Как приклеенная.

— Это... неспроста... — проговорил Барбридж. Говорил он отрывисто, на выдохе. — Донёс кто-то. Ждут.

— Может быть, — сказал Рэдрик. — Дать ещё глоток?

— Нет. Хватит пока. Ты меня не бросай. Не бросишь — не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, Рыжий?

Рэдрик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там этот или сгинул.

— Слушай, Рыжий. Я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул, Фараон Банкер погиб, как не было. Какой был сталкер! А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Каллоген. Пит Болячка. Все. Один я остался. Почему? Знаешь?

— Подлец ты всегда был, — сказал Рэдрик, не отрывая глаз от шоссе. — Стервятник.

— Подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон. Слизняк. А остался один я. Знаешь почему?

— Знаю, — сказал Рэдрик, чтобы отвязаться.

— Врёшь. Не знаешь. Про Золотой шар слыхал?

— Слыхал.

— Думаешь, сказка?

— Ты бы молчал лучше, — посоветовал Рэдрик. — Силы ведь теряешь!

— Ничего, ты меня вынесешь. Мы с тобой столько ходили! Неужели бросишь? Я тебя вот такого... маленького знал. Отца твоего.

Рэдрик молчал. Очень хотелось курить, он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладонь и стал нюхать. Не помогало.

— Ты меня должен вытащить, — проговорил Барбридж.

— Это из-за тебя я погорел. Это ты Мальтийца не взял.

Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый день угощал, предлагал хороший залог, клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с Мальтийцем, загородившись от него тяжёлой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Рэдрику: соглашайся, мол, не прогадаем. Может быть, именно поэтому Рэдрик сказал тогда «нет».

— Из-за жадности своей ты погорел, — холодно сказал Рэдрик. — Я здесь ни при чём. Помолчи лучше.

Некоторое время Барбридж только кряхтел. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.

— Пусть весь хабар будет твой, — прокряхтел он. — Только не бросай.

Рэдрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного, а патрульная машина всё не уходила. Прожектора её продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулём, стоял замаскированный «лендровер», и каждую минуту его могли обнаружить.

— Золотой шар, — сказал Барбридж. — Я его нашёл. Вранья вокруг него потом наплели! Я и сам плёл. Что любое, мол, желание выполняет. Как же любое! Если бы любое, меня б здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

Рэдрик посмотрел на него сверху вниз. В бегучих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мёртвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Рэдриком.

— Вечную молодость чёрта я получил, — бормотал он. — Денег — чёрта. А вот здоровье — да. И дети у меня хорошие. И жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И всё равно жив. — Он облизал губы. — Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровья. И чтобы дети.

— Да заткнись ты, — сказал наконец Рэдрик. — Что ты как баба? Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко, на панель ведь пойдёт девка...

— Дина... — прохрипел Барбридж. — Деточка моя. Красавица. Они ж у меня балованные, Рыжий. Отказа не знали. Пропадут. Артур. Арчи мой. Ты ж его знаешь, Рыжий. Где ты ещё таких видел?

— Сказано тебе: смогу, вытащу.

— Нет, — упрямо сказал Барбридж. — Ты меня в любом случае вытащишь. Золотой шар. Хочешь скажу где?

— Ну, скажи.

Барбридж застонал и пошевелился.

— Ноги мои... — прокряхтел он. — Пощупай, как там.

Рэдрик протянул руку и, ощупывая, провёл по его ноге ладонью от колена и ниже.

— Кости... — хрипел Барбридж. — Кости ещё есть?

— Есть, есть, — соврал Рэдрик. — Не суетись.

На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка, её можно было узлом завязать.

— Врёшь ведь, — сказал Барбридж с тоской. — Ну, ладно. Ты только меня вытащи. Я тебе всё. Золотой шар. Карту нарисую. Все ловушки укажу. Всё расскажу...

Он говорил и обещал ещё что-то, но Рэдрик уже не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожектора больше не метались по кустам,

они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске, и в ярком голубом тумане Рэдрик отчётливо увидел согнутую фигуру, бредущую среди кустов. Фигура эта двигалась, как бы вслепую, прямо на прожектора. Рэдрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперёд длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нелепым, нечеловеческим упорством, как заведённый механизм.

И вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление. Дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной. Рэдрик судорожно глотнул и распустил молнию на комбинезоне.

— Никак уехали... — лихорадочно бормотал Барбридж. — Рыжий, давай... Давай по-быстрому! — Он заёрзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с хабаром и попытался подняться. — Ну давай, чего сидишь!

Рэдрик всё смотрел в сторону шоссе. Теперь там было темно и ничего не было видно, но где-то там был этот, вышагивал словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике.

— Ладно, — сказал Рэдрик вслух. — Пойдём.

Он поднял Барбриджа. Старик как клещами обхватил его левой рукой за шею, и Рэдрик, не в силах выпрямиться, на четвереньках поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву.

— Давай, давай... — хрипел Барбридж. — Не беспокойся, хабар я держу, не выпущу... Давай!

Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила, ветки рябины хлестали по лицу, грузный старик был неимоверно тяжёл, словно мертвец, да ещё мешок с хабаром, позвякивая и постукивая, всё время цеплялся за что-то, и ещё страшно было наткнуться на этого, который, может быть, всё ещё блуждал здесь в потёмках.

Когда они выбрались на шоссе, было ещё совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над чёрными домами далёкой окраины, над редкими жёлтыми фонарями ночной мрак уже засинел, и потянуло оттуда знобким влажным ветерком. Рэдрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой чёрный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашёл «лендровер», сбросил с капота и кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар,

выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.

— Быстро! — прохрипел он. — Быстро давай! Колени, целы ещё у меня колени... Колени бы спасти!

Рэдрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Рэдрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой и плащ.

Рэдрик достал фонарик и прошёлся взад-вперёд по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, «лендровер» примял высокую густую траву, но трава эта должна была подняться через несколько часов. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Рэдрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и закурил, хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Всё надо было делать медленно и расчётливо.

— Что же ты? — плачущим голосом сказал из машины Барбридж. — Воду не вылил, снасти все сухие... Чего стоишь? Прячь хабар!

— Заткнись! — сказал Рэдрик. — Не мешай! — Он затянулся. — На южную окраину свернём, — сказал он.

— Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник! Колени!

Рэдрик затянулся последний раз и сунул окурок в спичечный коробок.

— Не пыли, Стервятник, — сказал он. — Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной да остановят.

— Ну и что?

— Посмотрят твои копыта и конец.

— А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор!

— А если кто-нибудь пощупает?

— Пощупает... Я так заору, что вперёд забудет, как щупать.

Но Рэдрик всё уже решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая себе фонариком, открыл потайную крышку и сказал:

— Давай сюда хабар.

Бензобак под сиденьем был фальшивым. Рэдрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается.

— Мне рисковать нельзя, — пробормотал он. — Не имею права.

Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверху тряпок и опустил сиденье. Барбридж кряхтел, постанывал, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать Золотой шар, а сам всё вертелся на своём сиденье, встревоженно вглядываясь в редеющую тьму. Рэдрик не обращал на него внимания. Он вспорол налитый водой пластикатовый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластикатовый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь всё было в порядке: рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трёхметровая стена, ограждающая Зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Рэдрик хорошо видел в темноте, да и темнота не была уже такой плотной и, кроме того, он знал, что сейчас будет, поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шёл в город. Рэдрик обогнал его, прижав машину к обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

— Матерь божия! — пробормотал сзади Барбридж. — Рыжий, ты видел?

— Да, — сказал Рэдрик.

— Господи!.. Этого нам ещё не хватало!.. — бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.

— Заткнись! — прикрикнул на него Рэдрик.

Поворот должен быть где-то здесь. Рэдрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, протянувшихся справа. Старая трансформаторная будка... Столб с подпоркой... Подгнивший мостик через кювет... Рэдрик повернул руль. Машину подбросило на колдобине.

— Ты куда?! — дико заорал Барбридж. — Ноги мне загубишь, сволочь!

Рэдрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колёса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Рэдрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые, покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал, он жаловался и грозился, но очень негромко и неразборчиво,

так, что Рэдрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи... Потом он затих.

Посёлок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городского начальства и заводской администрации. Зелёные весёлые места, маленькие озёра с чистыми песчаными берегами, прозрачные берёзовые рощи, пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские едкие дымы сюда никогда не доходили, так же, как и городская канализация. Теперь всё здесь было покинуто и заброшено, и за всё время им попался всего один жилой дом. Жёлто светилось задёрнутое занавеской окошко, висело на верёвках промокшее от дождя бельё, и огромный пёс, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машиной в вихре комьев грязи, летевшей из-под колёс.

Рэдрик осторожно переехал ещё через один старый перекосившийся мостик, и когда впереди завиднелся поворот на западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошёл вперёд, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Всё вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошёл до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда: маленький домик на колёсах, три светящихся окошка; патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было. Некоторое время Рэдрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения: видимо, патрульные озябли и измотались за ночь и теперь грелись в домике, дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губе. «Жабы», — негромко сказал Рэдрик. Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальные отверстия, зажал в кулаке холодный металл и, всё так же зябко сутулясь, не вынимая рук из карманов, пошёл обратно. «Лендровер», слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное, никто сюда, наверное, не заглядывал уже лет десять.

Когда Рэдрик подошёл к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно, морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и вдруг Барбридж сказал невнятно:

— Карту дам... все ловушки, все... Сам найдёшь, не пожалеешь...

Рэдрик слушал его, не двигаясь, потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал:

— Ладно. Твоё дело лежать в обмороке, понял? Стони и не давай прикасаться.

Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину.

И всё обошлось. Никто не вышел из домика, когда «лендровер» в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатился мимо, а затем, всё наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было шесть часов утра, улицы были пусты, асфальт мокрый и чёрный, автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрёстках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещёнными окнами, и Рэдрика обдало волной тёплого, необыкновенно вкусного запаха.

— Жрать охота, — сказал Рэдрик и, разминая затёкшие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль.

— Что? — испуганно спросил Барбридж.

— Жрать, говорю, охота... Тебя куда? Домой или прямо к Мяснику?

— К Мяснику, к Мяснику гони! — торопливо забормотал Барбридж, весь подавшись вперёд, лихорадочно и горячо дыша Рэдрику в затылок. — Прямо к нему! Прямо давай! Он мне ещё семьсот монет должен. Да гони ты, гони, что ты ползёшь как вошь по мокрому месту! — И вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, чёрными, грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля.

Рэдрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомирить расходившегося Стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в «Метрополе». Он вывернул на Шестнадцатую улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком.

Мясник открыл ему сам, видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы были взлохмачены, под мутными глазами набрякли тёмные мешочки.

— А! — сказал он, — Рыший? Што скашешь?

— Надевай зубы — и пойдём, — сказал Рэдрик.

— Угу, — отозвался Мясник, приглашающе мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную.

— Кто? — спросил он оттуда.

— Барбридж, — ответил Рэдрик.

— Что?

— Ноги.

В ванной полилась вода, раздалось фырканье, плеск, что-то упало и покатилось по кафельному полу. Рэдрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил озираясь. Да, холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом, светилом медицины не только города, но и штата, и со сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с Зоны: брал натурой, разным хабаром, который применял в своей медицине; брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах неизвестные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма; брал славой, славой первого на планете врача специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой.

— Что именно с ногами? — спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече. Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы.

— Вляпался в «студень», — сказал Рэдрик.

Мясник свистнул.

— Значит, конец Барбриджу, — пробормотал он. — Жалко, знаменитый был сталкер.

— Ничего, — сказал Рэдрик, откидываясь в кресле. — Ты ему протезы сделаешь. Он ещё на протезах по Зоне попрыгает.

— Ну хорошо, — сказал Мясник. Лицо у него сделалось совсем деловое. — Подожди, я сейчас оденусь.

Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы всё приготовили для операции, Рэдрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чём не думать. Он просто ждал.

Потом они вместе вышли к машине, Рэдрик сел за руль, Мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, стал ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съёжившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, Мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, ещё на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Рэдрик снова закурил, а Барбридж вдруг сказал ясно и раздельно, словно совсем успокоившись:

— Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.

— Не убил ведь, — равнодушно сказал Рэдрик.

— Да, не убил... — Барбридж помолчал. — Это я тоже запомню.

— Запомни, запомни, — сказал Рэдрик. — Ты бы, конечно, меня убивать не стал... — Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подёргивая пересохшими губами. — Ты бы меня просто бросил, — сказал Рэдрик. — Оставил бы меня в Зоне — и концы в воду. Как Очкарика.

— Очкарик сам помер, — угрюмо возразил Барбридж. — Я тут ни при чём. Приковало его.

— Сволочь ты, — равнодушно сказал Рэдрик, отворачиваясь. — Стервятник.

Из подъезда выскочили сонные встрёпанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Рэдрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешённо глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные «студнем», были странно и неестественно вывернуты.

Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после Посещения, когда Зона ещё не называлась Зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Рэдрику было тогда десять лет, а Барбридж был ещё крепким и ловким мужчиной, он обожал выпить за чужой счёт, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой сволочью он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену, шумно, всем напоказ... Так и забил до смерти.

Рэдрик развернул «лендровер» и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой.

Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шёл к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шёл, а по навозной жиже.

— Доброе утро, — сказал ему Рэдрик вежливо.

Управляющий остановился в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо.

— Это ваша работа? — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня.

— Вы о чём?

— Качели эти... Вы поставили?

— Я.

— Для чего?

Рэдрик, не отвечая, подошёл к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился у него за спиной.

— Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?

— Дочка попросила, — сказал Рэдрик очень спокойно. Он откатил ворота.

— Я вас не про дочку спрашиваю! — управляющий повысил голос. — О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?

Рэдрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в белую, с прожилочками, переносицу; управляющий отступил на шаг и произнёс тоном пониже:

— И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...

— Напрасно стараетесь, — сказал Рэдрик. — Всё равно я отсюда не съеду.

Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:

— Но уж если мне придётся всё-таки съехать, гадюка, тогда молись.

Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлёк из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привёл машину в порядок, всунул мешок в старую плетёную корзину, сверху положил снасти, ещё влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он ещё раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплющенная сигарета. Рэдрик отодрал её, сигарета оказалась шведская. Рэдрик подумал и сунул её в спичечный коробок. В коробке уже было три окурка.

На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошёл боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома, а Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и тёплую рубаху он ощущал, как бешено стучит её сердце. Он не

мешал ей, терпеливо стоял и ждал, пока она отойдёт, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.

— Ну ладно... — проговорила она наконец низким хрипловатым голосом, отпустила его и включила в прихожей свет, а сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. — Сейчас я тебе кофе... — сказала она оттуда.

— Я тут рыбу приволок, — сказал он нарочито бодрым голосом. — Зажарь, да всю сразу жарь, жрать охота, сил нет!

Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах; он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку.

— Иди мойся, — сказала она. — Пока помоешься, всё будет готово.

— Как Мартышка? — спросил Рэдрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги.

— Да болтала весь вечер, — отозвалась Гута. — Еле-еле я её уложила. Пристаёт всё время: где папа, где папа? Вынь да положь ей папу...

Она ловко и бесшумно двигалась по кухне, крепкая, ладная, и уже закипала вода в котелке на плите, и летела чешуя из-под ножа, и скворчало масло на самой большой сковороде, и восхитительно запахло свежим кофе.

Рэдрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнёс её в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно дрыхла, сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони маленький спящий зверёк. Рэдрик не удержался и погладил её по спине, покрытой тёплой золотистой шёрсткой, и в тысячный раз поразился, какая эта шёрстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять Мартышку на руки, но он побоялся её разбудить, да и грязен он был как чёрт, весь пропитан Зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал:

— Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду.

На столе лежала пачка вечерней корреспонденции: «Хармонтская газета», журнал «Атлет», журнал «Плейбой» — целая куча журналов подвалила, и толстенькие, в серой обложке «Доклады Международного института внеземных культур», выпуск 56. Рэдрик принял от Гуты кружку дымящегося кофе и потянул к себе «Доклады». Кривульки, значки какие-то, чертежи... На фотографиях знакомые предметы в странных ракурсах. Ещё одна посмертная статья Кирилла вышла: «Об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77-б». Фамилия «Панов» обведена чёрной рамкой, внизу мелким

шрифтом примечание: «Доктор Кирилл А. Панов, СССР, трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 19... года». Рэдрик отбросил журнал, обжигаясь хлебнул кофе и спросил:

— Заходил кто-нибудь?

— Гуталин заходил, — сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. — Пьяный был в стельку, я его выпроводила.

— А Мартышка как же?

— Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь наладилась. Но я ей сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. А она мне так понимающе отвечает: «Опять насосался Гуталин!»

Рэдрик усмехнулся и сделал ещё глоток. Потом спросил:

— Соседи как?

И снова Гута чуть помедлила, прежде чем ответить.

— Да, как всегда, — сказала она наконец.

— Ладно, не рассказывай.

— А! — сказала она, с отвращением махнув рукой. — Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Чего это мы среди ночи пилим в ванной!..

— Зараза, — сказал Рэдрик сквозь зубы. — Слушай, может быть, уедем всё-таки? Купим где-нибудь дом на окраине, где никто не живёт, дачу какую-нибудь заброшенную...

— А Мартышка?

— Господи, — сказал Рэдрик. — Ну неужели мы вдвоём с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?

Гута помотала головой.

— Она детишек любит. И они её любят. Они же не виноваты, что...

— Да, — проговорил Рэдрик. — Они, конечно, не виноваты.

— Что там говорить! — сказала Гута. — Тебе звонил кто-то. Себя не назвал. Я сказала, что ты на рыбалке.

Рэдрик поставил кружку и поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Пойду всё-таки помоюсь. Куча дел ещё у меня.

Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а кастет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипяток, душем, кряхтя, растирая тело варежкой из жёсткой губки, пока кожа не стала багровой, потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. Урчала вода в трубах, Гута на кухне позвякивала посудой; запахло жареной рыбой, потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое бельё.

— Давай побыстрее, — приказала она. — Рыба остынет.

Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Рэдрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню.

— Вот теперь и поесть можно, — сказал он, усаживаясь.

— Бельё в бак положил? — спросила Гута.

— Угу, — проговорил он с набитым ртом. — Хороша рыбка!

— Водой залил?

— Не-а... Виноват, сэр, больше не повторится, сэр... Да брось ты, успеешь, посиди! — он поймал её за руку и попытался посадить к себе на колени, но она вывернулась и села за стол напротив.

— Пренебрегаешь мужем, — сказал Рэдрик, снова набивая полный рот. — Брезгуешь, значит.

— Да какой ты сейчас муж, — сказала Гута. — Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо.

— А вдруг? — сказал Рэдрик. — Бывают же на свете чудеса!

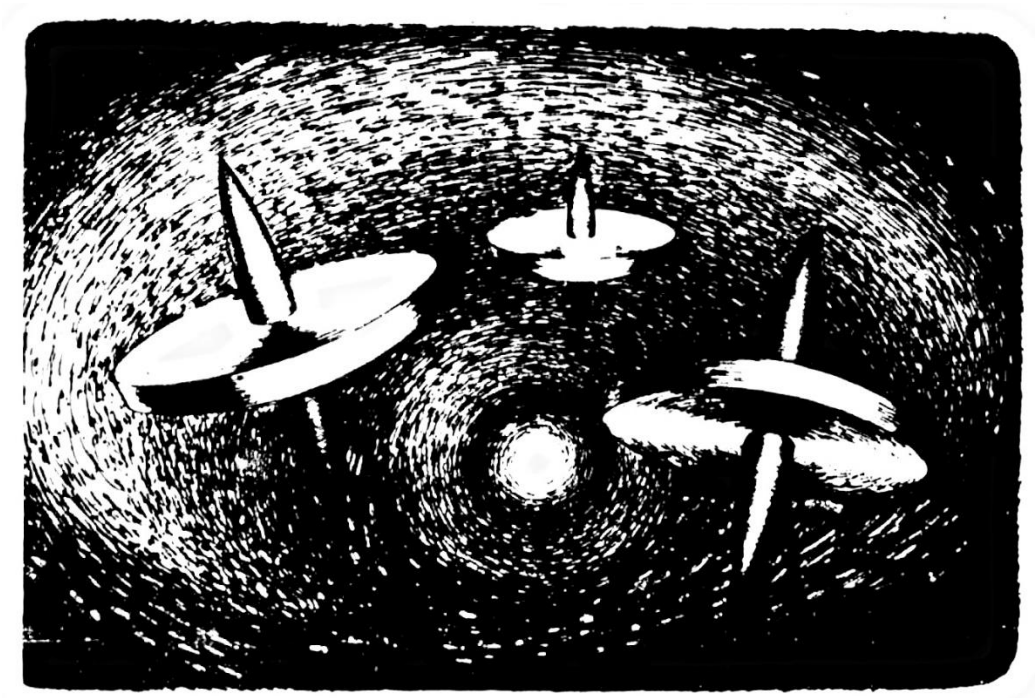
— Что-то я таких чудес от тебя ещё не видела. Выпьешь, может быть?

Рэдрик нерешительно поиграл вилкой.

— Н-нет, пожалуй, — проговорил он. Он взглянул на часы и поднялся. — Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм. По классу «А». Рубашечку там, галстук...

С наслаждением шлёпая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошёл в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две «пустышки». Коробка с «булавками». Девять «батареек». Три «браслета». И один какой-то обруч — тоже вроде «браслета», но из белого металла, полегче и диаметром побольше, миллиметров на тридцать. Шестнадцать штук «чёрных брызг» в полиэтиленовом пакете. Две великолепной сохранности «губки» с кулак величиной. Три «зуды». Банка «газированной глины». В мешке ещё оставался тяжёлый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату, но Рэдрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе.

Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счёты. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за цифрой, выстраивая всё в три столбика, а потом просуммировал первые два. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал



«булавки» на бумагу. В электрическом свете «булавки» отливали синевой и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками — жёлтым, красным, зелёным. Он взял одну «булавку» и осторожно, чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но «булавка» молчала. Он отложил её в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться, и «булавка» заговорила: слабые красноватые вспышки пробежали по ней и вдруг сменились более редкими зелёными. Несколько секунд Рэдрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из «Докладов», должна была что-то означать, может быть, что-то очень важное, очень значительное, а потом положил «булавку» отдельно от первой и взял новую...

Всего «булавок» оказалось семьдесят три, из них говорили двенадцать, остальные молчали. На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Рэдрик снова зажёг свет и к уже написанным цифрам добавил ещё две. И только после этого он решился.

Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлёк и положил на стол мягкий свёрток. Некоторое время он смотрел на этот свёрток,

задумчиво почёсывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом всё-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал ещё одну сигарету и, не отрывая глаз от свёртка, выкурил её всю.

— Кой чёрт! — сказал он громко, решительно взял свёрток и сунул его обратно в мешок. — И всё. И хватит.

Он быстро ссыпал «булавки» обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчасика можно было ещё поспать, чтобы голова сделалась яснее, но, с другой стороны, гораздо полезней прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключив света, вышел из чулана.

Костюм уже был разложен на кровати, и Рэдрик принялся одеваться. Он завязывал галстук перед зеркалом, когда за его спиной тихонько скрипнули половицы, раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться.

— У! — крикнул вдруг рядом с ним тоненький голосок, и его схватили за ногу.

— Ах! — воскликнул Рэдрик, падая в обморок на кровать.

Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дёргали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завёлся котёнок, весь белый и с красными глазами, — наверное, не слушался маму и ходил в Зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять насосался и был больной, он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев пять, а рук две, а нос один?.. Рэдрик осторожно обнимал тёплое существо, ползающее по нему, вглядывался в огромные, сплошь тёмные, без белков, глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковистым пушком щёчке и повторял:

— Мартышка... Ах ты, Мартышка... Мартышка ты этакая...

Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он протянул руку и взял трубку.

— Слушаю.

Трубка молчала.

— Алло! — сказал Рэдрик. — Алло!

Никто не отзывался. Потом в трубке щёлкнуло, и раздались короткие гудки. Тогда Рэдрик поднялся, опустил Мартышку на пол и, уже больше не слушая её, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом, так что наконец ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое.

Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину с мешком в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте: «Я пошёл!»

— Когда вернёшься? — спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась, и на ней был не халат, а домашнее платье, самое его любимое — ярко-синее с большим вырезом.

— Я позвоню, — сказал он, глядя на неё, потом подошёл, наклонился и поцеловал в вырез.

— Иди уж, — тихо сказала Гута.

— А я? А меня? — заверещала Мартышка, пролезая между ними.

Пришлось наклониться ещё ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами.

— Чепуха, — сказал он. — Не беспокойся. Я позвоню.

На лестничной площадке этажом ниже Рэдрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с дверным замком у своей двери. Из тёмных недр квартиры тянуло тёплой кислятиной. Рэдрик остановился и сказал:

— Добрый день.

Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул.

— Ваша супруга ночью к нам заходила, — сказал Рэдрик. — Будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение.

— А мне-то что! — проворчал человек в пижаме.

— Жена вчера вечером стирала, — продолжал Рэдрик. — Если мы вас побеспокоили, прошу прощения.

— А я ничего не говорил, — сказал человек в пижаме. — Пожалуйста...

— Ну, я очень рад, — сказал Рэдрик.

Он спустился вниз, зашёл в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на неё старое сиденье, оглядел всё напоследок и вышел на улицу.

Идти было недалеко: два квартала до площади, потом через парк и ещё один квартал до Центрального проспекта. Перед «Метрополем», как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин, лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы, какие-то иностранного вида солидные люди группками по-двое, по-трое беседовали, дымя сигарами, на мраморной лестнице. Рэдрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском,

они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармонтски и пили тёмное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в десяти, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном на полу рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без двадцати девять.

Рэдрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро ссыпался по лестнице — маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благоустроенный, свежевымытый, решительно уверенный, что день не принесёт ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебросил свёрнутый плащ через правое плечо и подошёл к своему «пежо». «Пежо» у Дика был тоже округлый, коротенький, свежевымытый и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят.

Прикрывшись ладонью, Рэдрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивается на переднем сиденье за рулём, что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается за чем-то, поправляет зеркальце заднего вида. Потом «пежо» фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в институт, а значит, должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно, поэтому Рэдрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. «Пежо» пробибикал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал:

— Э! Шухарт! Рэд!

Выругавшись про себя, Рэдрик поднял голову. Нунан уже шёл к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял.

— Ты что здесь делаешь в такую рань? — спросил он подойдя. — Спасибо, мадам, — бросил он официантке. — Ничего не надо... — и снова Рэдрику: — Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?

— Да так... — неохотно сказал Рэдрик. — Больше по мелочам.

Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сандвичей в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает.

— Вид у тебя какой-то дохлый, недосыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой, но спать — нет, брат, сон для меня первое дело, провались она, эта автоматика... — Он вдруг огляделся. — Пардон, может, ты ждёшь кого-нибудь? Я не помешал?

— Да нет... — вяло сказал Рэдрик. — Просто время есть, дай, думаю, кофе хоть попью.

— Ну, я тебя надолго не задержу, — сказал Дик и посмотрел на часы. — Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи, возвращайся в институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому, прибыл недавно?

Рэдрик покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Второй Кирилл на свет ещё не народился... Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь всё автоматика, роботы в Зону ходят, премиальные, надо понимать, тоже роботы получают... А лаборантские гроши, мне их и на табак не хватит.

— Брось, всё это можно было бы устроить, — возразил Нунан.

— А я не люблю, когда для меня устраивают, — сказал Рэдрик. — Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.

— Гордый ты стал, — произнёс Нунан с осуждением.

— Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.

— Ну что ж, ты прав, — сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Рэдрика на стуле рядом, потёр пальцем серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами. — Всё правильно: деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать... Кирилл подарил? — Спросил он, кивая на портфель.

— В наследство достался, — сказал Рэдрик. — Что это тебя в «Боржче» не видно последнее время?

— Положим, это тебя не видно, — возразил Нунан. — Я-то там почти каждый день обедаю, здесь в «Метрополе» за каждую котлету так дерут... Слушай, — сказал он вдруг. — А как у тебя сейчас с деньгами?

— Занять хочешь? — спросил Рэдрик.

— Нет, наоборот.

— Одолжить, значит...

— Есть работа, — сказал Нунан.

— О господи! — сказал Рэдрик. — И ты туда же!

— А кто ещё? — сейчас же спросил Нунан.

— Да много вас таких... работодателей.

Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся.

— Да нет, это не по твоей основной специальности.

— А по чьей?

Нунан снова посмотрел на часы.

— Вот что, — сказал он поднимаясь. — Приходи сегодня в «Боржч» к обеду, часам к двум. Поговорим.

— К двум я могу не успеть, — сказал Рэдрик.

— Тогда вечером, часам к шести. Идёт?

— Посмотрим, — сказал Рэдрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять.

Нунан сделал ручкой и покатился к своему «пежо». Рэдрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Лайки страйк», расплатился и, взявши портфель, неторопливо пошёл через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Рэдрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило.

Такого с ним ещё никогда не было вне Зоны, да и в Зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него: резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжник, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твёрдым, в нём объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами, и через всё это приходилось протискиваться, как во сне через тёмную лавку старьёвщика, забитую старинной уродливой мебелью... Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и всё пропало. Это был не другой мир, это прежний знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной, сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться...

Над ухом рванул раздражённый сигнал, Рэдрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены «Метрополя». Сердце стучало бешено, он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после драки, и дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно:

— Вам помочь, мистер?

— Н-нет, — выдавил из себя Рэдрик и прокашлялся. — Душно...

— Может быть, проводить вас?

Рэдрик наклонился и поднял портфель.

— Всё, — сказал он. — Всё в порядке, приятель. Спасибо.

Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошёл в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться, но он уже и без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толкались в вестибюле. Костлявый был уже тут как

тут, с раздражённым видом копался в журналах у газетной стойки. Рэдрик бросил окурок в урну и вошёл в кабину лифта.

Он не успел закрыть дверь, и вместе с ним втиснулись какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушённая дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Рэдрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слюни, но личико было свежее, чистое, без единого волоска, и не видеть его мамашу, скудный бюст которой украшало ожерелье из крупных «чёрных брызг», оправленных в серебро, и не видеть выкаченных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутом рыле старухи. Толстяк попытался закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до пятого этажа, где она выкатилась, а как только она выкатилась, толстяк всё-таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы, и тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, поверблюжьи вытягивая губы и толкая Рэдрика в бок мучительно оттопыренным локтем...

На восьмом этаже Рэдрик вышел и двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озарённого уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по пятьсот монет за ночь, массивными золотыми портсигарами — всей этой дешёвкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на Зоне, пила от Зоны, жрала, хапала, жирела от Зоны, и на всё ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрётся, нахапает всласть, и всё, что было в Зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Рэдрик без стука толкнул дверь номера восемьсот семьдесят четыре.

Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был ещё в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачёсанными на пробор, нездоровое одутловатое лицо его было гладко выбрито.

— Ага, — произнёс он, не поднимая глаз. — Точность — вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик!

Он кончил отстригать у сигары кончик, взял её двумя руками, поднёс к усам и поводил носом вдоль неё взад и вперёд.

— А где же наш старый добрый Барбридж? — спросил он и поднял глаза. Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские.

Рэдрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты.

— Барбридж не придёт, — сказал он.

— Старый добрый Барбридж, — проговорил Хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно поднёс её ко рту. — У старого Барбриджа разыгрались нервы...

Он всё смотрел на Рэдрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся Костлявый.

— Кто был этот человек, с которым вы разговаривали? — спросил он прямо с порога.

— А, здравствуйте, — приветливо сказал ему Рэдрик, стряхивая пепел на пол.

Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными, скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Рэдриком.

— Мы же с вами сто раз говорили, — укоризненно произнёс он. — Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?

— Я здороваюсь, — сказал Рэдрик. — А вы?

Хрипатый рассмеялся, а Костлявый раздражённо сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте... — он перестал сверлить Рэдрика укоряющим взглядом и грохнулся рядом на диван. — Нельзя так делать, — сказал он. — Понимаете? Нельзя!

— Тогда назначайте мне свидания там, где у меня нет знакомых, — сказал Рэдрик.

— Мальчик прав, — заметил Хрипатый. — Наша промашка... Так кто был этот человек?

— Это Ричард Нунан, — сказал Рэдрик. — Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живёт здесь в отеле.

— Вот видишь, как просто! — сказал Хрипатый Костлявому, взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под статую Свободы, с сомнением посмотрел на неё и поставил обратно.

— А Барбридж где? — спросил Костлявый уже совсем дружелюбно.

— Накрылся Барбридж, — сказал Рэдрик.

Эти двое быстро переглянулись.

— Мир праху его, — сказал Хрипатый настороженно. — Или, может быть, он арестован?

Некоторое время Рэдрик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурок на пол и сказал:

— Не бойтесь, всё чисто. Он в больнице.

— Ничего себе чисто! — сказал Костлявый нервно, вскочил и прошёл к окну. — В какой больнице?

— Не бойтесь, — повторил Рэдрик. — В какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.

— В какой именно больнице? — уже раздражённо спросил Костлявый.

— Так я вам и сказал, — отозвался Рэдрик. Он взял портфель. — Будем мы сегодня делом заниматься или нет?

— Будем, будем, мой мальчик, — бодро сказал Хрипатый.

С неожиданной лёгкостью он соскочил на пол, быстро придвинул к Рэдрику журнальный столик, одним движением смахнул на ковёр кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки.

— Предъявляйте, — сказал он.

Рэдрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.

— Это счёт, — сказал Рэдрик.

— Вижу, — отозвался Хрипатый. — Предъявляйте, предъявляйте!

— Деньги, — сказал Рэдрик.

— Что это за «кольцо»? — подозрительно осведомился Костлявый, тыча пальцем в список через плечо Хрипатого.

Рэдрик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый наконец усмехнулся.

— И за что это я вас так люблю, мой мальчик? — проворковал он. — А ещё говорят, что любви с первого взгляда не бывает! — Он театрально вздохнул. — Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты, отслюни зелёненьких... и дай мне наконец спичку! Ты же видишь... — И он потряс сигарой, всё ещё зажатой в двух пальцах.

Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил ему коробок, а сам вышел в соседнюю комнату через дверь, задёрнутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает, раздражённо и невнятно, что-то насчёт кота в мешке, а Хрипатый, раскуривая наконец свою сигару, всё разглядывал Рэдрика в упор с застывшей улыбкой на тонких бледных губах и словно бы размышлял о чём-то, а Рэдрик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло как огнём и на глаза набегали слёзы. Потом Костлявый вернулся, бросил на столик две обандероленные пачки банкнот и, надувшись, сел рядом с Рэдриком.

Рэдрик лениво потянулся за деньгами, но Хрипатый жестом остановил его, ободрал с пачек бандероли и сунул их себе в карман пижамы.

— Теперь прошу, — сказал он.

Рэдрик взял деньги и, не считая, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый, и ещё из-за портьеры доносилось слабое звяканье вроде бы ложечки о край стакана.

Когда Рэдрик наконец закрыл портфель и защёлкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил:

— Ну а как насчёт главного?

— Никак, — ответил Рэдрик. Он помолчал и добавил: — Пока.

— Мне нравится это «пока», — ласково сказал Хрипатый. — А тебе, Фил?

— Темните, Шухарт, — сказал брюзгливо Костлявый. — А чего темнить, спрашивается?

— Специальность такая: тёмные делишки, — сказал Рэд. — Тяжёлая у нас с вами специальность.

— Ну хорошо, — сказал Хрипатый. — А где фотоаппарат?

— А, чёрт! — проговорил Рэдрик. Он потёр пальцами щёку, чувствуя, как краска заливает ему лицо. — Виноват, — сказал он. — Начисто забыл.

— Там? — спросил Хрипатый, делая неопределённое движение сигарой.

— Не помню... Наверное, там... — Рэдрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. — Нет. Начисто не помню.

— Жаль, — сказал Хрипатый. — Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?

— Да нет же, — с досадой сказал Рэдрик. — В том-то всё и дело. Мы же не дошли до кауперов. Барбридж вляпался в «студень», и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли... Уж будьте уверены, если бы я её увидел, я бы не забыл...

— Слушай-ка, Хью, посмотри! — испуганным шёпотом произнёс вдруг Костлявый. — Что это, а?

Он сидел, напряжённо вытянув перед собой указательный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и Костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.

— Он не останавливается! — громко сказал Костлявый, переводя круглые глаза с обруча на Хрипатого и обратно.

— Что значит не останавливается? — осторожно спросил Хрипатый и чуть отодвинулся.

— Я надел его на палец и крутанул разок просто так..., и он уже целую минуту не останавливается!

Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблёскивая, мерно крутился перед ним, как самолётный пропеллер.

— Что это вы нам принесли? — спросил Хрипатый.

— Чёрт его знает! — сказал Рэдрик, — я и не знал... Знал бы, содрал бы побольше.

Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Рэдрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно сногсшибательных красоток, но почему-то было сейчас тошно смотреть на них. Рэдрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлёк из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Всё было правильно, но, чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал её в карман, вернулся Хрипатый.

— Вам везёт, мой мальчик, — объявил он, снова усаживаясь напротив Рэдрика. — Знаете, что такое перпетуум мобиле?

— Нет, — сказал Рэдрик. — У нас этого не проходили.

— И не надо, — сказал Хрипатый. Он вытащил ещё одну пачку банкнот. — Это цена первого экземпляра, — произнёс он, обдирая с пачки бандероль. — За каждый новый экземпляр этого вашего кольца вы будете получать по две такие пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что, кроме нас с вами, никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились?

Рэдрик молча засунул пачку в карман и поднялся.

— Я пошёл, — сказал он. — Когда и где в следующий раз?

Хрипатый тоже поднялся.

— Вам позвонят, — сказал он. — Ждите звонка каждую пятницу с девяти до девяти тридцати утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание.

Рэдрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.

— Я хотел бы, чтобы вы поняли, — продолжал он. — Всё это хорошо, очень мило и так далее, а «кольцо» — так это просто чудесно, но прежде всего нам нужны две вещи: фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой плёнкой, и наш

фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный, и вам больше никогда не придётся ходить в Зону...

Рэдрик, шевельнув плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и всё время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с восьмого этажа пешком.

Выйдя из «Метрополя», он взял такси и поехал на другой конец города. Шофёр попался незнакомый, из новичков, носатый прыщавый малец, один из тех, кто валом валил в Хармонт в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии, валили валом, да так и осели шофёрами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами, алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убеждённые, что здесь их снова обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое своё разочарование чуть ли не во все страны света; считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чём разобраться. Некоторым удавалось поступить в институт, самым толковым и грамотным, годным хотя бы на должность препаратора, а остальные вечера напролёт просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке, совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов.

От прыщавого шофёра на версту несло перегаром, глаза у него были красные, как у кролика, но он был страшно возбуждён и с ходу принялся рассказывать Рэдрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришёл, значит, в свой дом, а дом-то уже сколько лет заколочен, все оттуда уехали — и вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад, ещё до Посещения, а теперь вот привет! — припёрся. Походил-походил вокруг дома, поскрёбся, потом уселся у забора и сидит. Народу набежало со всего квартала, смотрят, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался: взломали дверь в его доме, открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошёл, и дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать, не знаю, чем там дело кончилось, знаю только, что собирались в институт звонить, чтобы забрали его от нас к чёртовой бабушке.

— Стоп, — сказал Рэдрик. — Останови вот здесь.

Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новую банкноту. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси

уедет. Коттеджик у Стервятника был неплохой: два этажа, застеклённый флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого узорная железная решётка, выкрашенная светло-зелёной масляной краской. Рэдрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с лёгким скрипом отворилась, и Рэдрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял Суслик, скрюченный, чёрно-багровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустил со ступеньки одну судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом всё дёргал, дёргал в сторону Рэдрика здоровой рукой: сейчас, мол, сейчас...

— Эй, Рыжий! — позвал из сада женский голос.

Рэдрик повернул голову и увидел среди зелени рядом с белой ажурной крышей беседки голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул Суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты, по мягкой зелёной траве направился к беседке.

На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме; рядом валялась книжка в пёстрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояло блестящее ведёрко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.

— Здорово, Рыжий! — сказала Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. — А где же папахен? Неужели опять засыпался?

Рэдрик подошёл и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на неё сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в Зоне выпросил на славу. Вся она была атласная, пышно-плотная, без единого изъяна, без единой лишней складки — полтораста фунтов двадцатилетней лакомой плоти, и ещё изумрудные глаза, светящиеся изнутри, и ещё большой влажный рот и ровные белые зубы, и ещё вороные волосы, блестящие под солнцем, небрежно брошенные на одно плечо, и солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бёдра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал её, а она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехаясь, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.

— Хочешь? — сказала она, облизывая губы, и подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан.

Он отвернулся, поискал глазами и, обнаружив в тени шезлонг, уселся и вытянул ноги.

— Барбридж в больнице, — сказал он. — Ноги ему отрежут.

По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо, только улыбка её сделалась неподвижной, сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдинок о стенки, и спросила:

— Обе ноги?

— Обе. Может быть, до колен, а может быть, и выше.

Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась.

— Жаль, — проговорила она. — А ты, значит...

Именно ей, Дине Барбридж, он мог бы подробно рассказать, как всё это случилось и как всё это было. Наверное, он мог бы ей рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет, и как Барбридж просил, не за себя просил даже, за детей, за неё и за Арчи, и сулил Золотой шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил её на красный мат, прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.

— Последняя получка, значит, — проговорила она.

Рэдрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведёрка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По тёмному стеклу стекала вода, и Рэдрик отвёл бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогого виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он оглянулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит Суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его чёрно-багровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит, и увидев, что Рэдрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот.

— Жду, жду, — сказал ему Рэдрик и сунул бутылку обратно в лёд.

Суслик подковылял наконец, подал Рэдрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой.

— Спасибо, Диксон, — серьёзно сказал Рэдрик. — Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон.

И пока Суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Рэдрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину.

— Хочешь? — сказал он, показывая ей стакан.

Она не ответила. Она складывала ассигнацию пополам, и ещё раз пополам, и ещё раз пополам.

— Брось, — сказал он. — Не пропадёт. У твоего папаши...

Она перебила его:

— А ты его, значит, тащил, — сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. — Пёр его, дурак, через всю Зону, кретин рыжий, пёр на хребте эту сволочь, слюнтяй. Такой случай упустил...

Он смотрел на неё, забыв о стакане, а она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, загородив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом.

— Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца... По костям вашим, по вашим башкам безмозглым... Погоди, погоди, он ещё на костылях по вашим черепушкам походит, он вам ещё покажет братскую любовь и милосердие! — Она уже почти кричала. — Золотой шар небось тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван! Кретин! По роже твоей конопатой вижу, что обещал... Погоди, он тебе ещё даст карту, упокой, господи, глупую душу рыжего дурака Рэдрика Шухарта...

Тогда Рэдрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощёчину, и она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная, на траву и уткнула лицо в ладони.

— Дурак... рыжий... — невнятно проговорила она. — Такой случай упустил... такой случай...

Рэдрик, глядя на неё сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его Суслику. Говорить здесь было больше не о чём. Хороших деток вымолил себе Стервятник Барбридж в Зоне! Любящих и почтительных!

Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к «Боржчу». Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо, перед глазами всё плыло, и он таки заснул, навалившись на портфель всем телом, и проснулся, только когда шофёр потряс его за плечо.

— Приехали, мистер...

— Где это мы? — проговорил он, спросонья озираясь. — Я же тебе велел в банк...

— Никак нет, мистер, — осклабился шофёр. — Велели к «Боржчу». Вот вам «Боржч».

— Ладно, — проворчал Рэдрик. — Приснилось что-то...

Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затёкшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем, стало очень жарко. Рэдрик почувствовал, что он весь мокрый, во рту было гадко, глаза слезились. Прежде чем войти, он огляделся. Улица перед «Боржчем», как всегда в этот час, была пустынной. Заведения, напротив, ещё не открывались, да и сам «Боржч» был, собственно, закрыт, но Эрнест был уже на посту, протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трёх каких-то типов, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков ещё не были сняты перевёрнутые стулья, незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и ещё один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Рэдрик подошёл к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое.

— Пива налей, — сказал Рэдрик и судорожно зевнул.

Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил её и наклонил над кружкой. Рэдрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Рэдрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжёлые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлён, толстые щёки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Рэдрика, типы в углу азартно и злобно спорили о бегах, негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил:

— Принёс?

— Что принёс? — Рэдрик оглянулся через плечо.

Один из типов лениво поднялся из-за столика, пошёл к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.

— Пойдём потолкуем, — сказал Эрнест.

Негр со шваброй теперь тоже стоял между Рэдриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.

— Пойдём, — сказал Рэдрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу.

Он зашёл за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищемил, видно, себе палец, облизывал ноготь, исподлобья разглядывая Рэдрика. Тоже очень крепкий негр, с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошёл в заднюю комнату, и Рэдрик последовал за ним, потому что теперь уже все трое типов стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад.

В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены, а из-за стола поднялся капитан Квотерблад, жёлтый и скорбный, а откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Рэдрика за бока и провёл огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлёк кастет и легонько подтолкнул Рэдрика к капитану. Рэдрик подошёл к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.

— Что же ты, зараза! — сказал он Эрнесту.

Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Всё было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решёткой.

Капитан Квотерблад, с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол: «пустышки» малые — две штуки; «батарейки» — девять штук; «чёрные брызги» разных размеров — шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; «губки» прекрасной сохранности — две штуки; «газированной глины» — одна банка...

— В карманах есть что-нибудь? — тихо произнёс капитан Квотерблад. — Выкладывайте...

— Гады, — сказал Рэдрик. — Зар-разы.

Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны.

— Ого! — произнёс капитан Квотерблад. — Ещё?

— Жабы вонючие! — заорал Рэдрик, выхватил из кармана вторую пачку и с размаху швырнул её себе под ноги. — Жрите! Подавитесь!

— Очень интересно, — произнёс капитан Квотерблад спокойно. — А теперь подбери всё это.

— Бог подаст! — сказал ему Рэдрик, закладывая руки за спину. — Холуи твои подберут. Сам подберёшь!

— Подбери деньги, сталкер, — не повышая голоса, сказал капитан Квотерблад, упираясь кулаками в стол и весь подавшись вперёд.

Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза, потом Рэдрик, бормоча ругательства, опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а ооновец злорадно фыркнул.

— Не фыркай, ты! — сказал ему Рэдрик. — Сопля вылетит!

Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, всё ближе подбираясь к тёмному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно; он всё выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства, все, какие мог

вспомнить, и ещё те, которые придумывал на ходу, а когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх, и распахнувшаяся крышка люка ещё не успела грохнуться об пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряжённые руки, в сырую холодную тьму винного погреба.

Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дёргая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него; оскальзываясь, взбежал по невидимым ступенькам, всем телом вышиб обитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазами плыли кровавые пятна, сердце тяжёлыми болезненными толчками било в самое горло, но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лёг на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвётся что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но воя патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал ещё быстрее, распугивая шарахающихся ребятишек, ныряя под развешанное бельё, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблад не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах он играл ещё мальчишкой, везде у него здесь были знакомые и даже друзья, и при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю, но не для того он совершил дерзкий побег из-под ареста — из-под носа у капитана Квотерблада, разом заработав себе лишних двенадцать месяцев.

Ему здорово повезло. По Седьмой улице валило, горланя и пыля, очередное шествие какой-то лиги, человек двести, таких же растерзанных и неопрятных, как и он сам, и даже хуже, будто все они тоже только что продирались через лазы в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да, вдобавок, ещё предварительно провели бурную ночку на угольном складе. Он вынырнул из подворотни, с ходу врезался в эту толпу и наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова

нырнул в подворотню как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблад не мог знать, в каком именно.

Он вышел на свой гараж со стороны склада радиотоваров, и ему пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлых кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на корточки, прислонившись спиной к жёсткой штукатурке брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик, и думал, думал, думал, а когда автокар с рабочими, гудя, укатил в подворотню, он засмеялся и негромко сказал ему вслед: «Спасибо вам, ребята, задержали дурака... дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в Зоне.

Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка свёрток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потёртую кожанку, нашёл в углу замасленное кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок, во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он приник глазом к самой широкой щели и некоторое время смотрел, как Мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бегает вокруг новых качелей, а три старухи соседки с вязанием на коленях сидят тут же на скамеечке и смотрят на неё, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими паршивыми мнениями, старые кочерыжки. А ребятишки ничего, играют с ней как ни в чём не, бывало, не зря же он к ним подлизывался, как умел, — и горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели... И скамейку эту, на которой расселись старые кочерыжки, тоже он сделал. «Ладно», — сказал он одними губами, оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз.

На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает кто теперь здесь ею пользовался, вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Рэдрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завёрнутого в эту бумагу; оцинкованная

коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами: тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез в пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова задёргало щёку.

— Шухарт, — пробормотал он, не слыша своего голоса. — Что же ты, зараза, делаешь? Падаль ты, они же этой штукой всех нас передушат... — Он прижал пальцами дёргающуюся щеку, но это не помогло. — Гады, — сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. — Попались же вы мне на дороге... Кинул бы её, стерву, обратно в Зону, и концы в воду...

Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чёртики. Он был один.

— Ладно, — сказал он решительно. — Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит...

Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на колени и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый свёрток лёг на дно ямки, и ещё осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал её двумя руками и поднялся, отряхивая ладони.

— И всё, — сказал он. — И никаких.

Он забрался в раскалённую духоту будки, опустил монету и набрал номер.

— Гута, — сказал он. — Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался.

Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил:

— Да ерундистика это всё, месяцев шесть-восемь... и со свиданиями... Переживём. А без денег ты не будешь, деньги тебе пришлют... — Она всё молчала. — Завтра утром тебя вызовут в комендатуру, там увидимся. Мартышку приведи.

— Обыска не будет? — спросила она глухо.

— А хоть бы и был. Дома всё чисто. Ничего, держи хвост трубой... Уши торчком, хвост пистолетом. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну, до завтра... Имей в виду, я тебе не звонил. Целую в носик.

Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

— Слушаю вас, — сказал Хрипатый.

— Говорит Шухарт, — сказал Рэдрик. — Слушайте внимательно и не перебивайте...

— Шухарт? — очень натурально удивился Хрипатый. — Какой Шухарт?

— Не перебивайте, я говорю! Я попался, бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года два с половиной или три. Жена остаётся без денег. Вы её обеспечите. Чтобы она ни в чём не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю?

— Продолжайте, — сказал Хрипатый.

— Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибётесь. Фарфор лежит под ней. Хотите берите, хотите нет, но жена моя чтобы ни в чём не нуждалась. Нам с вами ещё работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто... Я вам не советую играть нечисто. Понятно?

— Я всё понял, — сказал Хрипатый. — Спасибо. — Потом, помедлив немного, спросил: — Может быть, адвоката?

— Нет, — сказал Рэдрик. — Все деньги до последнего медяка — жене. С приветом.

Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошёл вверх по Горняцкой улице между пустыми, заколоченными домами.

3. Ричард Г. Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Хармонтском филиале МИВК

Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чёртиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивал лысой головой и не слушал посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пильман, лениво делал ему выговор. Или воображал, что делает ему выговор. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему выговор.

— Мы всё это учтём, — сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного счёта чёртика и захлопнув блокнот. — В самом деле, безобразие...

Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу.

— И что же именно вы учтёте? — вежливо осведомился он.

— А всё, что вы сказали, — весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. — До последнего слова.

— А что я сказал?

— Это несущественно, — произнёс Нунан. — Что бы вы ни сказали, всё будет учтено.

Валентин (доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии и всё такое прочее) сидел перед ним в глубоком кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке ни пятнышка, на поддёрнутых брюках ни морщинки; ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах ехидная улыбочка, огромные чёрные очки скрывают глаза, над широким низким лбом чёрные волосы жёстким ёжиком.

— По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалование, — сказал он. — Мало того, по-моему, вы ещё и саботажник, Дик.

— Чш-ш-ш! — произнёс Нунан шёпотом. — Ради бога, не так громко.

— В самом деле, — продолжал Валентин. — Я довольно давно слежу за вами: по-моему, вы совсем не работаете...

— Одну минутку! — прервал его Нунан и помахал розовым толстым пальцем. — Как это не работаю? Разве хоть одна рекламация осталась без последствий?

— Не знаю, — сказал Валентин и снова стряхнул пепел. — Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще, а при чём здесь вы, не знаю.

— А вот если бы не я, — возразил Нунан, — хорошее приходило бы реже. Кроме того, вы, учёные, всё время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации, и кто вас тогда покрывает? Вот, например...

Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.

— Мистер Нунан? — спросила секретарша. — Вас снова господин Лемхен.

— Соединяйте.

Валентин поднялся, положил потухший окурок в пепельницу, в знак прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел, маленький, прямой, складный.

— Мистер Нунан? — раздался в трубке знакомый медлительный голос.

— Слушаю вас.

— Не легко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.

— Пришла новая партия...

— Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече.

Имеются в виду последние контракты «Мицубиси дэнси». Юридическая сторона.

— К вашим услугам.

— Тогда, если вы не возражаете, минут через тридцать в конторе нашего отделения. Вас устраивает?

— Вполне. Через тридцать минут.

Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошёлся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же пустил петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приёмную.

— Детка, — сказал он секретарше, — меня понесло по клиентам. Оставайтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку.

Секретарша расцвела. Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам института. Несколько раз его пытались поймать за полу, он увёртывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться, и в конце концов, так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного сержанта.

Над городом висели низкие тучи, парило, первые неуверенные капли чёрными звёздочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлёк чёрную круглую палочку этака, вставил её в аккумуляторное гнездо и задвинул большим пальцем до щелчка. Потом, поёрзав задом, он поудобнее устроился за рулём и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понёсся к выходу из предзонника.

Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. Итак, рапорт получен, думал он. Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно когда хвалит сам господин Лемхен, через силу. Странное дело, почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? «Он прославился: теперь о нём знали трое». Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человек!.. Похоже, мы любим похвалу как таковую. Как детишки мороженое. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что, я сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А кстати, что такое это «Г»? Вот

тебе и на! И спросить не у кого... Не у господина же Лемхена спрашивать... А, вспомнил! Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льёт!

Он вывернул на Центральный проспект и вдруг подумал: до чего сильно вырос городишко за последние годы!.. Экие небоскрёбы отгрохали... Вот ещё один строят. Это что же у нас будет? А, луна-комплекс: лучшие в мире джазы, и варьете, и прочее всё для нашего доблестного гарнизона и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки... А окраины пустеют.

Да, хотел бы я знать, чем всё это кончится. Между прочим, десять лет назад я совершенно точно знал, чем всё это должно кончиться. Непреодолимые кордоны. Пояс пустоты шириной в пятьдесят километров. Учёные и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле планеты заблокирована намертво... И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты!.. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселём. «С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться». А началось это, кажется, когда сталкеры вынесли из Зоны первые «этаки». Батарейки... Да, кажется, с этого и началось. Особенно когда открылось, что они размножаются. Язва оказалась не такой уж и язвой, и даже не язвой вовсе, а вроде бы сокровищницей... А теперь уже никто и не знает, что это такое — язва ли, сокровищница, адский соблазн, шкатулка Пандоры, чёрт, дьявол... Пользуются помаленьку. Двадцать лет пыхтят, миллиарды ухлопали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а учёные лбы с важным видом вещают: с одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучён рентгеном под углом восемнадцать градусов, испускает квазитепловые электроны под углом двадцать два градуса... К дьяволу! Всё равно до самого конца мне не дожить...

Машина катилась мимо особняка Стервятника Барбриджа. Во всех окнах по случаю проливного дождя горел свет, видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах красотки Дины, движутся танцующие пары. Не то спозаранку начали, не то со вчерашнего никак кончить не могут. Мода такая пошла по городу: сутками напролёт. Крепких мы вырастили молодцов, выносливых и упорных в своих намерениях...

Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корш, Корш и Саймак». Он вынул и спрятал в карман «этак», снова натянул на голову плащ,

подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное мимо швейцара, углублённого в газету, по лестнице, покрытой потёртым ковром, застучал каблуками по тёмному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в своё время напрасно тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошёл в приёмную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет.

Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное генеральское лицо его собралось в складки, означающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть, с трудом обуздываемое желание чихнуть.

— Ну вот и вы, — медлительно проговорил он. — Входите, располагайтесь.

Нунан поискал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жёсткого стула с прямой спинкой, упрятанного за стол. Тогда он присел на край стола. Весёлое настроение его начало почему-то улетучиваться, он и сам не понимал ещё, почему. Вдруг ему стало ясно, что хвалить его не будут. Скорее наоборот. День гнева, философически подумал он и приготовился к худшему.

— Закуривайте, — предложил господин Лемхен, снова опускаясь в кресло.

— Спасибо, не курю.

Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения, соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.

— Полагаю, юридические дела фирмы «Мицубиси дэнси» мы обсуждать с вами не будем, — проговорил он наконец.

Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал:

— Как вам будет угодно!

Сидеть на столе было чертовски неудобно, ноги не доставали до полу.

— С сожалением должен сообщить вам, Ричард, — сказал господин Лемхен, — что ваш рапорт произвёл наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.

— Гм... — произнёс Нунан. Начинается, подумал он.

— Вас даже собирались представить к ордену, — продолжал господин Лемхен, — однако я предложил повременить. И правильно сделал. — Он наконец оторвался от созерцания фигуры из десяти пальцев и посмотрел исподлобья на Нунана. — Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность...

— Наверное, у вас были к тому основания, — скучным голосом сказал Нунан.

— Да, были. Что получалось из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована. Вашими усилиями. Группа «Зелёный цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа. Тоже ваша. Группы «Варр», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это всё на самом деле так и было, всё подтверждается перекрёстной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?

— Во всяком случае, — осторожно начал Нунан, — последние три месяца утечка материалов из Зоны через Хармонт прекратилась... По крайней мере, по моим сведениям, — добавил он.

— Противник отступил, не так ли?

— Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.

— Не так! — сказал господин Лемхен. — Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твёрдо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.

Да провались они, твои награды, думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. В паутину... на чердак я твои награды вешал! Тоже мне моралист, воспитатель! Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело, нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно: где, как и что я прошлёпал... Что эти негодяи откололи ещё... где, как и какие нашли щели... и без предисловий, я тебе не приготовишка сопливый, мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих орденов сижу...

— Что вы слышали о Золотом шаре? — спросил вдруг господин Лемхен.

Господи, с раздражением подумал Нунан, Золотой-то шар здесь при чём? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать...

— Золотой шар есть легенда, — скучным голосом доложил он. — Мифическое сооружение в Зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.

— Любых?

— В соответствии с каноническим текстом легенды — любых. Существуют, однако, варианты...

— Так, — произнёс господин Лемхен. — А что вы слышали о «смерть-лампе»?

— Восемь лет назад, — скучным голосом затянул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман, по кличке Очкарик, вынес из Зоны некое устройство, представляющее собою, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик предлагал этот агрегат институту. В цене они не сошлись, Очкарик ушёл в Зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время — неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.

— Всё? — спросил господин Лемхен.

— Всё, — ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная, смотреть было не на что.

— Так, — сказал Лемхен. — А что вы слышали о «рачьем глазе»?

— О каком глазе?

— О рачьем. Рак. Знаете? — Господин Лемхен постриг воздух двумя пальцами. — С клешнями.

— В первый раз слышу, — сказал Нунан, нахмурившись.

— Ну а что вы знаете о «гремучих салфетках»?

Нунан слез со стола и встал перед Лемхеном, засунув руки в карманы.

— Ничего не знаю, — сказал он. — А вы?

— К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о «рачьем глазе», ни о «гремучих салфетках». А между тем они существуют.

— В моей Зоне? — спросил Нунан.

— Вы сядьте, сядьте, — сказал господин Лемхен, помахивая ладонью. — Наш разговор только начинается. Сядьте.

Нунан обогнул стол и уселся на жёсткий стул с высокой спинкой.

Куда гнёт? — лихорадочно думал он. — Что ещё за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других Зонах, а он меня разыгрывает, скотина. Всегда он меня не любил, старый чёрт, не может забыть того стишка...

— Продолжим наш маленький экзамен, — объявил Лемхен, отогнул портьеру и выглянул в окно. — Льёт, — сообщил он. — Люблю. — Он отпустил портьеру, откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил: — Как поживает старый Барбридж?

— Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается. С Зоной не связан. Содержит четыре бара, танцкласс и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь, Дина, ведёт рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж.

Господин Лемхен удовлетворённо покивал.

— Отчётливо, — похвалил он. — А что поделывает Креон Мальтиец?

— Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой «Квазимодо», теперь сбывает хабар институту, через меня. Я держу его на свободе: когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьёт и, боюсь, долго не протянет.

— Контакты с Барбриджем?

— Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.

— Очень хорошо, — сказал господин Лемхен. — А что слышно о Рыжем Шухарте?

— Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался эмигрировать, но у него... — Нунан помолчал. — Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до Зоны.

— Всё?

— Всё.

— Немного, — сказал господин Лемхен. — А как обстоят дела у Счастливчика Картера?

— Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от «этаков». Четверо детей, жена умерла год назад. Тёща.

Лемхен покивал.

— Ну кого из стариков я ещё забыл? — добродушно осведомился он.

— Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина...

— Да-да, что Гуталин?

— Гуталин всё тот же, — сказал Нунан. — У него группа из трёх человек. Неделями пропадают в Зоне. Всё, что находят, уничтожают на месте. А его общество Воинствующих Ангелов распалось.

— Почему?

— Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в Зону. Дьяволово дьяволу. Теперь скупать стало нечего, а кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.

— Понимаю, — сказал господин Лемхен. — Ну а молодые?

— Что же, молодые... приходят и уходят, есть человек пять-шесть с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю... Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей Зоне практически покончено. Старики сошли, молодёжь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идёт техника, сталкеры-автоматы.

— Да-да, я слыхал об этом, — сказал господин Лемхен. — Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь?

— Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать.

— Как скоро?

— Лет через пять-шесть...

Господин Лемхен снова покивал.

— Между прочим, вы, наверное, ещё не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.

— В моей Зоне? — повторил Нунан, насторожившись.

— И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолётах через горы в Змеиное ущелье, на Чёрное озеро, к подножию пика Болдер...

— Так ведь это же периферия, — сказал Нунан недоверчиво. — Там пусто, что они там могут найти?

— Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это я для справки, это вас не касается... Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Хармонте почти не осталось. Те, что остались, к Зоне больше отношения не имеют. Молодёжь растерянна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залёг где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из хармонтской Зоны уже три месяца как прекратилась. Так?

Нунан молчал. Сейчас, думал он. Сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видно, пробоина. Ну, давай, давай, старая морковка!.. Не тяни душу...

— Не слышу ответа, — произнёс господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.

— Ладно, шеф, — мрачно сказал Нунан. — Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили, подавайте на стол.

Господин Лемхен неопределённо хмыкнул.

— Вам даже нечего мне сказать, — проговорил он с неожиданной горечью. — Ушами вот хлопаете перед начальством, а каково же было мне, когда позавчера... — Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрёл по кабинету к сейфу. — Короче говоря, за последние два месяца, только по имеющимся сведениям, комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных Зон. — Он остановился около сейфа, погладил его по крашеному боку и резко повернулся к Нунану. — Не тешьте себя иллюзиями! — заорал он. — Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки пальцев Мальтийца! Отпечатки пальцев Носатого Бен-Галеви, о котором вы даже не сочли нужным упомянуть! Отпечатки пальцев Гундосого Гереша и Карлика Цмыга! Так-то вы приручаете вашу молодёжь! «Браслеты»! «Иголки»! «Белые вертячки»! И мало того, какие-то «рачьи глаза», какие-то «сучьи погремушки», «гремучие салфетки», чёрт бы их подрал! — Он снова оборвал себя, вернулся в кресло, опять соединил пальцы и вежливо спросил: — Что вы об этом думаете, Ричард?

Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.

— Ничего не думаю, — просипел он честно. — Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться... Барбридж! Барбридж не имеет никакого отношения к Зоне! Я знаю каждый его шаг! Он устраивает попойки и пикники на озёрах, он зашибает хорошие деньги, и ему просто не нужно... Простите, я чепуху, конечно, говорю, но, уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы...

— Я вас больше не задерживаю, — сказал господин Лемхен. — Даю неделю сроку. Представьте соображения, каким образом материалы из вашей Зоны попадают в руки Барбриджа... и всех прочих. До свидания!

Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхена и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приёмную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана, глаза у него были пустые, обращённые внутрь.

Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошёл вон. Такого со мной, пожалуй, ещё не, бывало, — беспорядочно думал он. Надо же, Носатый Бен-Галеви! Кличку уже успел заработать... Когда? Этакий мальчишка, соплёй перешибить можно... Нет, всё это не то... Ах ты, животина безрогая, Стервятник! Как же ты меня уел! Без штанов ведь пустил, как маленького... Как же

это могло случиться? Этого же просто не могло случиться! Прямо как тогда, в Сингапуре, — мордой об стол, затылком об стену...

Он сел в автомобиль и некоторое время, ничего не соображая, шарил по щитку в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени, он снял её и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану представлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане «этак». Вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, чтоб ты треснул, и вставить в приёмное гнездо, и тогда можно будет по крайней мере куда-нибудь поехать подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква...

Рука Нунана с «этаком» замерла на полпути. Так. С кого начать я по крайней мере знаю. Вот с него и начну. Ох как я с него начну! Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием. Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти никого, не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь. Ничего. Пусть как в Сингапуре. В конце концов в Сингапуре ведь всё кончилось благополучно... Подумаешь, разок мордой об стол! Могло быть и хуже. Могло быть не мордой и не об стол, а об что-нибудь с гвоздями... Ладно, не будем отвлекаться. Где тут моё заведеньице? Не видно ни черта... Ага, вот оно.

Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой «Метрополь». Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещённый холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, ещё без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась Мадам; пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле ещё даже не убирали после вчерашнего. Когда Нунан вошёл, Мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.

— Хо! — пробасила она. — Никак сам господин Нунан! По девочкам соскучились?

Бенни продолжал жрать, он был глух как пень.

— Привет, старушка! — отозвался Нунан, подходя. — Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?

Бенни наконец заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.

— Здравствуйте, хозяин! — прохрипел он. — Обсушиться зашли?

Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не любил разговаривать с Бенни: всё время приходилось орать.

— Где мой управляющий, ребята? — спросил он.

— У себя, — ответила Мадам. — Завтра налоги платить.

— Ох уж эти налоги! — сказал Нунан. — Ладно. Мадам, попрошу приготовить моё любимое, я скоро вернусь.

Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошёл по коридору мимо задёрнутых портьерами стойл, на стенке возле каждого стойла красовалось изображение какого-нибудь цветка, — свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь.

Мосол Катюша восседал за столом и рассматривал в зеркальце зловещую болячку на носу. Плевать ему было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка с ртутной мазью и стакан с прозрачной жидкостью. Мосол Катюша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчёт проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал:

— Закрой-ка дверь на ключ, голубчик.

Мосол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щёлкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой возвышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан всё рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Мосла Катюши — Рафаэль. Мослом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные и голые, торчащие из густой шерсти, покрывавшей его руки, словно из манжет. Катюшей же он называл себя сам в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнём.

— Как дела? — спросил он ласково.

— В полном порядке, босс, — поспешно ответствовал Рафаэль-Мосол.

— Тот скандал уладил в комендатуре?

— Сто пятьдесят монет выложил. Все довольны.

— Сто пятьдесят с тебя, — сказал Нунан. — Твоя вина, голубчик. Надо было следить.

Мосол сделал несчастное лицо и с покорностью развёл огромные ладони.

— Паркет в холле надо бы перестелить, — сказал Нунан.

— Будет сделано.

Нунан помолчал, топорща губы.

— Хабар? — спросил он, понизив голос.

— Есть немножко, — тоже понизив голос, произнёс Мосол.

— Покажи.

Мосол кинулся к сейфу, достал свёрток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке «чёрных брызг», взял «браслет», оглядел его со всех сторон и положил обратно.

— Это всё? — спросил он.

— Не несут, — виновато сказал Мосол.

— Не несут... — повторил Нунан.

Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Мослу в голень. Мосол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, отшвырнул кресло, схватил Мосла за воротник сорочки и пошёл на него, лягаясь, вращая глазами и шепча ругательства. Мосол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.

— На две стороны работаешь, стерва? — шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза. — Стервятник в хабаре купается, а ты мне бусики в бумажечке подносишь?.. — Он развернулся и ударил Мосла по лицу, стараясь зацепить нос с болячкой. — В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь... Сухари жрать будешь... Жалеть будешь, что на свет родился! — он снова с размаху ткнул кулаком в Болячку. — Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несёт? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свинья волосатая? Говори!

Мосол беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.

— Ну? — сказал он.

Мосол с хлюпаньем втянул носом кровь и сказал:

— Ей-богу, босс... Чего вы? Какой у Стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету...

— Ты что, спорить со мной будешь? — ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.

— Да нет, босс... Ей-богу... — заторопился Мосол. — Да провалиться мне! Какое там спорить! И в мыслях этого нету...

— Вышвырну я тебя, — мрачно произнёс Нунан. — Работать не умеешь. На кой чёрт ты мне, такой-сякой, сдался? Я таких, как ты, на четвертак десяток наберу. Мне настоящий человек нужен при деле.

— Погодите, босс, — рассудительно сказал Мосол, размазывая кровь по лицу. — Что это вы сразу, с налёту?.. Давайте всё-таки разберёмся... — Он осторожно потрогал болячку кончиком пальца. — Хабара, говорите, много у Барбриджа? Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Ни у кого сейчас хабара нет. В Зону ведь одни сопляки ходят, так они же не возвращаются. Нет, босс, это вам кто-то врёт...

Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Мосол действительно ничего не знает. Да ему и не выгодно было лгать, на Стервятнике много не заработаешь.

— Эти пикники — выгодное дело? — спросил он.

— Пикники? Да не так чтобы очень. Лопатой не загребёшь... Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось...

— Где эти пикники устраиваются?

— Устраиваются где? Так в разных местах. У Белой горы, на Горячих источниках бывают, на Радужных озёрах...

— А какая клиентура?

— Клиентура какая? — Мосол шмыгнул носом, поморгал и сказал доверительно: — Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против Стервятника вам здесь не посветит.

— Это почему же?

— У Стервятника клиентура: голубые каски — раз, — Мосол принялся загибать пальцы, — офицеры из комендатуры — два, туристы из «Метрополя», из «Белой лилии», из «Пришельца» ... это три. Потом у него уже реклама поставлена, местные ребята тоже к нему ходят... Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочек он нам платит не то, чтобы богато...

— Местные тоже к нему ходят?

— Молодёжь, в основном.

— Ну и что там, на пикниках, делается?

— Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музычка... Ну и каждый развлекается, как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на Зону смотреть. Ежели у Горячих источников, то до Зоны там рукой подать, прямо за Серной расщелиной... Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они и смотрят в бинокли...

— А местные?

— Местные? Местным это, конечно, не интересно... Так, развлекаются, кто как умеет...

— А Барбридж?

— Так, а что Барбридж? Как все, так и Барбридж...

— А ты?

— А что я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и... это... ну, там... Ну, как все, в общем.

— И сколько это всё продолжается?

— Когда как. Когда трое суток, а когда и всю неделю.

— И сколько это удовольствие стоит? — спросил Нунан, думая совсем о другом.

Мосол ответил что-то, Нунан его не слышал. Вот она, прореха, думал он. Несколько суток... несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью. И всё-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина... Нет, тут что-то не то...

— Кто из местных ездит постоянно?

— Из местных? Так я ж говорю, больше молодёжь. Ну там Галеви, Ражба... Курёнок Цапфа... этот Цмыг... Ну, Мальтиец бывает. Тёплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что, говорят, посетим «воскресную школу»? Они там в основном насчёт пожилых туристок, неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы...

— «Воскресная школа», — повторил Нунан.

Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. Школа. Он поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Бог с ними, с пикниками. Это не для нас. Но чтоб ты знал: у Стервятника есть хабар, а это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Мосол, ищи, а то выгоню я тебя к чертям собачьим. Откуда он берёт хабар, кто ему доставляет, — выясни всё и давай на двадцать процентов больше, чем он. Понял?

— Понял, босс. — Мосол уже тоже стоял, руки по швам, на измазанной морде преданность.

— Да поворачивайся! Мозгами шевели, животное! — заорал вдруг Нунан и вышел.

В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с Мадам насчёт падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение, и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни, — стар становится мужик, слуха нет, реакция уже не та, не поспевает, как раньше... Было уже шесть часов, хотелось есть, а в мозгу всё сверлила, всё крутилась неожиданная мыслишка, ни с чем не сообразная и в то же время многое объясняющая. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось, исчез с этого дела раздражающий и пугающий налёт мистики, осталась

только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности, но главное-то было не в этом, главное было в этой мыслишке, которая всё крутилась и крутилась, и не давала покоя.

Попрощавшись с Мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал прямиком в «Боржч». Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы, думал он. Плевать на годы, мы не замечаем, как всё меняется. Мы знаем, что всё меняется, нас с детства учат, что всё меняется, мы много раз видели своими глазами, как всё меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащённые кибернетикой. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством, миллиметр за миллиметром, полз на брюхе по Зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер это франт при галстуке, инженер, сидит где-нибудь в километре от Зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит себе и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности, «воскресная школа», например.

И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Всё было бесполезно. Всё было зря. Боже мой, подумал он, ведь ничего же у нас не получится! Не удержать, не остановить! Никаких сил не хватит удержать в горшке эту квашню, подумал он с ужасом. Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир у нас тут такой. И человек в этом нашем мире такой. Не было бы Посещения — было бы что-нибудь другое. Свинья грязи найдёт...

В «Боржче» было много света и очень вкусно пахло. «Боржч» тоже изменился, ни тебе танцев, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует, и Рэдрик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушёл. Эрнест всё ещё в тюрьме, заправляет делами его старуха, дорвалась: солидная постоянная клиентура, весь институт сюда ходит обедать, да и старшие офицеры; уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня.

В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел за чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошёл.

— Разрешите соседствовать? — спросил он.

Валентин поднял на него чёрные окуляры.

— А, — сказал он. — Прошу.

— Сейчас, только руки помою, — сказал Нунан, вспомнив вдруг болячку.

Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояла маленькая жаровня с дымящимся шураско

и высокая кружка пива не холодного и не тёплого, — как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе.

— Слушайте, Валентин, — сказал Нунан, отрезая кусочек мяса. — Как вы думаете, чем всё это кончится?

— Вы о чём?

— Посещение, Зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча... Чем всё это может кончиться?

Валентин долго смотрел на него слепыми чёрными стёклами. Потом он закурил сигарету и сказал:

— Для кого? Конкретизируйте.

— Ну, скажем, для нашей части планеты.

— Это зависит от того, повезёт нам или нет, — сказал Валентин. — Мы теперь знаем, что для нашей части планеты Посещение прошло, в общем, бесследно. Конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь не только у нас, но и на всей планете станет просто невозможной. Это будет невезенье. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. — Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся. — Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом слишком стационарная система, её ничем не проймёшь.

— Вы так думаете? — разочарованно произнёс Нунан. — Что ж, может быть и так...

— Скажите по чести, Ричард, — явно развлекаясь, сказал Валентин. — Вот для вас, дельца, что изменилось с Посещением? Вот вы узнали, что во Вселенной есть ещё по крайней мере один разум помимо человеческого. Ну и что?

— Да как вам сказать? — промямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чём здесь было разговаривать. — Что для меня изменилось?.. Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то. Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова и им взбредёт в голову остаться? Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос: кто они, как они живут, что им нужно?.. В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? — он оживился. — А если мы все окажемся ненужными? Слушайте, Валентин, раз уж, к слову, пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они, что им было нужно, вернутся или нет?..

— Ответы существуют, — сказал Валентин, усмехаясь. — Их даже очень много, выбирайте любой.

— А сами вы что считаете?

— Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьёзно. Для меня Посещение — это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущее технологии. Н-ну, как если бы в лабораторию к Исааку Ньютону попал современный квантовый генератор...

— Ньютон бы ничего не понял.

— Напрасно вы так думаете! Ньютон был очень проницательный человек.

— Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы всё-таки толкуете Посещение? Пусть даже несерьёзно...

— Хорошо, я вам скажу. Только я должен предупредить вас, Ричард, что ваш вопрос находится в компетенции псевдонауки под названием ксенология. Ксенология — это некая неестественная помесь научной фантастики с формальной логикой. Основой её метода является порочный приём — навязывание инопланетному разуму человеческой психологии.

— Почему порочный? — сказал Нунан.

— А потому, что биологи в своё время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Земных животных, заметьте.

— Позвольте, — сказал Нунан. — Это совсем другое дело. Ведь мы говорим о психологии разумных существ...

— Да. И всё было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум.

— А разве мы не знаем? — удивился Нунан.

— Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения: разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы всё понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например: разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки.

— Да, это про нас, про меня, про таких, как я, — горестно согласился Нунан.

— К сожалению. Или, скажем, определение-гипотеза. Разум есть сложный инстинкт, не успевший ещё сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и

естественна. Пройдёт миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно вымрем, — опять же именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть пробовать разные, не предусмотренные жёсткой программой варианты.

— Как-то это всё у вас получается... унизительно.

— Пожалуйста, тогда ещё одно определение, очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира.

Нунан сморщился и замотал головой.

— Нет, — сказал он. — Это не про нас... Ну а как насчёт того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал.

— Я тоже, — сказал Валентин. — Но вся беда в том, что человек, во всяком случае, массовый человек, тот, которого вы имеете в виду, когда говорите «про нас» или «не про нас», — с лёгкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о боге, например, даёт ни с чем не сравнимую возможность абсолютно всё понять, абсолютно ничего не узнавая... Дайте человеку крайне упрощённую систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощённой модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая смётка и так называемый здравый смысл.

— Погодите, — сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол. — Не отвлекайтесь. Давайте всё-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?

— Представления не имею, — сказал Валентин веселясь. — Всё, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот: если они разумны, они способны к контакту. И вообще: если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно. Вот так.

— Вот тебе и на, — сказал Нунан. — А я-то думал, что у вас всё уже разложено по полочкам...

— Разложить по полочкам, и обезьяна может, — заметил Валентин.

— Нет, погодите, — сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. — Но, если вы таких простых вещей не знаете... Ладно,

бог с ним, с разумом. Видно, здесь сам чёрт ногу сломит. Но насчёт Посещения? Что вы всё-таки думаете насчёт Посещения?

— Пожалуйста, — сказал Валентин. — Представьте себе пикник...

Нунан вздрогнул.

— Как вы сказали?

— Пикник. Представьте себе: лес, просёлок, лужайка. С просёлка на лужайку съезжает машина, из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фото— и киноаппараты... Разжигается костёр, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте... ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обёртки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые, драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян...

— Я понял, — сказал Нунан. — Пикник на обочине.

— Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете: вернутся они или нет?

— Дайте-ка мне закурить, — сказал Нунан. — Чёрт бы побрал вашу псевдонауку! Как-то я всё это не так себе представлял.

— Это ваше право, — заметил Валентин.

— Значит, что же, они нас даже и не заметили?

— Почему?

— Ну, во всяком случае, не обратили на нас внимания...

— Знаете, я бы на вашем месте не огорчался, — посоветовал Валентин.

Нунан затянулся, закашлялся, бросил сигарету.

— Всё равно, — сказал он упрямо. — Не может быть... Чёрт бы вас, учёных, подрал! Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его всё время стремитесь принизить?..

— Подождите, — сказал Валентин. — Послушайте. «Вы спросите меня: чем велик человек? — процитировал он. — Что создал вторую природу? Что привёл в движение силы, почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на всё это, уцелел и намерен уцелеть и далее».

Наступило молчание. Нунан думал.

— Может быть... — сказал он неуверенно. — Конечно, если с этой точки зрения...

— Да вы не огорчайтесь, — благодушно сказал Валентин. — Пикник — это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картинка... Так называемые серьёзные ксенологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого Посещения не было, что Посещение ещё только будет. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это?

— Это уже значительно лучше, — сказал Нунан. — Я вижу, среди учёных тоже попадаются порядочные люди.

— Или вот. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в Зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к «жестоким чудесам грядущего».

— Вот это я понимаю! — сказал Нунан. — По крайней мере тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Между прочим, ваш пикник эту возню не объясняет.

— Почему же не объясняет? — возразил Валентин. — Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка...

— Ну, это вы бросьте, — решительно сказал Нунан. — Ничего себе медвежонок: земля трясётся... Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия! Два пива господам ксенологам!.. «А всё-таки приятно с вами побеседовать», — сказал он Валентину. — Этакое прочищение мозгов, словно английской соли насыпали под черепушку. А то вот работаешь-работаешь, а зачем, для чего, что будет, что случится, чем сердце успокоится...

Принесли пива. Нунан отхлебнул, глядя поверх пены, как Валентин с выражением брезгливого сомнения рассматривает свою кружку.

— Что, не нравится? — спросил он, облизывая губы.

— Да я, собственно, не пью, — нерешительно сказал Валентин.

— Ну да? — поразился Нунан.

— Чёрт возьми! — сказал Валентин и решительно отодвинул кружку. — Закажите мне лучше коньяку, раз так, — сказал он.

— Розалия! — немедленно рявкнул вконец развеселившийся Нунан.

Когда принесли коньяк, он сказал:

— И всё-таки так нельзя. Я уж не говорю про ваш пикник, это вообще свинство, — но, если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, всё равно нехорошо. Я понимаю — «браслеты», «пустышки» ... Но «ведьмин студень» зачем? «Комариные плеши», пух этот отвратительный...

— Простите, — сказал Валентин, выбирая ломтик лимона. — Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?

Нунан засмеялся.

— Это фольклор, — пояснил он. — Рабочий жаргон сталкеров. «Комариные плеши» — это области повышенной гравитации.

— А, гравиконцентраты... Направленная гравитация. Вот об этом я бы поговорил с удовольствием, но вы ничего не поймёте.

— Почему же это я ничего не пойму? Я всё-таки инженер...

— Потому что я сам не понимаю, — сказал Валентин. — У меня есть системы уравнений, но как их истолковать, я представления не имею... А «ведьмин студень» — это, вероятно, коллоидный газ?

— Он самый. Слыхали о катастрофе в Карригановских лабораториях?

— Слыхал кое-что, — неохотно отозвался Валентин.

— Эти идиоты поместили фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную... То есть это они думали, что камера предельно изолирована... А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень прошёл через металл и пластик, как вода через промокашку, вырвался наружу, и всё, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло тридцать пять человек, больше ста изувечено, а всё здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Великолепное сооружение! А теперь студень стёк в подвалы и нижние этажи... Вот вам и прелюдия к контакту.

Валентин весь сморщился.

— Да, я знаю всё это, — сказал он. — Однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чём. Откуда они могли знать о существовании у нас военно-промышленных комплексов?

— А следовало бы знать! — назидательно ответил Нунан.

— Они сказали бы вам на это: следовало бы давным-давно уничтожить военнопромышленные комплексы.

— И то верно, — согласился Нунан. — Вот бы они и занялись, раз такие могучие.

— То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?

— Гм, — сказал Нунан. — Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Не будем об этом. Вернёмся лучше к началу разговора. Чем же всё это кончится? Ну вот, например, вы, учёные. Надеетесь вы получить из Зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни?..

Валентин пожал плечами.

— Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идёт о таких серьёзных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Если исходить из того, что мы уже получили, впереди целый спектр возможностей, и ничего определённого сказать нельзя.

— Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?

— Как это ни забавно, довольно мало. Мы обнаружили много чудес. В некоторых случаях мы научились даже использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним... Обезьяна нажимает красную кнопку — получает банан, нажимает белую — апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает.

Возьмём, скажем, «этаки». Мы научились ими пользоваться. Мы открыли даже условия, при которых они размножаются делением. Но мы до сих пор не сумели сделать ни одного этака, не понимаем, как они устроены, и, судя по всему, разберёмся во всём этом не скоро... Я бы сказал так. Есть объекты, которым мы нашли применение. Мы используем их, хотя почти наверняка не так, как их используют пришельцы. Я совершенно уверен, что в подавляющем большинстве случаев мы забиваем микроскопами гвозди. Но всё-таки кое-что мы применяем: «этаки», «браслеты», стимулирующие жизненные процессы... различные типы квазибиологических масс, которые произвели такой переворот в медицине... Мы получили новые транквилизаторы, новые типы минеральных удобрений, переворот в агрономии... В общем, что я вам перечисляю! Вы знаете всё это не хуже меня, браслетик, я вижу, сами носите... Назовём эту группу объектов полезными. Можно сказать, что в какой-то степени человечество ими облагодетельствовано, хотя никогда не следует забывать, что в нашем эвклидовом мире всякая палка имеет два конца...

— Нежелательные применения? — вставил Нунан.

— Вот именно. Скажем, применение этаков в военной промышленности... Я не об этом. Действие каждого полезного объекта нами более или менее изучено, более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через пятьдесят мы сами научимся изготавливать эти королевские печати и тогда вволю будем колоть ими орехи. Сложнее обстоит дело с другой группой объектов, сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Например, магнитные ловушки разных типов. Мы понимаем, что это магнитная ловушка, Панов это очень остроумно доказал. Но мы не понимаем, где источник такого мощного магнитного поля, в чём причина его сверхустойчивости... ничего не понимаем. Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или К-23... Как вы их называете, эти чёрные красивые шарики, которые идут на украшения?

— «Чёрные брызги», — сказал Нунан.

— Вот-вот, «чёрные брызги» ... Хорошее название... Ну, вы знаете про их свойства. Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой, причём эта задержка зависит от веса шарика, от размера, ещё от некоторых параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего... Что это такое? Почему? Есть безумная идея, будто эти ваши «чёрные брызги» — суть гигантские

области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наше, и принявшего такую свёрнутую форму под воздействием нашего пространства... — Валентин вытащил сигарету и закурил.

— Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. Это свалившиеся с неба ответы на вопросы, которые мы ещё не умеем задать. Упомянутый выше сэр Исаак, может быть, и не разобрался бы в лазере, но он во всяком случае понял бы, что такая вещь возможна, и это очень сильно повлияло бы на его научное мировоззрение. Я не буду вдаваться в подробности, но существование таких объектов, как магнитные ловушки, К-23, «белое кольцо», разом зачеркнуло целое поле недавно процветавших теорий и вызвало к жизни совершенно новые идеи. А ведь есть ещё третья группа...

— Да, — сказал Нунан. — «ведьмин студень» и прочие прелести...

— Нет-нет. Всё это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. Я имею в виду объекты, о которых мы ничего не знаем или знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. То, что уволокли у нас из-под носа сталкеры, — продали неизвестно кому, припрятали. То, о чём они молчат. Легенды и полулегенды: «машина желаний», «бродяга Дик», «весёлые призраки» ...

— Минуточку, минуточку, — сказал Нунан. — Это ещё что такое? «Машина желаний» — понимаю...

Валентин засмеялся.

— Видите, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. «Бродяга Дик» — это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А «весёлые призраки» — это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах Зоны.

— Первый раз слышу, — сказал Нунан.

— Вы понимаете, Ричард, — сказал Валентин, — мы ковыряемся в Зоне два десятка лет, но мы не знаем и тысячной доли того, что она содержит. А если уж говорить о воздействии Зоны на человека... Вот, кстати, тут нам придётся ввести в классификацию ещё одну, четвёртую группу. Уже не объектов, а воздействий. Эта группа изучена безобразно плохо, хотя фактов накопилось, на мой взгляд, более чем достаточно. И вы знаете, Ричард, меня иногда мороз продирает по коже, когда я думаю об этих фактах.

— Живые покойники... — пробормотал Нунан.

— Что? А... Нет, это загадочно, но не более того. Как бы это сказать... Это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с

того ни с сего начинают происходить внефизические, внебиологические явления...

— А, вы имеете в виду эмигрантов...

— Вот именно. Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайными величинами. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная...

Валентин, по-видимому, слегка охмелел. Он стал говорить громче, щёки его порозовели, а брови над чёрными окулярами высоко задрались, сминая лоб в гармошку.

— Люблю непьющих, — с иронией сказал Нунан.

— Не отвлекайтесь! — сказал Валентин строго. — Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. — Он поднял рюмку, разом отхлебнул половину и продолжал: — Мы не знаем, что произошло с бедными хармонтцами в самый момент Посещения. Но вот один из них решил эмигрировать. Какой-нибудь обыкновеннейший обыватель. Парикмахер. Сын парикмахера и внук парикмахера. Он переезжает, скажем, в Детройт. Открывает парикмахерскую, и начинается чёртов бред. Более девяноста процентов его клиентуры погибает на протяжении года: гибнут в автомобильных катастрофах, вываливаются из окон, вырезаются гангстерами и хулиганами, тонут на мелких местах, и так далее, и так далее. Возрастает количество стихийных бедствий в Детройте и его окрестностях. Откуда-то берутся смерчи и тайфуны, которых в этих местах не видывали с тысяча семьсот забытого года. Ну и всё в таком же роде. И такие катаклизмы происходят в любом городе, в любой местности, где селится эмигрант из района Посещения, и количество этих катаклизмов прямо пропорционально числу эмигрантов, поселившихся в данном месте. И заметьте, подобное действие оказывают только те эмигранты, которые пережили само Посещение. Родившиеся после Посещения на статистику несчастных случаев никакого влияния не оказывают. Вы прожили здесь десять лет, но вы приехали после Посещения, и вас без опаски можно селить хоть в Ватикане. Как объяснить такое? От чего нужно отказаться: от статистики? Или от здравого смысла? — Валентин схватил рюмку и залпом допил её.

Ричард Нунан почесал за ухом.

— М-да, — сказал он. — Я вообще-то наслышан о таких вещах, но я, честно говоря, всегда полагал, что всё это, мягко выражаясь, несколько преувеличено... Действительно, с точки зрения нашей могучей позитивистской науки...

— Или, скажем, мутагенное воздействие Зоны, — прервал его Валентин. Он снял очки и уставился на Нунана чёрными

подслеповатыми глазами. — Все люди, которые достаточно долго общаются с Зоной, подвергаются изменениям как фенотипическим, так и генотипическим. Вы знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. Почему? Где мутагенный фактор? Радиации в Зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в Зоне хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. Что же, мне в таких условиях в колдовство начать верить? В дурной глаз?

— Я вам сочувствую в ваших метаниях, — ответил Нунан. — Но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники действуют на нервы гораздо сильнее, чем данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников и видел, и обонял предостаточно...

Валентин легкомысленно махнул рукой.

— А, покойники ваши... — сказал он. — Слушайте, Ричард, вам не стыдно? Вы же всё-таки человек с образованием... Во-первых, никакие они не покойники. Это же муляжи... реконструкции по скелету... чучела... А потом, уверяю вас: с точки зрениям фундаментальных принципов, эти ваши муляжи не более и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы. Просто «этаки» нарушают первый принцип термодинамики, а муляжи второй, вот и вся разница. Все мы в каком-то смысле пещерные люди, ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А между тем нарушение принципа причинности гораздо более страшная вещь, чем целые стада привидений... И всяких там чудовищ Рубинштейна... или Валленштейна?

— Франкенштейна.

— Да, конечно, Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта. Или дочь. — Он вдруг засмеялся. — У этих ваших муляжей есть одно любопытное свойство: автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать какую-то часть, и она будет жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов... Так вот, недавно доставили в институт одного такого.... Это мне лаборант Бойда рассказывал... — Валентин захохотал.

— А не пора ли нам по домам, Валентин? — сказал Нунан, глядя на часы.

— У меня есть ещё одно важное дело.

— Пойдёмте, — сказал Валентин, тщетно пытаясь попасть лицом в оправу очков и, наконец, взяв очки в обе руки и старательно водрузив их на место.

— У вас машина?

— Да, я вас завезу.

Они расплатились и направились к выходу. Валентин то и дело с размаху прикладывал палец к виску, приветствуя знакомых лаборантов, которые с любопытством наблюдали за светилом мировой физики. У самого выхода, приветствуя расплывшегося в улыбке швейцара, он сшиб с себя очки, и все трое кинулись их ловить.

— У меня завтра эксперимент. Вы знаете, любопытная вещь... — приговаривал Валентин, влезая в «пежо».

И он принялся рассказывать о завтрашнем эксперименте. Нунан отвёз его в научный городок.

А ведь они тоже боятся, думал он, снова усаживаясь в «пежо». Боятся, высоколобые... Да так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы, простые обыватели, вместе взятые. Ведь мы просто ничего не понимаем, а они по крайней мере понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно им туда спускаться, — сердце заходится, но спускаться надо, а как спускаться, что там на дне и, главное, можно ли будет потом выбраться?.. А мы, грешные, смотрим, так сказать, в другую сторону. Слушай, а может быть, так и надо? Пусть оно идёт всё своим чередом, а мы уж поживём как-нибудь. Правильно он сказал: самый героический поступок человечества — это то, что оно выжило и намерено выжить дальше... А всё-таки чёрт бы вас подрал, сказал он пришельцам. Не могли устроить свой пикник в другом месте. На Луне, например... Или на Марсе. Такая же вы равнодушная дрянь, как и все, хоть и научились свёртывать пространство. Пикник, видите ли, устроили. Пикник...

Как же мне получше обойтись с моими пикниками? — думал он, медленно ведя «пежо» по ярко освещённым мокрым улицам. Как бы половчее всё это провернуть? По принципу наименьшего действия. Как в механике. На кой чёрт мне такой-сякой инженерный диплом, если я не могу придумать, как мне половчее ущучить этого безногого мерзавца...

Он остановил машину перед домом, где жил Рэдрик Шухарт, и немного посидел за рулём, прикидывая, как вести разговор. Потом он вынул «этак», вылез из машины и только тут обратил внимание, что дом выглядит нежилым. Почти все окна были тёмные, в скверике никого не было, и даже фонари там не горели. Это напомнило ему, что он сейчас увидит, и он зябко поёжился. Ему даже пришло в голову, что, может быть, имеет смысл вызвать Рэдрика по телефону и побеседовать с ним в машине или в какой-нибудь тихой пивнушке, но он отогнал эту мысль. По целому ряду причин. И, кроме всего прочего,

сказал он себе, давай-ка не будем уподобляться всем этим жалким типам, которые разбежались отсюда, как тараканы, ошпаренные кипятком.

Он вошёл в подъезд, неторопливо поднялся по давно не метёной лестнице. Вокруг стояла нежилая тишина, многие двери, выходящие на лестничные площадки, были приотворены или даже распахнуты настежь, из тёмных прихожих тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Он остановился перед дверью квартиры Рэдрика, пригладил волосы за ушами, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Некоторое время за дверью было тихо, потом там скрипнули половицы, щёлкнул замок, и дверь тихо приоткрылась. Шагов он так и не услышал.

На пороге стояла Мартышка, дочь Рэдрика Шухарта. Из прихожей на полутёмную лестничную площадку падал яркий свет, и в первую секунду Нунан увидел только тёмный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев, но потом она отступила вглубь прихожей, и он увидел её лицо. В горле у него мгновенно пересохло.

— Здравствуй, Мария, — сказал он, стараясь говорить как можно ласковее. — Как поживаешь, Мартышка?

Она не ответила. Она молчала и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него исподлобья. Похоже, она не узнавала его. Да и он, честно говоря, не узнавал её. Зона, подумал он. Дрянь...

— Кто там? — спросила Гута, выглядывая из кухни. — Господи, Дик! Где вы пропадали? Вы знаете, Рэдрик вернулся!

Она поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем, переброшенным через плечо, — всё такая же красивая, энергичная, сильная, только вот подтянуло её как-то: лицо осунулось, и глаза были какие-то... лихорадочные, что ли?

Он поцеловал её в щёку, отдал ей плащ и шляпу и сказал:

— Наслышаны, наслышаны... Всё времени никак не мог выбрать забежать. Дома он?

— Дома, — сказала Гута. — У него там один... Скоро уйдёт, наверное, они давно уже сидят. Проходите, Дик...

Он сделал насколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Муляж. Неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый свет от абажура падал на широкое тёмное лицо, словно вырезанное из старого дерева, ввалившийся безгубый рот, остановившиеся, без блеска, глаза. И сейчас же Нунан почувствовал запах. Он знал, что это игра воображения, запах бывал

только первые дни, а потом исчезал напрочь, но Ричард Нунан чувствовал его как бы памятью — душный, тяжёлый запах разрытой земли.

— А то пойдёмте на кухню, — поспешно сказала Гута. — Я там ужин готовлю, заодно поболтаем.

— Да, конечно, — сказал Нунан бодро. — Столько не виделись!.. Вы ещё не забыли, что я люблю выпить перед ужином?

Они прошли на кухню, Гута сразу же открыла холодильник, а Нунан уселся за стол и огляделся. Как всегда, здесь всё было чисто, всё блестело, над кастрюльками поднимался пар. Плита была новая, полуавтомат, значит, деньги в доме были.

— Ну как он? — спросил Нунан.

— Да всё такой же, — ответила Гута. — Похудел в тюрьме, но сейчас уже отъелся.

— Рыжий?

— Ещё бы!

— Злой?

— А как же! Это у него уж до смерти.

Гута поставила перед ним стакан «Кровавой Мэри» — прозрачный слой русской водки словно бы висел над слоем томатного сока.

— Не много? — спросила она.

— В самый раз. — Нунан влил в себя смесь. Он вспомнил, что, по сути дела, за весь день впервые выпил нечто существенное. — Вот это другое дело, — сказал он.

— У вас всё хорошо? — спросила Гута. — Что вы так долго не заходили?

— Проклятые дела, — сказал Нунан. — Каждую неделю собирался зайти или хотя бы позвонить, но сначала пришлось ехать в Рексополис, потом скандал один начался, потом мне говорят: «Рэдрик вернулся», — ладно, думаю, зачем мешать... В общем, завертелся я, Гута. Я иногда спрашиваю себя: какого чёрта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой чёрт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?..

Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза её были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить, и снова, второй раз в жизни, увидел, что у неё дрожат пальцы, как тогда, когда Рэдрика только что осудили, и Нунан пришёл к ней, чтобы дать ей денег, — первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался, откуда, но он продолжал

приходить, приносил Мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Рэдрика, а потом, наслушавшись её рассказов, шёл к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал, наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь Рыжий вернётся, он вам все кости переломает...» — ничего не помогало.

— А как поживает ваша девушка? — спросила Гута.

— Которая?

— Ну, с которой вы заходили тогда... беленькая такая...

— Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Вышла замуж и уволилась.

— Жениться вам надо, Дик, — сказала Гута. — Хотите, невесту найду?

Нунан хотел было ответить, как обычно: «Мартышка вот подрастёт...», но вовремя остановился. Сейчас это бы уже не прозвучало.

— Стенографистка мне нужна, а не жена, — проворчал он. — Бросайте вы своего рыжего дьявола и идите ко мне в стенографистки. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает.

— Ещё бы, — сказала она. — Всю руку тогда об него отбила.

— Ах, даже так? — Нунан сделал вид, что удивлён. — Ай да Гаррис!

— Господи! — сказала Гута. — Да он мне проходу не давал! Я только одного боялась, как бы Рэд не узнал.

Бесшумно вошла Мартышка, возникла в дверях, посмотрела на кастрюли, на Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.

— Ну что, Мартышка, — сказал бодро Ричард Нунан. — Шоколадку хочешь?

Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетике и протянул девочке. Она не пошевелилась. Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У неё вдруг побелели губы.

— Да, Гута, — бодро сказал Нунан. — А я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от института всё-таки далеко...

— Она уже почти ничего не понимает, — тихо сказала Гута, и он оборвал себя, взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах. — Вы вот не спрашиваете, как мы живём, — продолжала она, — и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик, нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь!

— У врача были? — спросил Нунан, не поднимая глаз.

— Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал... — она замолчала.

Он тоже молчал. Не о чём тут было говорить и не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль: это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту, — вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела наших детей и изменяют их по своему образу и подобию. Ему стало зябко, но он тут же вспомнил, что уже читал о чём-то подобном, какой-то покетбук в яркой глянцевитой обложке, и от этого воспоминания ему полегчало. Придумать можно всё что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают.

— А один сказал, что она уже не человек, — проговорила Гута.

— Вздор, — глухо сказал Нунан. — Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам приём...

— Это к Мяснику? — она нервно засмеялась. — Не надо, Дик, спасибо. Это он и сказал. Видно, судьба.

Когда Нунан снова осмелился поднять глаза, Мартышки уже не было, а Гута сидела неподвижно, рот у неё был приоткрыт, глаза пустые, и на сигарете в её пальцах нарос длинный кривой столбик серого пепла. Тогда он толкнул к ней по столу стакан и проговорил:

— Сделай-ка мне ещё одну порцию, детка... и себе сделай. И выпьем.

Она уронила пепел, поискала глазами, куда бросить окурок, и бросила в мойку.

— За что? — проговорила она. — Вот я чего не понимаю! Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие всё-таки в этом городе...

Нунан подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала, открыла холодильник, достала водку и сок и сняла с полки второй стакан.

— Вы всё-таки не отчаивайтесь, — сказал Нунан. — Нет на свете ничего такого, что нельзя исправить. И вы мне поверьте, Гута, у меня очень большие связи. Всё, что смогу, я сделаю...

Сейчас он сам верил в то, что говорил, и уже перебирал в уме имена, связи и города, и ему уже казалось, будто о подобных случаях он что-то где-то слышал, и вроде бы всё кончилось благополучно, надо только сообразить, где это было и кто лечил, но тут он вспомнил, зачем он сюда пришёл, и вспомнил господина Лемхена, и вспомнил, для чего он подружился с Гутой, и ему больше не захотелось думать ни о чём, и он отогнал от себя все связные мысли, сел поудобнее, расслабился и стал ждать, пока ему поднесут выпивку.

В это время в прихожей послышались шаркающие шаги, постукивание, и отвратительный, особенно сейчас, голос Стервятника Барбриджа прогундосил:

— Э, Рыжий! А к твоей Гуте, видать, кто-то заглянул, шляпа... Я б на твоём месте это дело так не оставил...

И голос Рэдрика:

— Береги протезы, Стервятник. Прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора.

И Барбридж:

— Тьфу ты, господи, пошутить уже нельзя!

И Рэдрик:

— Мы с тобой уже всё отшутили. И точка. Мотай, мотай, не задерживай!

Щёлкнул замок, и голоса стали тише, очевидно, оба вышли на лестничную площадку. Барбридж что-то сказал вполголоса, и Рэдрик ему ответил: «Всё, всё, поговорили!» Снова ворчание Барбриджа и резкий голос Рэдрика: «Сказал — всё!». Ахнула дверь, простучали быстрые шаги в прихожей, и на пороге кухни появился Рэдрик Шухарт. Нунан поднялся ему навстречу, и они крепко пожали друг другу руки.

— Я так и знал, что это ты, — сказал Рэдрик, оглядывая Нунана быстрыми зеленоватыми глазами. — У-у, растолстел, толстяк! Всё загривок в барах нагуливаешь... Эге! Да вы тут, я вижу, весело время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять...

— Да мы ещё и не начали, — сказал Нунан. — Мы только собирались. От тебя разве убежишь!

Рэдрик резко засмеялся, ткнул Нунана кулаком в плечо.

— А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит! Пошли, пошли, что мы здесь на кухне! Гута, тащи ужин...

Он нырнул в холодильник и снова выпрямился, держа в руке бутылку с цветной наклейкой.

— Пировать будем! — объявил он. — Надо как следует угостить лучшего друга Ричарда Нунана, который не покидает своих в беде! Хотя пользы ему от этого никакой. Эх, Гуталина нет, жалко...

— А ты позвони ему, — предложил Нунан.

Рэдрик помотал ярко-рыжей головой.

— Туда ещё телефон не провели, куда ему сейчас звонить. Ну пошли, пошли...

Он первым вошёл в гостиную и грохнул бутылку на стол.

— Пировать будем, папаня! — сказал он неподвижному старику. — Это вот Ричард Нунан, наш друг! Дик, а это папаня мой, Шухарт-старший...

Ричард Нунан, собравшись мысленно в непроницаемый комок, раздвинул рот до ушей, потряс в воздухе ладонью и сказал в сторону муляжа:

— Очень рад, мистер Шухарт. Как поживаете?.. Мы ведь знакомы, Рэд, — сказал он Шухарту-младшему, который копался в баре. — Мы один раз уже виделись, мельком, правда...

— Садись, — сказал ему Рэдрик, кивая на стул напротив старика. — Ты, если будешь с ним говорить, говори громче — он не слышит ничего.

Он расставил бокалы, быстро откупорил бутылки и сказал Нунану:

— Разливай. Папане немного, на самое донышко...

Нунан неторопливо принялся разливать. Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. А Нунан уже переключился на новую ситуацию. Это была игра, страшная и жалкая. Игру разыгрывал Рэдрик, и он включился в эту игру, как всю жизнь включался в чужие игры, и страшные, и жалкие, и стыдные, и дикие, и гораздо более опасные, чем эта. Рэдрик, подняв свой бокал, произнёс: «Ну что, понеслись?» — и Нунан совершенно естественным образом взглянул на старика, а Рэдрик нетерпеливо позвякал своим бокалом о бокал Нунана и сказал: «Понеслись, понеслись...», и тогда Нунан тоже совершенно естественно кивнул, и они выпили.

Рэдрик, блестя глазами, заговорил всё в том же возбуждённом, немного искусственном тоне:

— Всё, браток! Больше меня тюрьма не увидит. Если бы ты знал, милый мой, до чего же дома хорошо! Деньги есть, я себе хороший коттеджик присмотрел, с садом будем, не хуже, чем у Стервятника... Ты знаешь, я ведь эмигрировать хотел, ещё в тюрьме решил. Ради чего такого я в этом вшивом городишке сижу? Да провались, думаю, всё пропадом. Возвращаюсь, привет, запретили эмиграцию! Да что мы, чумные какие-нибудь сделались за эти два года?

Он говорил и говорил, а Нунан кивал, прихлёбывая виски, вставлял сочувственные ругательства, риторические вопросы, потом принялся расспрашивать про коттедж: что за коттедж, где, за какую цену? — и они с Рэдриком поспорили. Нунан доказывал, что коттедж дорогой и в неудобном месте, он вытащил записную книжку, принялся листать её и называть адреса заброшенных коттеджей, которые отдадут

за бесценок, а ремонт обойдётся всего ничего, если подать заявление об эмиграции, получить от властей отказ и потребовать компенсацию.

— Ты, я вижу, уже и недвижимостью занялся, — сказал Рэдрик.

— А я всем понемножку занимаюсь, — ответил Нунан и подмигнул.

— Знаю, знаю, наслышан о твоих афёрах!

Нунан сделал большие глаза, приложил палец к губам и кивнул в сторону кухни.

— Да ладно, все это знают, — сказал Рэдрик. — Деньги не пахнут. Теперь-то я это точно понял... Но Мосла ты себе подобрал в управляющие, — я животики надорвал, когда услышал! Пустил, понимаешь, козла в огород... Он же псих, я его с детства знаю!

Тут старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил её на стол рядом со своим бокалом. Рука была тёмная, с синеватым отливом, сведённые пальцы делали её похожей на куриную лапу. Рэдрик замолчал и посмотрел на него. В лице его что-то дрогнуло, и Нунан с изумлением увидел на этой конопатой хищной физиономии самую настоящую, самую неподдельную любовь и нежность.

— Пейте, папаша, пейте, — ласково сказал Рэдрик. — Немножко можно, пейте на здоровье... «Ничего», — вполголоса сказал он Нунану, заговорщически подмигивая. — Он до этого стаканчика доберётся, будь покоен...

Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бойда явились сюда за этим муляжом. Лаборантов было двое, оба крепкие современные парни, спортсмены и всё такое, и ещё был врач из городской больницы и при нём двое санитаров, людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Потом один из лаборантов рассказывал, что «этот рыжий» сначала вроде не понял, о чём идёт речь, впустил в квартиру, дал осмотреть отца, и, наверное, старика так бы и увезли, потому что Рэдрик, похоже, вообразил, будто папаню кладут в больницу на профилактику. Но эти болваны-санитары, которые в ходе предварительных переговоров торчали в прихожей и подглядывали за Гутой, как она моет в кухне окна, взялись, когда их позвали, за старика как за бревно, поволокли, уронили на пол. Рэдрик взбесился, и тут вылез вперёд болван-врач и стал обстоятельно разъяснять, что, куда, и зачем. Рэдрик послушал его минуту или две, а потом вдруг без всякого предупреждения взорвался, как водородная бомба. Рассказывавший всё это лаборант и сам не помнит, как он очутился на улице. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых, причём ни одному из них не дал уйти

самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве, а остальных троих Рэдрик гнал по улице четыре квартала, после чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стёкла, шофёра в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении...

— Мне тут в одном баре новый коктейль показали, — говорил Рэдрик, разливая виски. — «Ведьмин студень» называется, я тебе потом сделаю, когда поедим. Это, брат, такая вещь, что на пустое брюхо принимать опасно для жизни: руки-ноги отнимаются с одной порции... Ты как хочешь, Дик, а я тебя сегодня угощу на славу, право же, угощу. Старые добрые времена вспомним, «Боржч» вспомним... Бедняга-то Эрни до сих пор сидит, знаешь? — Он выпил, вытер губы тыльной стороной ладони и спросил небрежно: — А что там, в институте, за «ведьмин студень» ещё не взялись? Я, знаешь ли, от науки слегка поотстал...

Нунан сразу понял, почему Рэдрик заводит разговор на эту тему. Он всплеснул руками и сказал:

— Что ты, дружище! С этим «студнем» знаешь какая штука случилась? Про Карригановские лаборатории слыхал? Есть такая частная лавочка... Так вот, раздобыли они порцию «студня» ...

Он рассказал про катастрофу, про скандал, что концов так и не нашли, откуда взялся «студень» — так и не выяснили, а Рэдрик слушал вроде бы рассеянно, цокал языком, качал головой, а потом решительно плеснул ещё виски в бокалы и сказал:

— Так им и надо, паразитам, чтоб они сдохли...

Они выпили, Рэдрик посмотрел на папаню, снова в его лице дрогнуло, он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведённым пальцам, и пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко.

— Вот так оно дело быстрее пойдёт, — сказал Рэдрик. — Гута! — заорал он. — Долго ты нас будешь голодом морить?.. Это она для тебя старается, — объяснил он Нунану. — Обязательно твой любимый салат готовит, с моллюсками, она их давно припасла, я видел... Ну а как вообще в институте дела? Нашли что-нибудь новенькое? У вас там, говорят, теперь вовсю автоматы работают, да мало вырабатывают.

Нунан принялся рассказывать про институтские дела, и пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла Мартышка, постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к муляжу и положила голову ему на плечо. И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два

чудовищных порождения Зоны: господи, да что же ещё? Что же ещё нужно с нами сделать, чтобы нас наконец проняло? Неужели этого вот мало?.. Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать, а если и узнают, то поужасаются десять минут и снова вернутся на круги своя. Надо уходить, подумал он с остервенением. К чёрту Барбриджа, к чёрту Лемхена... семью эту, богом проклятую, к чёрту.

— Ты чего на них уставился? — негромко спросил Рэдрик. — Ты не беспокойся, это ей не вредно. Даже наоборот, говорят, от них здоровье исходит.

— Да, я знаю, — сказал Нунан и залпом осушил бокал.

Вошла Гута, деловито приказала Рэдрику расставлять тарелки и поставила на стол большую серебряную миску с любимым салатом Нунана.

И тут старик, словно кто-то спохватился и дёрнул за ниточки, одним движением вскинул бокал к открывшемуся рту.

— Ну, ребята, — сказал Рэдрик восхищённым голосом, — теперь у нас пойдёт пирушка на славу!

4. Рэдрик Шухарт, 31 год

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Рэдрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, которые они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток зелёнки, обтекавшей холм и исчезавшей в овраге.

По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжёлыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана, но Рэдрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И ещё он знал, что когда взойдёт солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолёта, а впереди состав вагонеток, и вот тогда начнётся самое дело.

Рэдрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал

хребет. Тяжёлый, гад, как я с ним поползу? Полтора километра на карачках... Ладно, не гунди, сталкер, знал, на что идёшь. Пятьсот тысяч монет дожидаются в конце дороги, можно и попотеть. Пятьсот тысяч, лакомый ломоть, а? Чёрта я им отдам меньше чем за пятьсот тысяч. И чёрта я дам Стервятнику больше тридцати. А сопляку... а сопляку — ничего. Если старый гад хоть полправды сказал, то сопляку — ничего.

Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время прищурясь смотрел, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобёдрый, и длинные вороные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. Сам напросился, угрюмо подумал Рэдрик. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прямо дрожал весь, слёзы на глазах... «Возьмите меня, мистер Шухарт! Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами, они ведь все никуда не годятся! Отец... но ведь он теперь не может!» Рэдрик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно, и, может быть, поэтому он стал думать о сестре Артура. Просто уму непостижимо: такая роскошная женщина, а на самом деле пустышка, обман, кукла неживая, а не женщина. Как, помнится, пуговицы на кофте у матери, янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости, и он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании, даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти, стоило ему их снова увидеть.

А может быть, папахен его ко мне подослал, подумал он об Артуре. Вон у него какая пушка в заднем кармане... Нет, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной шутки плохи. И знает, какой я в Зоне. Нет, чепуха всё это. Не первый он меня просил, не первый он слёзы лил, другие и на колени становились... А пушки они все с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень! Вот ведь что получается, Стервятник: по последнему. Да, папахен, узнал бы ты про эту его затею, так бы его костылями отделал, сыночка своего, в Зоне вымоленного... Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть, недалеко уже, метрах в тридцати-сорока.

— Стой, — сказал он Артуру.

Парень послушно замер на месте. Реакция у него была хорошая, он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил её на землю. Рэдрик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в

тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное. Безопасное. Рэдрик осторожно потянул ноздрями воздух. Да. Безопасное.

— Вперёд, — сказал он негромко, подождал, пока Артур сделает шаг, и двинулся за ним. Краем глаза он видел лицо Артура, точёный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками.

Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а ещё через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.

— Всё, — сказал Рэдрик и стал стягивать рюкзак. — Садись, где стоишь. Перекур.

Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс, Рэдрик отстегнул один из клапанов, достал свёрток с едой и термос с кофе, и пока Артур разворачивал свёрток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков.

— Глотнёшь? — предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. — Для храбрости...

Артур обиженно помотал головой.

— Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт, — сказал он. — Я лучше кофе, если разрешите. Сыро здесь очень, правда?

— Сыро, — согласился Рэдрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. — Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было страшное дело...

Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой, сладкий. Пить его сейчас было даже приятнее, чем спиртное. От него пахло домом, Гутой. И не просто Гутой, а Гутой в халатике, прямо со сна, с ещё сохранившимся рубцом от подушки на щеке. Зря я в это дело впутался, подумал он. Пятьсот тысяч... А на кой мне эти пятьсот тысяч? Бар я на них покупать собираюсь, что ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать. Это правильно. Это Дик верно сказал. Дом есть, сад есть, без работы в Хармонте не останешься... Завёл меня Стервятник, завёл, как молоденького...

— Мистер Шухарт, — сказал вдруг Артур, глядя в сторону. — А вы серьёзно верите, что эта штука исполняет желания?

— Чепуха! — рассеянно произнёс Рэдрик и замер с поднесённым ко рту стаканчиком. — А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идём?

Артур смущённо засмеялся, запустил пятерню в вороные волосы, подёргал и сказал:

— Да вот догадался!.. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль... Ну, во-первых, раньше отец всё время бубнил про этот Золотой шар, а последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам, а я ведь знаю, никакие вы не друзья, что бы там отец ни говорил... Потом, он странный какой-то стал последнее время... — Артур снова засмеялся и покрутил головой, что-то вспоминая. — А окончательно я всё понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик... — Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свёрнутая оболочка воздушного шара. — Честно говоря, я вас тогда выследил, и когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведёте над землёй, тут уж мне всё стало окончательно ясно. По-моему, в Зоне, кроме Золотого шара, ничего тяжёлого больше не осталось.

Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорил с набитым ртом:

— Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять, он же, наверное, гладкий...

Рэдрик всё смотрел на него поверх стаканчика и думал, до чего же они не похожи друг на друга: отец и сын. Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У Стервятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то, но когда он об этом говорил, то говорил здорово. Нельзя его было не слушать. «Рыжий, — говорил он тогда, перегнувшись через стол. — Нас ведь двое осталось всего, да на двоих две ноги, и обе твои... Кому же, как не тебе? Это же, может, самое ценное, что в Зоне есть! Кому ж достанется, а? Неужто этим чистоплюям достанется, с ихними машинами? Ведь я его нашёл, я! Сколько там наших по дороге полегло! А нашёл я! Себе берёг. И сейчас никому бы не отдал, да руки, видишь, коротки стали... Кроме тебя — некому. Сколько я разных молокососов натаскивал, целую школу, понимаешь, для них открыл, — не могут, кость не та... Ну ладно, ты не веришь. Не веришь — не надо. Тебе — деньги. Дашь мне, сколько сам захочешь, я знаю, ты не обидишь... А я, может, ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты? Зона ведь ноги у меня отобрала, так, может, Зона и отдаст?..»

— Что? — спросил Рэдрик, очнувшись.

— Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Кури, кури... Я тоже закурю.

Он залпом допил остаток кофе, вытащил сигарету и, разминая её, уставился в редеющий туман. Псих, подумал он. Сумасшедший же. Ноги ему... стервецу...

От всех этих разговоров копился в душе какой-то осадок, непонятно какой. И он не растворялся со временем, а, наоборот, всё

копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало, словно он чем-то заразился от Стервятника, но не гадостью какой-нибудь, а наоборот... Силой, что ли? Нет, не силой. А чем же тогда? Ну ладно, сказал он себе. Давай так: предположим, не дошёл я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-то случилось... Сцапали меня, например. Плохо было бы? Определённо плохо. Почему плохо? Деньги пропали? Да нет, не в деньгах дело... Что добро этим гадам достанется, Хрипатым да Костлявым? Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что? Всё равно в конце концов всё им достанется...

— Бр-р-р... — Артур передёрнул плечами. — До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок?

Рэдрик молча достал флягу и протянул ему. А ведь я не сразу согласился, подумал он вдруг. Двадцать раз я посылал Стервятника подальше, а на двадцать первый всё-таки согласился. Как-то мне невмоготу стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. «Здорово, Рыжий. Я вот карту принёс. Может, всё-таки посмотришь?» А я посмотрел ему в глаза, а глаза у него как нарывы жёлтые с чёрной точкой, и я сказал: «Давай». И всё. Помню, что пьяный был тогда, целую неделю пил. На душе было гадостно... А ч-чёрт, не всё ли равно! Пошёл и пошёл. Что я в этом копаюсь, как психованный! Боюсь я, что ли?

Он вздрогнул. Длинный, тоскливый скрип донёсся вдруг из тумана. Рэдрик вскочил, как подброшенный, и сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо, только шуршала, струясь по насыпи у них из-под ног, мелкая галька.

— Это, наверное, порода просела, — неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. — Вагонетки с породой... стоят давно...

Рэдрик смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это было ночью. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала Мартышка, сидя на своей постели у окна. Гута проснулась тоже и взяла Рэдрика за руку, он чувствовал её мгновенно покрывшееся испариной плечо, и так они лежали и слушали, а когда Мартышка замолчала и улеглась, он подождал ещё немного, потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он запил.

— Порода, — говорил Артур. — Она, знаете, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких таких причин...

Рэдрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев, он закурил новую. Артур постоял ещё немного, опасливо вертя головой, потом тоже сел и сказал негромко:

— Я знаю, рассказывают, что в Зоне будто бы кто-то живёт. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто Посещение застигло их тут, и они мутировали... приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

Вот он чем меня заразил, думал он. Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошёл. Вот что мне здесь надо... Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печёнках, но только сейчас он о нём догадался, и всё встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял: единственное на всём свете, что у него ещё осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал её, издевался над нею, пропивал её, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчёт на себя выражался у него в количестве зелёненьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелёненькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда уже не надежда, а уверенность в чуде заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке... Он засмеялся и толкнул Артура в плечо.

— Что, сталкер, — сказал он, — ещё поживём, как ты считаешь, а?

Артур удивлённо посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Рэдрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул её под вагонетку и прилёг на рюкзак, упёршись локтем.

— Ну хорошо, — сказал он. — А предположим, например, что этот самый Золотой шар действительно... Что б ты тогда пожелал?

— Значит, вы всё-таки верите? — быстро спросил Артур.

— Это неважно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.

Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у Золотого шара такой вот парень, молокосос ещё, вчерашний школьник, и он с весёлым любопытством следил, как Артур хмурится, тревожит усики, вскидывает на него и снова прячет глаза.

— Ну, конечно, ноги отцу... — проговорил Артур наконец. — Чтобы дома было всё хорошо...

— Врёшь, врёшь, — добродушно сказал Рэдрик. — Ты, браток, учти: Золотой шар только сокровенные желания выполняет, только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю!

Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Рэдрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской, даже слёзы выступили. Рэдрик ухмыльнулся, глядя на него.

— Всё понятно, — сказал он почти ласково. — Ладно, это не моё дело. Держи уж своё при себе... — И тут он вдруг вспомнил про пистолет и подумал, что, пока есть время, надо учесть всё, что можно учесть. — Что это у тебя в заднем кармане? — спросил он небрежно.

— Пистолет, — буркнул Артур и закусил губу.

— Зачем он тебе?

— Стрелять! — сказал Артур с вызовом.

— Брось, брось, — строго проговорил Рэдрик и сел прямо. — Давай его сюда. В Зоне стрелять не в кого. Давай.

Артур хотел что-то сказать, но промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Рэдрику, держа за ствол. Рэдрик взял пистолет за тёплую рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил:

— Платок у тебя есть какой-нибудь? Давай, я заверну...

Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнущий одеколоном, завернул пистолет и положил свёрток на шпалу.

— Пусть пока здесь полежит, — объяснил он. — Даст бог, вернёмся сюда, возьмём. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придётся... Хотя от патрульных отстреливаться, браток...

Артур решительно помотал головой.

— Да мне не для того, — сказал он с досадой. — Там только один патрон. Чтобы... если как с отцом...

— Во-он что... — протянул Рэдрик, рассматривая его в упор. — Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю... Гляди, рассвело!

Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала, сквозь неё прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморённым лозняком, а на горизонте, за холмами, ярко-жёлтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур оглянулся через плечо и восхищённо вскрикнул. Рэдрик

тоже оглянулся. На востоке горы казались чёрными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево — зелёная заря Зоны. Рэдрик поднялся, зашёл за вагонетку, присел на насыпи и, покряхтывая, смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зелёное зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и

сразу от холмов потянулись лиловатые тени, всё стало резким, рельефным, всё стало видно как на ладони, и прямо перед собой, метрах в двухстах, Рэдрик увидел вертолёт. Вертолёт упал, видно, в самый центр «комариной плеши», и весь фюзеляж его расплющило в жестяной блин, только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он чёрным крючком торчал над прогалиной между холмами, и стабилизирующий винт остался цел, отчётливо поскрипывал, покачиваясь на лёгком ветерке. «Плешь», видимо, попалась мощная, даже пожара настоящего не получилось, и на расплющенной жестянке отчётливо выделялась красно-синяя эмблема королевских военно-воздушных сил, которую Рэдрик вот уже сколько лет и в глаза не видел и вроде бы даже позабыл, как она выглядит.

Потом Рэдрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил её на спёкшейся груде породы в вагонетке. Самого карьера, видно, отсюда не было, его заслонил холм с почерневшим, обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по лощине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону.

Все ориентиры совпадали, но Рэдрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, — прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. Ладно, подумал Рэдрик, это мы ещё посмотрим. На месте будет виднее. Тропа до этой лощины вела по болоту, по открытому, ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но, приглядевшись, Рэдрик различил между сухими кочками какое-то тёмно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано: «Хлюст». Красный пунктир тропы шёл правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот Хлюст, как он выглядел и когда он был, Рэдрик вспомнить не мог. Вспомнилось ему почему-то только: дымный зал в «Боржче», огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти: фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшихся на водопой, одно из самых ярких воспоминаний детства, первое Посещение «Боржча». Что я тогда принёс? «Пустышку», кажется. Прямо из Зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь, выдержал грохочущий залп издевательств, дождался, пока Эрнест, тогда ещё молодой, всегда при галстуке бабочкой, — отсчитал сколько-то там зелёненьких... нет, тогда были ещё не зелёненькие, тогда были квадратные, королевские, с какой-то полуголой бабой в

плаще и в венке... дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжёлую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти... Рэдрик ухмыльнулся и подумал: может, это и был Хлюст?

— Разве между холмами можно, господин Шухарт? — вполголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту.

— Там посмотрим, — сказал Рэдрик. Он всё смотрел на карту. На карте было ещё два крестика: один на склоне холма с деревом, другой на каменной осыпи. Пудель и Очкарик. Тропа проходила понизу между ними. — Там посмотрим, — повторил он, сложил карту и сунул её в карман.

Он оглядел Артура.

— Подай мне на спину рюкзак... Пойдём, как раньше, — сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. — Ты идёшь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придётся много ползти, грязи не вздумай бояться, если прикажу, мордой в грязь без разговоров... Да курточку свою застегни. Готов?

— Готов, — сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало.

— Первое направление вот. — Рэдрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма в сотне шагов от насыпи. — Ясно? Пошёл.

Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним.

— Легче, легче, — сказал Рэдрик. — Спешить некуда.

Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжёлого рюкзака мускулами ног. Краем глаза он всё время следил за Артуром. Боится парень, думал он. Правильно боится. Предчувствует, наверное. Если у него чутьё как у папаши, то должен предчувствовать... Знал бы ты, Стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, Стервятник, что я тебя на этот раз послушаюсь. «А вот здесь, Рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь не хочешь, а придётся тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих отдать, кого не жалко...». Уговорил.

Первый раз в жизни согласился я на такое дело. Ну ничего, подумал он. Может быть, всё-таки обойдётся, всё-таки я не Стервятник, может быть, словчим что-нибудь...

— Стоп! — приказал он Артуру.

Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Рэдрик спускался, трясина затянула его по колено.

— Камень видишь? — спросил Рэдрик. — Вон, под холмом лежит. Давай на него.

Артур двинулся вперёд. Рэдрик отпустил его на десять шагов и пошёл следом. Трясина под ногами чавкала. Это была мёртвая трясина — ни мошкары, ни лягушек, даже лозняк здесь высох и сгнил. Рэдрик привычно посматривал по сторонам, но пока всё было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался, наполз на низкое ещё солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Рэдрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем, на ней стоял поезд из десятка вагонеток, часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку, насыпь под ними была покрыта рыжими потёками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда, воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нём мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Рэдрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти всухую и отвернулся.

— Дальше, — сказал он, и Артур повернул к нему напряжённое лицо. — Вон тряпьё, видишь? Да не туда смотришь! Вон там, правее...

— Да, — сказал Артур.

— Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. Возьми два пальца влево от этого Хлюста... Взял? Засёк точку? Ну примерно там, где лозняк чуть погуще... Двигай туда. Пошёл!

Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось всё меньше, и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. А на карте здесь везде сплошное болото, подумал Рэдрик. Устарела карта, давненько Барбридж здесь не бывал, вот она и устарела. Плохо. Оно, конечно, по сухому идти легче, но лучше уж чтобы здесь было это болото... Ишь вышагивает, подумал он про Артура. Как по центральному проспекту.

Артур, видимо, приободрился и шёл теперь полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру прямо в затылок. Парень ахнул, обхватил голову руками и, скорчившись, рухнул на сухую траву. Рэдрик остановился над ним.

— Вот так оно здесь и бывает, Арчи, — сказал он назидательно. — Это тебе не бульвар, ты здесь со мной не на шпацир вышел.

Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое.

— Всё понятно? — спросил Рэдрик.

Артур глотнул и покивал.

— Вот и хорошо. А в следующий раз надаю по зубам. Если жив останешься. Пошёл!

А из паренька мог бы получиться сталкер, думал Рэдрик. Звали бы его, наверное, Красавчик Арчи. У нас был уже один красавчик, звали его Диксон, а теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в «мясорубку» и всё-таки выжил. Повезло. Он-то, чудак, до сих пор думает, что это его Барбридж из «мясорубки» вытащил. Чёрта с два! Из «мясорубки» не вытащишь... Из Зоны он его выволок, это верно. Совершил Барбридж такой геройский поступок! Только попробовал бы он не выволочь! Эти его штучки тогда уже всем надоели, и ребята ему сказали в тот раз прямо: один лучше не возвращайся. А ведь как раз тогда Барбриджа и прозвали Стервятником, до этого он у нас в Битюках ходил...

Рэдрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и сейчас же, ещё не успев ни о чём подумать, крикнул:

— Стой!

Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась «комариная плешь», а может быть, она шла и по самой насыпи, не зря же свалились вагонетки. Артур стоял как вкопанный, он даже не обернулся.

— Возьми правее, — приказал Рэдрик. — Пошёл.

Да, неплохой был бы сталкер... Кой чёрт, жалею я его, что ли? Этого ещё не хватало. А меня кто-нибудь когда-нибудь жалел?.. Вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько к Гуте прислоняется, но, может быть, и жалеет, одно другому не помеха у порядочных людей... Только мне вот жалеть никого не приходится. У меня выбор: или-или... Он впервые с полной отчётливостью представил себе этот выбор: или этот паренёк, или моя Мартышка. Тут и выбирать нечего, всё ясно. Если только чудо возможно, сказал какой-то голос изнутри, и он с ужасом и ожесточением задавил в себе этот голос.

Они миновали груду серого тряпья. От Хлюста ничего не осталось, только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка — миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, покупали втихаря у армейских интендантов, надеялись на эти штуки как на самого господа бога, а потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало... Кто же всё-таки был этот Хлюст? Стервятник его сюда привёл или он сам сюда пришёл? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слыхал?.. Дьявол, припекает-то как! И это с утра, а что будет потом?

Артур, который шёл шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Рэдрик покосился на солнце. Солнце было ещё невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы поскрипывает, как картофельная мука, и она уже не колючая и жёсткая, как раньше, а мягкая и зыбкая, — она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоти. И он увидел чётко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!»

Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, всё ещё надеясь, что, может быть, пронесёт, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивая всё тело, как простыня, смоченная кипятком, глаза залило потом, и Рэдрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись! Терпи!». И стал терпеть сам.

И он бы вытерпел, и всё обошлось бы тихо-благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли не расслышал, что ему крикнул, то ли перепугался сверх всякой меры, а может быть, разом припекло его ещё сильнее, чем Рэдрика, — во всяком случае управлять собой он перестал и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнал его бессмысленный инстинкт — назад, как раз туда, куда бежать уж никак нельзя было. Рэдрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, лягнул Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задёргался, но Рэдрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожжённым лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю, обеими руками держа за длинные волосы дёргающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рёв: «Лежи, жаба, лежи, убью...». А сверху на него всё наваливали и наваливали груды раскалённого угля, и уже полыхала на нём одежда, и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь, кожа на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил...

Он не помнил, когда всё это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскалённым паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой и, помогая

себе свободной рукой, пополз вперёд, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава, мёртвая, сухая, колючая, но настоящая, — она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожжённое лицо то и дело обдавало остатками жара, пот лил прямо в глаза, наверное, потому что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой; горели обваренные руки, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Рэдрик с ужасом подумал, что совсем обварился и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, только бы доползти, ну ещё немного, давай, Рэд, давай, Рыжий, вот так, вот так, ну ещё немного...

Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду, с наслаждением вдыхая провонявшую гнилью прохладу. Век бы так лежал, но он заставил себя подняться, стоя на коленях, сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который всё ещё неподвижно лежал в шагах тридцати от болота, и перевернул его на спину. Н-да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась чёрно-серой маской из смеси запёкшейся крови и пепла, и несколько секунд Рэдрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске — следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде. Артур хрипло дышал, время от времени постанывая. Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он ничего не соображал и жадно хватал ртом воздух, отплёвываясь и кашляя. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Рэдрике.

— Ф-фу-у... — сказал он и помотал лицом, разбрызгивая грязную воду. — Что это было, мистер Шухарт?

— Смерть это была, — невнятно произнёс Рэдрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость.

Артур тоже осторожно трогал пальцами своё лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась тоже противу ожиданий почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу, рассечена нижняя губа, а так, в общем, ничего.

— Никогда о таком не слышал, — проговорил Артур и посмотрел назад.

Рэдрик тоже оглянулся. На сероватой испепелённой траве осталось много следов, и Рэдрик поразился, как, оказывается, короток был тот страшный, бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь метров двадцать-тридцать, не больше, было всего от края до края выжженной проплешины, но он сослепу и от страха полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскалённой сковороде, и спасибо ещё, что полз, в общем, туда, куда надо, а ведь мог бы заползти на «комариную плешь» слева, а мог бы и вообще повернуть обратно... Нет, не мог бы, подумал он с ожесточением. Это молокосос какой-нибудь мог бы, а я тебе не молокосос, и если бы не этот дурак, то вообще ничего бы не случилось, обварил бы себе ноги, вот и все неприятности.

Он посмотрел на Артура. Артур с фырканьем умывался, покряхтывал, задевая больные места. Рэдрик поднялся и, морщась от прикосновений задубевшей от жары одежды к обожжённой коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели, пузырьки в аптечке все полопались от жара к чёртовой матери, и от жухлого пятна несло невыносимой медициной. Рэдрик отстегнул клапан, принялся выгребать осколки стекла и пластика, и тут Артур у него за спиной сказал:

— Спасибо вам, мистер Шухарт! Вытащили вы меня.

Рэдрик промолчал. Какой ещё чёрт спасибо! Сдался ты мне спасать тебя.

— Я сам виноват, — сказал Артур. — Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать, но я здорово перепугался, а когда припекло, совсем голову потерял. Я очень боли боюсь, мистер Шухарт...

— Давай, вставай, — сказал Рэдрик, не оборачиваясь. — Это всё были цветочки... Вставай, чего разлёгся!

Зашипев от боли в обожжённых плечах, он вскинул на спину рюкзак, продел руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожжённых местах съёжилась и покрылась болезненными морщинами. Боли он боится... С чумой тебя пополам вместе с твоей болью!.. Он огляделся. Ничего, с тропы не сошли. Теперь эти холмики с покойниками. Поганые холмики стоят, гниды, торчат как чёртовы макушки, и эта лощинка между ними... Он невольно потянул носом воздух. Ах, поганенькая лощинка, вот она-то самая погань и есть. Жаба.

— Лощинку между холмами видишь? — спросил он Артура.

— Вижу.

— Прямо на неё. Марш!

Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперёд, шлёпая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше, — согнуло его, и шёл он теперь осторожно, с большой опаской. Вот и ещё одного я вытащил, подумал Рэдрик. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается: зачем? Что он мне, родной? Поручился я за него? Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся... Теперь-то, на ясную голову, я знаю: правильно я его тащил, мне без него не обойтись, он у меня как заложник за Мартышку. Я не человека вытащил, я миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить, хотя про всё забыл и про отмычку забыл, и про Мартышку забыл... Что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень. Это мне и Гута твердит, и Кирилл-покойник внушал, и Ричард всё время насчёт этого долдонит... Тоже мне, нашли добряка! Ты это брось, сказал он себе. Тебе здесь эта доброта ни к чему! Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз, понятно? Добряк... Мне его надо сберечь для «мясорубки», холодно и ясно подумал он. Здесь всё можно пройти, кроме «мясорубки».

— Стой! — сказал он Артуру.

Лощина была перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Рэдрика. Дно лощины было покрыто гнойно-зелёной, жирно отсвечивающей на солнце жижей. Над поверхностью её курился лёгкий парок, между холмами он становился гуще, и в тридцати шагах уже ничего не было видно. И смрад. «Запашок там будет, Рыжий, так ты не того... не дрейфь».

Артур издал горловой звук и попятился. Тогда Рэдрик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана свёрток с ватой, пропитанной дезодоратором, заткнул ноздри тампоном и протянул вату Артуру.

— Спасибо, мистер Шухарт, — слабым голосом сказал Артур. — А как-нибудь верхом нельзя?..

Рэдрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи.

— Это был Очкарик, — сказал он. — А на левом холме, отсюда не видно, лежит Пудель. В том же виде. Понял? Вперёд.

Жижа была тёплая, липкая. Сначала они шли в рост, погрузившись по пояс, дно под ногами, к счастью, было каменистое и довольно ровное, но вскоре Рэдрик услышал знакомое жужжание с обеих

сторон. На левом холме, освещённом солнцем, ничего не было видно, а на склоне справа, в тени, запрыгали бледные лиловатые огоньки.

— Пригнись! — скомандовал он сквозь зубы и пригнулся сам. — Ниже, дурак! — крикнул он.

Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвлённая молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Рэдрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же ударила вторая молния.

— Вперёд! Вперёд! — заорал он, не слыша себя.

Теперь они двигались на корточках, гусиным шагом, выставив наружу только головы, и при каждом разряде Рэдрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголочек вонзаются в кожу лица. «Вперёд! — монотонно повторял он. — Вперёд!» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на него, и белые прыгающие губы, и замазанную зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что им пришлось окунуться с головой. Зелёная слизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая ртом воздух, Рэдрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим, пронзительным запахом озона, а пар вокруг становился всё гуще или, может быть, это потемнело в глазах, и уже не видно было холмов, ни справа, ни слева ничего не было видно, кроме облепленной зелёной грязью головы Артура и жёлтого клубящегося пара вокруг.

Пройду, пройду, думал Рэдрик. Не в первый раз, всю жизнь так, сам в дряни, а над головой молнии, иначе никогда и не было... И откуда здесь эта дрянь? Сколько дряни... с ума сойти, сколько дряни в одном месте! Это Стервятник, подумал он яростно. Это Стервятник здесь прошёл, это за ним осталось... Очкарик лёг справа, Пудель лёг слева, и всё для того, чтобы Стервятник прошёл между ними и оставил за собой всю свою мерзость... Так тебе и надо, сказал он себе. Кто идёт следом за Стервятником, тот всегда по горло в грязи. Ты что, этого раньше не знал? Их слишком много, Стервятников, почему и не осталось здесь ни одного чистого места... Нунан дурак: ты, мол, Рыжий, нарушитель равновесия, разрушитель порядка, тебе, мол, Рыжий, при любом порядке плохо, и при плохом плохо, и при хорошем плохо, — из-за таких, как ты, никогда не будет царствия небесного на

земле... Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Где это ты у нас видел хороший порядок? Когда это ты видел меня при хорошем порядке?..

Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом перекошенное, с вытаращенными глазами лицо Артура и вдруг на мгновение похолодел: ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направления. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит чёрная верхушка камня, понял, хотя, кроме этой верхушки, ничего не было видно в жёлтом тумане.

— Стой! — заорал он. — Правее держи! Правее камня.

Он опять не услышал своего голоса и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой: держи правее камня, голову вниз. Вы мне за это заплатите, подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в чёрную верхушку, только раскалённые крошки полетели. Вы мне за это заплатите, повторял он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. Я из вас всю душу вытрясу за это! Он мимолётно подумал: о ком это я? Не знаю. Но кто-то за это должен заплатить, кто-то мне за это заплатит! Подождите, дайте только добраться до шара, до шара мне дайте добраться, я вам не Стервятник, я с вас спрошу по-своему...

Когда они выбрались на сухое место, на уже раскалённое солнцем каменное крошево, оглушённые, вывернутые наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Рэдрик увидел облупленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно отдышаться в тени. Они забрались в тень. Артур лёг на спину и принялся вялыми пальцами расстёгивать на себе куртку, а Рэдрик привалился рюкзаком к стенке фургона, кое-как вытер ладони о щебень и полез за пазуху.

— И мне... — проговорил Артур. — И мне, мистер Шухарт!

Рэдрик поразился, какой у этого мальчишки громкий голос, хлебнул, закрыл глаза и протянул флягу Артуру. Всё, подумал он вяло. Прошли. И это прошли. Теперь сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я всё помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили, не утопили? Кол вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец, понятно? Я ничего этого не оставлю. Теперь я решаю. Я, Рэдрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти буду решать всё и за всех. А вы, все прочие, Стервятники, жабы, пришельцы, костлявые, Квотерблады, паразиты, зелёненькие, Хрипатые, в галстучках, в мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работодательством, с вечными аккумуляторами, с вечными двигателями,

с «комариными плешами», с лживыми обещаниями, хватит, поводили меня за нос, через всю мою жизнь волокли меня за нос, я всё, дурак, хвастался, что, мол, как хочу, так и сделаю, а вы только поддакивали, а сами, гады, перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили, через тюрьмы, через кабаки... Хватит!

Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу.

— Никогда я не думал, — говорил Артур с кротким недоумением в голосе, — даже представить себе не мог... Я, конечно, знал смерть, огонь... но вот такое!.. Как же мы с вами обратно-то пойдём?

Рэдрик не слушал его. То, что говорит этот человечек, теперь не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он всё-таки был человеком. А теперь это... так, говорящая отмычка. Пусть говорит.

— Помыться бы... — Артур озабоченно озирался. — Хоть бы лицо сполоснуть.

Рэдрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалявшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев, и всего его, покрытого коркой потрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. Говорящая отмычка. Он отвернулся. Впереди расстилалось унылое, как заброшенная строительная площадка, пространство, засыпанное острой щебёнкой, запорошённое белой пылью, залитое слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, злое, мёртвое. Дальний край карьера был уже виден отсюда — тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным, а ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора; это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везенье.

Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку.

— Взгляните-ка, мистер Шухарт, — сказал он, оживившись. — Ведь это, наверное, отец оставил... Там и ещё есть.

Рэдрик не ответил. Это ты зря, подумал он равнодушно. Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать, лучше бы тебе сейчас помалкивать. А впрочем, всё равно... Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожжённой коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел, и закряхтел и страдальчески посмотрел на Рэдрика — видно было, что ему очень хочется

пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом:

— А нельзя мне сейчас ещё разок глотнуть, мистер Шухарт?

Рэдрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал:

— Красное видишь между камнями?

— Вижу, — сказал Артур и судорожно перевёл дух.

— Прямо на него. Пошёл.

Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, проговорил:

— Помыться бы хоть немножко... Приклеилось всё.

Рэдрик молча ждал. Артур безнадёжно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился.

— Рюкзак, — сказал он. — Рюкзак забыли, мистер Шухарт.

— Марш! — приказал Рэдрик.

Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и не к чему всё это было. И так пойдёт. Деваться ему некуда. Пойдёт. И Артур пошёл. Побрёл, ссутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котёнок. Рэдрик двинулся следом, и как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило его, и он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил тёмные очки.

От каждого шага взлетало облачко белой пыли, пыль садилась на ботинки, она издавала нестерпимый запах, вернее, это от Артура несло, идти за ним следом было невозможно, и не сразу Рэдрик понял, что запах-то исходит больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый, это он наполнял город в те дни, когда северный ветер нёс по улицам дымы от завода. И от отца так же пахло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными бешеными глазами, и Рэдрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает с себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлёпает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревёт на весь дом: «Мария! Заснула?» Нужно было дождаться, пока он отмоется, сядет за стол, где уже стоит бутылочка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом, дождаться, пока он дохлебает суп и примется за мясо с бобами, и вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле...

Всё вокруг было раскалено добела, и его мутило от сухой жестокой жары, от усталости, и неистово саднила обожжённая, полопавшаяся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затёртые до незнакомости воспоминания громоздились в отёкшем мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами, и все они были горькими, и все они вызывали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости, он выдавливал из глубин памяти свежее смеющееся личико Гуты, ещё девчонки, желанной и неприкосновенной, и оно появлялось было, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку Мартышки; он силился вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые, уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые и прекрасные места и времена, и Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла, а уставляются в лицо Рэдрику немигающие ангельские глазки Хрипатого Хью, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер... Какие-то тёмные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то немногое хорошее, что ещё хранила его память, и уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыла, рыла, рыла...

И всё это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой старых досок стоит «весёлый призрак» — спокойный, выдохшийся, и плевать на него; а справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, «комариная плешь», многохвостая, будто морская звезда, — далеко, не страшно, — а в центре её — расплющенная в тень птица, редкая штука, птицы над Зоной почти не летают; а вон рядом с тропой две брошенных «пустышки» — видно, Стервятник бросил на обратном пути, страх сильнее жадности... Он всё это видел, всё учитывал, и стоило скрюченному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Рэдрика сам собой раскрывался, и хриплый предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. Машину, думал он. Машину вы из меня сделали... А каменные обломки на краю карьера всё приближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора.

Дурак ты, Барбридж, думал Рэдрик. Хитёр, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с таких вот пор знаешь, ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать, всю жизнь с дураками дело имел... И тут он представил себе, какое рыло сделалось у Стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка... что в Зону с Рыжим за его, Стервятниковыми, ногами ушёл не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость... И, представив себе это рыло, Рэдрик захохотал, а когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой: марш, марш! И опять поползли по сознанию, как по экрану, рыла... Надо было менять всё. Не одну жизнь и не две жизни, не одну судьбу и не две судьбы, каждый винтик этого подлого здешнего смрадного мира надо было менять...

Артур остановился перед крутым съездом в карьер, остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Рэдрик подошёл и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога, ещё много лет назад разбитая гусеницами и колёсами тяжёлых грузовиков. Справа от неё поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор, ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно, только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали чёрные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество чёрных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и всё, что от них осталось, даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание Стервятника. Вон та — это Стервятник живым и невредимым вернулся из подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше — это Стервятник без помех вытащил из Зоны «шевелящийся магнит». А вон та сосулька — это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца Дина Барбридж. А вот это пятно — не похожий ни на мать, ни на отца Артур Барбридж, Арчи, красавчик, гордость...

— Дошли! — исступлённо прохрипел Артур. — Мистер Шухарт, дошли ведь всё-таки, а?

Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался смешно и нелепо, летели в разные стороны высохшие ошмётки грязи. И только тогда Рэдрик поднял глаза и посмотрел на Шар. Осторожно. С опаской. С затаённым страхом, что

он окажется каким-нибудь не таким, разочарует, вызовет сомнение, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, захлёбываясь в дряни...

Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжко придавил он своё ложе.

В нём не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнение, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый и что на ощупь он должен быть очень горячим: солнце раскалило. Он явно не светился своим светом, и он явно был неспособен взлететь на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нём. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов; он не был установлен здесь, он валялся, валялся точно так же, как все эти «пустышки», «браслеты», «батарейки» и прочий мусор, оставшийся от Посещения.

Но в то же время что-то в нём всё-таки было, и чем дольше Рэдрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а ещё лучше прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть, и просто подремать, отдыхая...

Артур вскочил, раздёрнул все молнии на своей куртке, сорвал её с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, вприпрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Рэдрика, он забыл о Рэдрике, он забыл обо всём, он шёл выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе — министра, а в самой далёкой перспективе, сами понимаете, — президента... Рэдрик, прищурив воспалённые глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдёт, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно,

и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой.

А мальчишка всё спускался, приплясывая по крутому спуску, отбивая немыслимую чечётку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко, и очень весело, и очень торжественно, — как песню или как заклинание, — и Рэдрик подумал, что впервые за всё время существования карьера по этой дороге спускались так, словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нём, и он услышал:

— Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдёт обиженный!.. Даром!.. Счастье! Даром!..

А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Рэдрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздёрнула в воздух и медленно, с натугой скрутила, как хозяйки скручивают бельё, выжимая воду. Рэдрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дёргающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге без обычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связные мысли. Ну вот и всё, думал он нехотя. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать ещё немножко. «Мясорубки» бывают с фокусами. Всё равно ведь подумать надо. Дело непривычное, думать, вот в чём беда. Что такое «думать»? Думать — это значит извернуться, сфинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь всё это не годится...

Ну ладно. Мартышка, отец... Расплатиться за всё, душу из гадов вынуть, пусть дряни пожрут, как я жрал... Не то, не то это, Рыжий... То есть то, конечно, но что всё это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые ещё предстояли, свирепо приказал себе: ты вот что, Рыжий, ты отсюда не уйдёшь, пока не додумаешься до дела, сдохнешь здесь рядом с этим Шариком, сжаришься, сгниёшь, но не уйдёшь...

Господи, да где же слова-то, мысли мои где? Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. Ведь за всю жизнь ни одной

мысли у меня не было! Подожди, Кирилл ведь что-то говорил такое... Кирилл! Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полузнакомые, но всё это было не то, потому что не слова остались от Кирилла, остались какие-то смутные картины, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные...

Подлость, подлость... И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады... Шпана... Как был шпаной, так шпаной и состарился... Вот этого не должно быть! Ты, слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рождён, чтобы мыслить (вот он, Кирилл, наконец-то!..). Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю, и для чего человек рождён — не знаю. Родился, вот и рождён. Кормится кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это — мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо — Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо — Очкарику плохо, Хрипатому хорошо — всем плохо, и самому Хрипатому плохо, только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя извернуться... Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с Хрипатым воевал и от меня, обалдуя, только одного лишь хотел — чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Работать идти? А не хочу я на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Я так полагаю: если среди вас человек работает, он всегда на кого-то из вас работает, раб он и больше ничего, а я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплёвывать, на тоску вашу и скуку...

Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то, он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но он опять видел только рыла, рыла, рыла... зелёненькие... бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр... Он знал, что всё это надо уничтожить, и он хотел это уничтожить, но он догадывался, что если всё это будет уничтожено, то не останется ничего, только ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову, он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер.

Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании, казалось, будто Шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошёл мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на чёрные

кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему Шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всесильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю, там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, — ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно всё проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: **„СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!“**

За миллиард лет до конца света

(рукопись, найденная при странных обстоятельствах)

1

1. «...белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марева над раскаленными крышами, все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов.

Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа, и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась послеполуденная маята — недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, просверливает всю квартиру навылет.

Малянов закрыл окно — обе рамы — и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь.

Было начало третьего.

На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла. Мойка была переполнена немытой посудой. Не мыто было давно.

Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Калям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул и снова закрыл рот. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плиту, к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей.

— Жрать хочешь... — сказал Малянов с неудовольствием.

Калям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, неплохо бы наконец.

— Утром же тебе давали, — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником. — Или нет, не давали... Это я тебе вчера утром давал...

Он вытащил Калямову кастрюлю и заглянул в нее — были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленого сыра „Янтарь“, страшненькая бутылка с остатками кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В

отделении для овощей среди луковой шелухи доживал свой век сморщенный полукочанчик капусты с кулак величиной да угасала в пренебрежении одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник — там в сугробах инея устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюдце. И все.

Калям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся.

— Ничего, ничего, — сказал он Каляму. — Все равно сейчас везде обеденный перерыв.

Можно было бы, конечно, пойти на Московский, но там всегда очереди, и тащиться туда далеко по жаре... Это надо же — какой паршивый интеграл оказался! Ну, ладно... Пусть это будет константа... от омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть. Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. Конформное изображение попробовать, подумал он.

Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось, что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки.

— Да!

— Витя? — спросил энергичный женский голос.

— Какой вам телефон нужен?

— Это „Интурист“?

— Нет, это квартира...

Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает потом. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. В Бобкину комнату надо перебираться, вот что. Баня ведь. Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова Владимира Ивановича шесть томов... И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать — перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было... Ч-черт... С этим твоим „Интуристом“, дура безрукая... Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда... А! Конформные отображения! Дурацкая идея. Вообще-то надо посмотреть...

Он, кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас же зазвонил снова.

— Идиот, — сказал он аппарату и взял трубку. — Да!

— Это база? Кто говорит? Это база?

Малянов положил трубку и набрал номер ремонтной.

— Ремонтная? Я говорю с телефона девяносто три девять восемь ноль семь... Слушайте, я вам вчера уже звонил один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда...

— Какой у вас номер? — прервал его злобный женский голос.

— Девяносто три девять восемь ноль семь. Мне все время звонят то в „Интурист“, то в гараж, то...

— Положите трубку. Проверим.

— Пожалуйста... — просительно сказал Малянов уже в короткие гудки.

Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. Та-ак... Где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный... Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль! Ну, хорошо. Оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб...

Он принялся перебирать листки вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. Все-таки здорово, ей богу... Ай да Малянов! Ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее. Это, брат, тебе не „фигура цапф большого пассажного инструмента“, этого, брат, до тебя никто не делал! Тьфу-тьфу, только бы не сглазить... Интеграл этот... Да пусть он треснет, интеграл этот — дальше поехали, дальше!

Раздался звонок. В дверь. Калям спрыгнул с тахты и, задрав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку.

— С цепи сорвались, честное слово, — произнес он.

В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами.

— Ка-ал-лям! — сказал Малянов сдавленно-угрожающим голосом. — Да, Калям, пошел вон!

Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собой большую картонную коробку. Бурча нечленораздельное, он двинулся прямо на Малянова.

— Вы... э... — промямлил Малянов, отступая.

Плюгавый был уже в прихожей — глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы.

— Позвольте... э... — бормотал Малянов, наступая ему на пятки.

Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций.

— Вы из ЖЭКа, что ли? — Малянову почему-то пришло в голову, что это водопроводчик наконец явился — чинить кран в ванной.

— Из гастронома, — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции, сколотые булавкой. — Распишитесь вот здесь...

— А что это? — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки стола заказов. Коньяк — две бутылки, водка... — Подождите, — сказал он. — По-моему, мы ничего...

Он увидел сумму. Он ужаснулся. Таких денег в квартире не было. Да и вообще, с какой стати? Охваченное паникой воображение мигом выстроило перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу... звонить, наверное, куда-нибудь придется, может быть, даже ехать... Но тут на углу квитанции он обнаружил фиолетовый штамп „Оплачено“ и сразу же — имя заказчика: Малянова И.Е. Ирка!.. Ни черта понять невозможно.

— Вот тут расписывайтесь, вот тут... — бурчал плюгавый, тыча траурным ногтем. — Вот где птичка стоит...

Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался.

— Спасибо... — сказал он, возвращая карандаш. — Большое спасибо... — Обалдело повторял он, протискиваясь рядом с плюгавым через узкую прихожую. Дать ему надо бы что-нибудь, да мелочи нет... — Огромное вам спасибо, до свидания!.. — крикнул он в спину

кургузому пиджачку, ожесточенно отпихивая ногой Каляма, который рвался полизать цементный пол на лестничной площадке.

Потом Малянов закрыл дверь и некоторое время постоял в сумраке.

— Странно... — сказал он вслух и вернулся на кухню.

Калям уже отирался возле коробки. Малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок, пакеты, свертки, банки консервов. На столе лежала копия квитанции. Так. Копирка, как водится, подгуляла, но почерк разборчивый. Улица Героев... гм... Вроде, все правильно. Заказчик: Малянова И.Е. Ничего себе — привет! Он посмотрел на сумму. Уму непостижимо. Он перевернул квитанцию. На обратной стороне ничего интересного не было. Был там расплющенный и присохший комар. Что это Ирка — ошалела совсем, что ли? У нас долгов пятьсот рублей... Подожди... Может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом? Он стал вспоминать день отъезда, распахнутые чемоданы, кучи одежды, разбросанные повсюду, полуодетая Ирка орудует утюгом... Не забывай Каляма кормить, травку ему приноси... знаешь, такую острую... за квартиру не забудь заплатить... если шеф позвонит, дай ему мой адрес. Вроде бы все. Что-то она еще говорила, но тут Бобка прибежал со своим пулеметом... Да! Белье надо в стирку отнести... Ни фига не понимаю.

Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. Коньяк. Рублей пятнадцать, ей-богу! Да что же это такое — день рождения у меня сегодня, что ли? Ирка уехала когда? Четверг, среда, вторник... Он принялся загибать пальцы. Сегодня десятый день, как она уехала. Значит, заказала заранее. Деньги опять у кого-нибудь заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, пятьсот рублей, а она — сюрприз!.. Ясно было только одно: в магазин можно не ходить. Все остальное представлялось как бы в тумане. День рождения? Нет. Годовщина свадьбы?? Вроде бы тоже нет. Точно, нет. День рождения Барбоса? Зимой...

Он пересчитал горлышки. Десять штук, как одна копейка. На кого же это она рассчитывала? Мне столько и за год не выпить. Вечеровский тоже почти не пьет, а Вальку Вайнгартена она не любит.

Калям ужасно заорал. Что-то он там учуял, в этой коробке...»

2. «...лосося в собственном соку и ломоть ветчины с лежалой горбушкой. Потом он принялся мыть посуду. Было совершенно ясно, что при таком великолепии в холодильнике грязь на кухне выглядит особенно неуместно. За это время телефон звонил дважды, но Малянов

только челюсть выпячивал. Не пойду, и все. Провались они все со своими гаражами и базами. Сковородку тоже придется помыть, это неизбежно. Сковородка теперь понадобится для более высоких целей, нежели какая-то там яичница... Тут ведь все дело в чем? Если интеграл на самом деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производная... Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно, здорово получаются эти пузыри. А что? Так и назову: пузыри. Нет, наверное, лучше „полости". Полости Малянова. „М-полости". Гм...

Он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в Калямову кастрюлю. Горячо еще слишком, пар идет. Бедный Калямушка. Придется ему потерпеть. Придется Калямушке еще немножко пострадать, пока остынет...

Он вытирал руки, когда его вдруг снова осенило, совсем как вчера. И так же, как вчера, он сначала не поверил.

— Подожди-ка, подожди... — лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по проходному, липнущему к пяткам линолеуму, в густой желтый жар, к столу, к авторучке... Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся... И в то же время вторым, а вернее первым, основным планом: функция Гартвига... и всей правой части как не бывало... Полости получаются осесимметричные... А интегральчик-то не ноль! То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная... Но картина, ах какая картина получается! Как это я сразу не допер? Ничего, Малянов, ничего, браток, не один ты не допер. Академик вон тоже не допер... В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями осесимметричные полости, материя обтекала их, пыталась проникнуть внутрь, но не могла, на границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает что там начиналось... Ничего, и это выясним... С волокнистой структурой разберемся — раз. С дугами Рагозинского — два! А потом — планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам — оболочки! В точности наоборот!

Снова задребезжал проклятый телефон. Малянов зарычал от ненависти, не переставая писать. Выключить его к чертям сейчас же. Там есть такой рычажок... Он бросился на тахту и сорвал трубку.

— Да!

— Митька?

— Да... Это кто?

— Не узнаешь, собака? — Это был Вайнгартен.

— А, Валька... Чего тебе?

Вайнгартен помедлил.

— Ты почему к телефону не подходишь? — спросил он.

— Работаю, — сказал Малянов злобно. Он был очень неприветлив. Хотелось вернуться к столу и досмотреть картину с пузырями.

— Работаешь... — Вайнгартен засопел. — Нетленку, значит, лепишь...

— Ты что, зайти хотел?

— Зайти? Да нет, не то, чтобы зайти...

Малянов окончательно разозлился.

— Так что тебе надо?

— Слушай, отец... А чем ты сейчас занимаешься?

— Работаю! Сказано тебе!

— Да нет... Я хотел спросить: над чем ты работаешь?

Малянов обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена двадцать пять лет, и сроду Вайнгартен никакой Маляновской работой не интересовался, сроду Вайнгартена интересовал только сам Вайнгартен лично, а также еще два таинственных предмета его интересовали: двугривенный 1934 года и так называемый „консульский полтинник“, который, собственно, и полтинником-то не был, а был какой-то там особенной почтовой маркой... Делать гаду нечего, решил Малянов. Трепло... Или ему крыша понадобилась, что он так мнется? И тут он вспомнил Аверченко.

— Над чем я работаю? — переспросил он со злорадством. — Изволь, могу рассказать во всех подробностях. Тебе, как биологу это будет страшно интересно. Вчера утром я наконец слез с мертвой точки. Оказывается, при самых общих предположениях относительно потенциальной функции, мои уравнения движения имеют еще один интеграл, кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнения движения записать в векторной форме и применить

преобразования Гартвига, то интегрирование по всему объему проводится до конца и вся проблема сводится к интегро-дифференциальным уравнениям типа Колмогорова-Феллера...

К его огромному изумлению, Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили.

— Ты меня слушаешь? — спросил он.

— Да-да, слушаю очень внимательно.

— Может быть, ты даже меня понимаешь?

— Секу помаленьку, — бодро сказал Вайнгартен, и тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался.

— Валька, случилось что-нибудь?

— Где? — спросил Вайнгартен, помедлив опять.

— Где... У тебя, естественно! Я же слышу, что ты какой-то... Тебе что, разговаривать неудобно?

— Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно. Жара замучила. Про двух петухов знаешь анекдот?

— Нет. Ну?

Вайнгартен рассказал анекдот про двух петухов — очень глупый, но довольно смешной, какой-то совсем не Вайнгартеновский анекдот. Малянов, конечно, слушал и, когда пришло на то время, захихикал, но неясное ощущение, что у Вайнгартена не все ладно, от этого анекдота у него только усилилось. Опять, наверное, со Светкой поцапался, подумал он неуверенно. Опять ему эпителий попортили. И тут Вайнгартен спросил:

— Слушай, Митька... Снеговой — такая фамилия тебе ничего не говорит?

— Снеговой? Арнольд Палыч? Ну, сосед у меня есть, напротив живет, через площадку... А что?

Вайнгартен некоторое время молчал. Даже сопеть перестал. Слышно было в трубке только негромкое бряканье, — наверное, подбрасывал он в горсти свои коллекционные двугривенные. Потом он сказал:

— А чем он занимается, твой Снеговой?

— Физик, по-моему. В каком-то ящике работает. Шибко секретный. А ты откуда его знаешь?

— Да я его не знаю, — с непонятной досадой сказал Вайнгартен, и тут раздался звонок в дверь.

— Нет, явно сорвались с цепи! — сказал Малянов. — Подожди, Валька. В дверь наяривают...

Вайнгартен что-то сказал или даже, кажется, крикнул, но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Калям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся.

Открывши дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая. Незнакомая. (Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах и брюхо у него потное.) У ног ее стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник.

— Дмитрий Андреевич? — спросила она стесненно.

— Д-да... — проговорил Малянов. Родственница? Троюродная Зина из Омска?

— Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич... Наверное, я некстати... Вот.

Она протянула конверт. Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Страшные чувства против всех родственников на свете и особенно против этой троюродной Зины... — или Зои?.. — угрюмо клокотали у него в душе.

Впрочем, это оказалась не троюродная Зина. Ирка крупными буквами, явно второпях, писала вкривь и вкось: „Димкин! Это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее расск. Прими ее хорошенько, она ненадолг. Не хами. У нас все хор. Она расск. Целую, И.“

Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль, закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку.

— Очень приятно... — заявил он дружески-развязным тоном. — Заходите, Лида, прошу... Извините меня за мой вид. Жара!

Все-таки, видно, не все было в порядке с его радушием, потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности, и она почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала.

— Позвольте, я вам чемодан... — поспешно сказал Малянов. — Заходите, заходите, не стесняйтесь... Пыльник вешайте сюда... Здесь у нас большая комната, я там работаю, а здесь — Бобкина... Она и будет ваша... Вы, наверное, душ захотите принять?

Тут с тахты донеслось до него гнусавое кваканье.

— Пардон! — воскликнул он. — Вы располагайтесь, располагайтесь, я сейчас...

Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом повторяет:

— Митька... Митька... Отвечай, Митька...

— Але! — заорал Малянов. — Валька, слушай...

— Митька! — заорал Вайнгартен. — Это ты?

Малянов даже испугался.

— Чего ты орешь? Тут ко мне приехали, извини. Я тебе потом позвоню.

— Кто? «Кто приехал?» — страшным голосом спросил Вайнгартен.

Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел Валька. Ну, и денек...

— Валька, — сказал он очень спокойно. — Что с тобой сегодня? Ну, женщина одна приехала... Иркина подруга...

— С-сукин сын! — сказал вдруг Вайнгартен и повесил трубку...»

2

3. «...а она сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Надо сказать, девочка она была в высшей степени призывная, — у Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики, все у нее было в порядке безо всяких лифчиков. О „полостях Малянова“ он больше не вспоминал.

Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек. Он был уже Димочкой, а она у него уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах — просто, к слову, пришлось, — и Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил (петухи напомнили), что надо бы позвонить Вайнгартену, но звонить не пошел, а вместо этого сказал Лидочке:

— Изумительно вы все-таки загорели!

— А вы — белый, как червяк, — сказала Лидочка.

— Работа, работа! Труды!

— А у нас в пионерлагере...

И Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на Большой антенне. Что такое Большая антенна? Пожалуйста. Он рассказал, что такое Большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы

уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины, — решительный был малый.

— Хотите еще стаканчик? — спросил он.

Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение — не то растерянности, не то испуга, — у нее даже рот приоткрылся.

— Налить? — неуверенно спросил Малянов, качнув чайником.

Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по лбу.

— Что?

— Я говорю — чайку налить вам еще?

— Да нет, спасибо... — Она засмеялась как ни в чем не бывало. — А то я лопну. Надо фигуру беречь.

— О да! — сказал Малянов с повышенной галантностью. — Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее стоит даже застраховать...

Она мельком улыбнулась и, повернув голову, через плечо посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для поцелуев. Равно как и ее плечи. Не говоря уже об остальном. Цирцея, подумал он. И сразу же добавил: впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю...

— Вот странно, — сказала Цирцея. — У меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела: эту кухню, этот двор... Только во дворе было большое дерево... У вас так бывает?

— Конечно, — сказал Малянов с готовностью. — По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, это называется ложная память...

— Да, наверное, — проговорила она с сомнением.

Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне явно возник какой-то перебой. Словно заело что-то.

— А может быть, мы с вами уже встречались? — спросила она вдруг.

— Где? Я бы вас запомнил...

— Ну, может быть, случайно... где нибудь на улице... на танцах...

— Какие могут быть танцы? — возразил Малянов. — Я уже забыл, как это делается...

И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в

бочке, с грохотом пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. „А наш Калям ходит в унитаз...“ Или: „Помидоров в этом году в магазинах не достать...“ Или: „Может быть, еще стаканчик чайку?“ Или, скажем: „Ну, а как вам нравится наш замечательный город?..“

И Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом:

— Ну, а какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?

Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления глазами. Потом отвела взгляд, сморщила лоб. Закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу.

— Планы?.. — пробормотала она наконец. — Н-ну... Конечно... А как же... — Она вдруг словно бы вспомнила. — Ну, Эрмитаж, конечно... импрессионисты... Невский... И вообще, я белых ночей никогда не видела...

— Малый туристский набор, — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. — Давайте я вам все-таки чайку налью... — предложил он.

И снова она засмеялась как ни в чем не бывало.

— Димочка, — сказала она, очень мило надувши губки. — Ну что вы ко мне пристаете с этим вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью... А тут еще в такую жару!

— Кофе? — предложил Малянов с готовностью...

Она была категорически против кофе. В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе. Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно он рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки должны быть видны трусики, а если...»

4. «...потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на „ты“. Без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное — духовная общность. Выпили на „ты“ и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился, Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за „каберне“. „Каберне“ было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникшей из

разговора о мужестве, ледяное красное вино шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда ли, ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово — „где-то“... Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах... Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак. Интеллигентный брак. Это — договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное — дружба. Искренность и дружба. Брак — это дружба. Договор о дружбе, понимаешь?.. При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности встряхивал. Возьми нас с Иркой. Ты знаешь мою Ирку...

В дверь позвонили.

— Это еще кого бог несет? — удивился Малянов, поглядев на часы. — По-моему, у нас все дома.

Было без малого десять. Повторяя: „У нас, знаете ли, все дома...“, он пошел открывать и в прихожей, конечно, наступил на Каляма. Калям вякнул.

— А-а, провались ты, сатана!.. — сказал ему Малянов и открыл дверь.

Оказалось, что это сосед пожаловал, шибко секретный Снеговой Арнольд Палыч.

— Не поздно? — прогудел он из-под потолка. Огромный мужик, как гора. Седовласый Шат.

— Арнольд Палыч! — сказал ему Малянов с подъемом. — Какое может быть „поздно“ между друзьями? Пр-рошу!

Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую.

— Очень, очень кстати... — говорил он, таща Снегового на буксире. — Познакомитесь с прекрасной женщиной!.. — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. — Лидочка, это Арнольд Палыч! — объявил он. — Сейчас я еще один бокал... и бутылочку...

Перед глазами у него, надо сказать, уже немножко плыло. И если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало, он себя знал. Но очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно, чтобы все всем нравилось. Пусть они друг другу понравятся, растроганно думал он, покачиваясь перед открытым баром и таращась в желтоватые сумерки. Ему все равно, он холостяк. А у меня Ирка!.. Он погрозил пальцем в пространство и полез в бар.

Слава богу, он ничего не разбил. Но когда он приволок бутылку „Бычьей крови“ и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показались Малянову зловещими: зловеще-красивое, яркое лицо Лидочки и зловеще-жесткое, лишайчатое от старых ожогов лицо Снегового.

— Что смолкнул веселия глас? — бодро вопросил Малянов. — Все на свете вздор! Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения! Не помню, кто это сказал... — Он откупорил бутылку. — Давайте пользоваться этой общностью... э... роскошью...

Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговой подскочил, спасая белые брюки. Все-таки он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол, и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул.

Пока вся роскошь человеческого общения выражалась в нечленораздельных возгласах. О, эта проклятая интеллигентская стеснительность! Не могут два прекрасных человека, сразу же, немедленно раскрыться друг перед другом, принять друг друга в свои души, стать друзьями с первого взгляда. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслух. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка скучающе смотрела в окно. Снеговой, пришипившись, крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него и руки обожжены до самых локтей и даже выше. Это вдохновило его на вопрос:

— Ну, Арнольд Палыч, когда вы теперь исчезнете?

Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него, а затем втянул голову в плечи и сгорбился. Малянову показалось даже, что он собирается встать, и тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь, двусмысленно.

— Арнольд Палыч! — возопил он, воздевая руки к потолку. — Господи, да я совсем не то хотел сказать! Лидочка! Ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключ от квартиры и как бы растворяется в воздухе! Месяц его нет, другой нет. Вдруг — звонок. Является... — Он почувствовал, что несет лишнее, что хватит уже, что пора выруливать из этой темы. — В общем, Арнольд Палыч, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад видеть вас. Так что о том, чтобы исчезать раньше двух часов, не может быть и речи...

— Ну конечно, Дмитрий Алексеевич... — прогудел Снеговой и похлопал Малянова ладонью по плечу. — Конечно, дорогой, конечно...

— А это — Лидочка! — сказал Малянов, тыча пальцем в сторону Лидочки. — Лучшая школьная подруга моей жены. Из Одессы.

Снеговой с видимым усилием повернулся к Лидочке и спросил:

— Вы надолго в Ленинград?

Она что-то ответила довольно доброжелательно, и он снова что-то спросил, что-то про белые ночи...

Словом, у них началось все-таки роскошное общение, и Малянов смог перевести дух. Не-ет, ребята, мне пить нельзя. Ну и срамотища! Трепло забалдевшее. Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик Снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимыми, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванной и заперся там. Некоторое время он в угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову.

Когда он вернулся, освеженный и с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Малянов воспринял это с удовлетворением, хотя в общем-то ему не нравились люди, которые возводят вежливость в искусство. Впрочем, роскошь общения, как и всякая другая роскошь, несомненно, требовала определенных издержек. Он подождал, пока Лидочка отсмеется, подхватил падающее знамя и разразился серией астрономических анекдотов, которых никто из присутствующих знать не мог. Когда он выдохся, Лидочка порадовала общество анекдотами пляжными. Анекдоты были, мягко говоря, довольно средние, и рассказывать Лидочка не умела, но зато она умела хохотать, и зубки у нее были белые как сахар. Затем разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. „Что бы мы делали без цыганок?“ — пробормотал Малянов и похвастался, что вот ему лично цыганка нагадала крупное открытие относительно взаимодействия звезд с диффузионной материей в Галактике. Они снова хватили ледяной „Бычьей крови“, и тут Снеговой вдруг разразился странной историей.

Оказывается, ему было предсказано, что умрет он восьмидесяти трех лет в Гренландии. („В Гренландской социалистической республике...“ — немедленно сострил Малянов, но Снеговой спокойно возразил: „Нет, просто в Гренландии...“) В это он фатально верит, и эта уверенность всех вокруг раздражает. Однажды — это было во время

войны, хотя и не на фронте, — один из его знакомых, под банкой, конечно, или, как тогда говорили, вполсвиста, до того раздражился, что вытащил „ТТ“, приставил дуло к голове Снегового и, сказавши: „А вот мы проверим!“ — спустил курок.

— И?.. — спросила Лидочка.

— Убит наповал, — сострил Малянов.

— Была осечка, — сказал Снеговой.

— Странные у вас знакомые, — сказала Лидочка с сомнением.

Тут она попала в самую точку. Вообще-то Арнольд Палыч рассказывал о себе редко, но смачно. И если судить по этим рассказам, то знакомые у него и в самом деле были очень необычные.

Некоторое время Малянов горячо спорил с Лидочкой, как Арнольда Палыча может занести в Гренландию. Малянов склонялся к авиационной катастрофе. Лидочка же настаивала на обыкновенной туристической поездке. Сам Арнольд Палыч, растянув лиловые губы в улыбку, помалкивал и садил сигарету за сигаретой.

Потом Малянов спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что и эта бутылка уже пуста. Он рванулся за новой, однако Арнольд Палыч остановил его. Ему уже пора было идти, он ведь просто так забежал, на минутку. Лидочка, напротив, готова была продолжать. Она вообще была ни в одном глазу, только щеки немного раскраснелись.

— Нет-нет, ребята, — сказал Снеговой. — Я должен идти. — Он грузно поднялся и снова заполнил собой всю кухню. — Я уж пойду, Дмитрий Алексеевич, проводите меня... Спокойной ночи, Лидочка. Рад был познакомиться.

Они двинулись в прихожую. Малянов все пытался уговорить его остаться еще на бутылочку, но Снеговой только мотал седогривой головой и отрицательно мычал. В дверях он вдруг громко произнес:

— Да, Дмитрий Алексеевич! Я же обещал вам одну книгу... Пойдемте, я вам отдам...

„Какую это книгу?“ — хотел спросить Малянов, но Снеговой прижал толстый палец к губам и увлек его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым, как овечка. Молча, все еще держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. По всей квартире у него горел свет — и в прихожей, и в обеих комнатах, и на кухне, и даже в ванной. Пахло застарелым табачным дымом и тройным одеколоном, и Малянову вдруг пришло в голову, что за все пять лет знакомства он, пожалуй, ни разу здесь не был. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано и горели все лампы —

тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая лампа на столе. На спинке стула висел китель с серебряными погонами инженер-полковника и с целой коллекцией орденских планок. Оказывается, наш Арнольд Палыч — полковник... Так-так-так!

— Какую книгу? — спросил наконец Малянов.

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Арнольд Палыч сел рядом и сейчас же закурил. На Малянова он не глядел.

— Значит так... — прогудел он. — Значит так... Прежде всего. Что это за женщина?

— Лидочка? Я же вам сказал: подруга жены. А что?

— Вы ее хорошо знаете?

— Н-нет... Только сегодня познакомился. Она приехала с письмом... — Малянов запнулся и испуганно спросил: — А вы что, думаете, она...

Снеговой перебил его.

— Спрашивать буду я. Времени у нас нет. Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич?

Малянов сразу вспомнил Вальку Вайнгартена, и его снова охватило нехорошим холодком. Он сказал, криво ухмыльнувшись:

— Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю...

— А кто еще? — быстро спросил Снеговой, буравя его маленькими синими глазками. — Она?

Малянов потряс головой.

— Нет... Вайнгартен... Мой друг.

— Вайнгартен... — Снеговой насупился. — Вайнгартен...

— Да нет! — сказал Малянов. — Я его хорошо знаю, еще в школе вместе учились, до сих пор дружим...

— Такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Нет... Да что случилось, Арнольд Палыч?

Снеговой раздавил в пепельнице окурок и закурил новую сигарету.

— Кто еще спрашивал о вашей работе?

— Больше никто...

— Так над чем вы работаете?

Малянов вдруг разозлился. Он всегда злился, когда ему становилось страшно.

— Слушайте, Арнольд Палыч, — сказал он. — Я не понимаю.

— Я тоже! — сказал Снеговой. — И очень хочу понять! Рассказывайте! Подождите... У вас закрытая работа?

— Кой черт — закрытая? — раздраженно сказал Малянов. — Обыкновенная астрофизика и звездная динамика. Взаимодействие звезд с диффузионной материей. Ничего закрытого здесь нет, просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу!

— Звезды и диффузионная материя... — медленно повторил Снеговой и пожал плечами. — Где имение, а где вода... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря вы точно не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой молча дымил рядом с ним — огромный, сгорбившийся, страшный. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. У меня к вам все, Дмитрий Алексеевич. Извините ради бога.

— Да, но у меня не все! — сказал Малянов сварливо. — Я бы все-таки хотел понять...

— Не имею права, — сказал Снеговой, как отрезал.

Конечно, так просто Малянов бы от него не отстал. Но тут он заметил такое, что сразу прикусил язык. У Снегового левый карман его гигантской пижамы оттопыривался, и там весьма отчетливо и недвусмысленно отсвечивала рукоятка пистолета. Большого какого-то пистолета. Вроде гангстерского кольта в кино. И этот кольт сразу отбил у Малянова желание расспрашивать. Как-то сразу ему стало ясно, что его дело телячье и что спрашивает здесь не он. А Снеговой поднялся и сказал:

— Теперь вот что, Дмитрий Алексеевич. Я завтра опять...»

3

5. «...полежал на спине, не спеша очухиваясь. Под окном уже вовсю грохотали прицепы, а в квартире было тихо. От вчерашнего бестолкового дня остался только легкий шум в голове, металлический привкус во рту и какая-то неприятная заноза в душе или в сердце, или бог знает еще где. Он стал разбираться, что это за заноза, но тут раздался осторожный звонок в дверь. А, это Палыч с ключами, сообразил он и торопливо соскочил с постели.

По дороге через прихожую он мельком отметил, что на кухне все прибрано, а дверь в Бобкину комнату плотно закрыта и задернута

изнутри занавеской. Дрыхнет Лидочка. Встала, посуду помыла, и снова завалилась.

Пока он возился с замком, звонок снова деликатно звякнул.

— Сейчас, сейчас... — сиплым со сна голосом проговорил он. — Одну минутку, Арнольд Палыч...

Однако это оказался вовсе не Арнольд Палыч. Шаркая ногами по резиновому коврику, у порога стоял совершенно незнакомый молодой человек. Он был в джинсах, в черной рубашке с закатанными рукавами и в огромных противосолнечных очках. Тонтон-макут. Малянов еще успел заметить, что в глубине лестничной площадки, возле лифта, маячат еще двое тонтон-макутов в черных очках, но ему сразу стало не до них, потому что первый тонтон-макут произнес вдруг: „Из уголовного розыска“ — и протянул Малянову какую-то книжечку. В развернутом виде.

„Очень мило!“ — пронеслось у Малянова в голове. Все ясно. Этого и следовало ожидать. Чувства его были расстроены. Он тупо смотрел в раскрытую книжечку. Там была фотокарточка, какие-то печати и надписи, но воспринял он своими расстроенными чувствами только одно: „Управление Министерства внутренних дел“. Крупными буквами.

— Да-да... — пролепетал он. — Конечно. Прошу. А в чем дело?

— Здравствуйте, — произнес тонтон-макут очень вежливо. — Вы — Малянов Дмитрий Алексеевич?

— Я...

— Несколько вопросов с вашего разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста... — сказал Малянов. — Подождите, здесь у меня не убрано... Только что встал... Может быть, на кухню?.. Нет, там сейчас солнце... Ладно, заходите сюда, я сейчас уберу.

Тонтон-макут прошел в большую комнату и скромно остановился посередине, откровенно озираясь, а Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздергивать шторы и открывать окно.

— Вы садитесь вот сюда, в кресло... Или вам удобнее за стол? А что, собственно, случилось?

Осторожно перешагивая через разбросанные на полу листки, тонтон-макут приблизился к креслу, уселся и положил на колени свою папку.

— Ваш паспорт, пожалуйста, — сказал он.

Малянов сунулся в стол, выкопал паспорт и передал ему.

— Кто еще здесь живет? — спросил тонтон-макут, разглядывая паспорт.

— Жена... сын... Но их сейчас нет. Они сейчас в Одессе... в отпуске... у тещи...

Тонтон-макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Такой обыкновенный, простоватой внешности молодой человек. И никакой не тонтон-макут, а скорее уж продавец. Или, скажем, мастер из телеателье.

— Давайте познакомимся, — сказал он. — Я — старший следователь уголовного розыска, зовут меня Игорь Петрович Зыков.

— Очень приятно, — сказал Малянов.

Тут ему в голову пришло, что он, черт возьми, не какой-нибудь уголовный преступник, что он, черт возьми, старший научный сотрудник и кандидат наук. И не мальчишка, между прочим. Он закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и сказал сухо:

— Слушаю вас.

Игорь Петрович приподнял свою папку двумя руками, тоже положил ногу на ногу и, опустив папку на колено, спросил:

— Вы Снегового Арнольда Павловича знаете?

Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то — ему и самому не было ясно, почему — он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Палыча. Поэтому он по-прежнему сухо ответил:

— Да. С полковником Снеговым я знаком.

— А откуда вам известно, что он полковник? — немедленно поинтересовался Игорь Петрович.

— Н-ну, как вам сказать... — проговорил Малянов уклончиво. — Все-таки мы знакомы давно...

— Как давно?

— Н-ну... лет пять, наверное... с тех пор, как вьехали в этот дом...

— А при каких обстоятельствах вы познакомились?

Малянов стал вспоминать. Действительно, при каких обстоятельствах? Ч-черт... Когда он ключ принес в первый раз, что ли?.. Нет, мы тогда уже были знакомы...

— Гм... — сказал он, снял ногу с ноги и поскреб в затылке. — Вы знаете, не помню. Помню, был такой случай... Лифт не работал, а Ирина — это моя жена — возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой... Арнольд Палыч взял у нее авоську и ребенка... Ну, жена пригласила заходить... Кажется, в тот же вечер он и зашел...

— Он был в форме?

— Нет, — сказал Малянов уверенно.

— Так... И с тех пор вы, значит, подружились?

— Н-ну, что значит, — подружились? Он заходит к нам иногда... берет книги, приносит книги... чаек иногда пьем вместе... а когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи...

— Зачем?

— Как — зачем? — сказал Малянов. — Мало ли...

В самом деле, зачем? Как-то это мне никогда в голову не приходило. Так, на всякий случай, наверное...

— На всякий случай, наверное, — сказал Малянов. — Например, приедет кто-нибудь из родных... или еще что-нибудь...

— Кто-нибудь приезжал?

— Да нет... насколько я помню — нет. При мне, во всяком случае, никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает...

Игорь Петрович задумчиво покивал, затем спросил:

— Ну, а приходилось вам с ним говорить о науке, о работе?

Опять о работе...

— О чьей работе? — мрачно спросил Малянов.

— О его, конечно. Ведь он, кажется, был физиком...

— Понятия не имею. Скорее уж ракетчиком каким-нибудь...

Он еще не успел договорить, как его обдало холодом. То есть как это — БЫЛ? Почему — БЫЛ? Ключ не занес... Господи, да что же случилось, наконец? Он уже готов был заорать во весь голос: „То есть в каком это смысле БЫЛ?“, но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с панталыку. Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в сторону руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик.

— А это откуда у вас? — спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. — Откуда у вас это?

— По... позвольте... — проговорил Малянов, приподнимаясь.

— Сидите! — прикрикнул Игорь Петрович. Сизые его глазки бегали по лицу Малянова. — Как к вам попали эти данные?

— Какие данные? — прошептал Малянов. — Какие к черту данные? — заревел он. — Это мои расчеты!

— Это не ваши расчеты, — холодно возразил Игорь Петрович, тоже повышая голос. — Вот этот график — откуда он у вас?

Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности.

— Из головы! — сказал Малянов свирепо. — Вот из этой! — Он ударил кулаком по темени. — Это зависимость плотности от расстояния до звезды!

— Это кривая роста преступности в нашем районе за последний квартал! — объявил Игорь Петрович.

Малянов потерял дар речи. А Игорь Петрович, брезгливо оттопырив губы, продолжал:

— Даже срисовать толком не сумели... Не так она на самом деле идет, а вот так... — С этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся, сильно надавливая, чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом: — Вот так... А здесь вот так, а не так... — Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. — Эх, Малянов, Малянов, — произнес он. — Квалификация у вас высокая, опытный преступник, а действуете, как последняя сявка...

Малянов обалдело переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Собственно, строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться.

— Ну, а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым? — спросил Игорь Петрович прежним вежливым до бесцветности голосом.

— В хороших... — сказал Малянов тупо.

— Она с ним на „ты“?

— Послушайте, — сказал Малянов. — Вы мне чертеж испортили. Что это такое, в самом деле?

— Какой чертеж? — удивился Игорь Петрович.

— Да вот этот, график...

— А! Ну, это не существенно. Снеговой заходит в гости, когда вас нет дома?

— Несущественно... — повторил за ним Малянов. — Это, знаете ли, вам несущественно, — проговорил он, поспешно собирая со стола бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. — Сидишь тут, сидишь как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно... — бормотал он, опускаясь на корточки и собирая черновики, разбросанные по полу.

Игорь Петрович без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мундштучок. Когда Малянов, отдуваясь, потный и злой, вернулся на свое место, Игорь Петрович спросил вежливо:

— Вы разрешите закурить?

— Курите, — сказал Малянов. — Вон пепельница... И знаете, спрашивайте поскорей, что вам нужно. Мне работать пора.

— Это зависит только от вас, — возразил Игорь Петрович, деликатно выпустив дым из угла рта в сторону от Малянова. — Вот,

например, такой вопрос: как вы обычно называете Снегового — полковник, по фамилии или по имени-отчеству?

— Когда как придется, — буркнул Малянов. — Какая вам разница, как я его называю.

— Полковником тоже называете?

— Ну называю. Ну?

— Это очень странно, — сказал Игорь Петрович, осторожно стряхивая пепел. — Дело в том, что Снеговой получил звание полковника только позавчера.

Это был удар. Малянов молчал, чувствуя, что лицо его заливается краской.

— Так откуда вы узнали, что Снеговой произведен в полковники?

Малянов махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Чего там... Ну, прихвастнул. Ну, не знал я, что он полковник... или там подполковник... Просто я вчера к нему зашел, увидел китель с погонами...

— А когда вы вчера у него были?

— Да вечером. Поздно... Книгу вот у него взял. Вот эту...

Это он зря сболтнул — про книгу. Игорь Петрович сейчас же книгу придвинул к себе и принялся ее листать, а Малянов покрылся холодным потом, потому что понятия не имел, что это за книга и о чем.

— Это на каком же она языке? — рассеяно спросил Игорь Петрович.

— Э... — промямлил Малянов, вторично покрываясь холодным потом. — На английском, надо полагать...

— Да нет, как будто... — проговорил Игорь Петрович, вглядываясь в текст. — Это все-таки кириллица у вас... не латынь... А! Да это же русский.

Малянов облился потом в третий раз, но Игорь Петрович только положил книгу на место, нацепил свои черные очки и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. В голове у него было следующее: сукин ты сын... капитан Конкассер вшивый... не скажу, где наши...

— На кого я похож, по-вашему? — спросил вдруг Игорь Петрович.

— На тонтон-макута, — ляпнул Малянов не задумываясь.

— Неправильно, — сказал Игорь Петрович. — Попробуйте еще разок.

— Не знаю... — пробормотал Малянов.

Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой.

— Плохо! Ну — плохо! Никуда не годится. Странное у вас представление о наших органах следствия... Это надо же — тонтон-макут!

— Ну, а на кого же? — спросил Малянов трусливо.

Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками.

— На человека-невидимку! — сказал он раздельно. — Единственное сходство с тонтон-макутом — единственное! — что тоже пишется через черточку.

Он замолчал. Стояла тяжелая ватная тишина, даже машины перестали взревывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука, и ему опять мучительно захотелось проснуться. И вдруг в этой тишине грянул телефон.

Малянов вздрогнул. Игорь Петрович, кажется, тоже. Звонок грянул вторично. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича.

— Да-да, — сказал тот. — Это, наверное, вас.

Малянов добрался до тахты и взял трубку. Это был Валька Вайнгартен.

— Здорово, астрофаг, — буркнул он. — Что не звонишь, скотина?

— Ты понимаешь... не до того было...

— Развлекаешься?

— Д-да... — промямлил Малянов. Он все время чувствовал у себя на затылке взгляд капитана Конкассера. — Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню...

— А что у тебя там? — сейчас же встревожился Вайнгартен.

— Да так... Я тебе потом расскажу.

— Баба эта?

— Нет.

— Мужчина?

— Ага...

Вайнгартен тяжело задышал в трубку.

— Слушай, — сказал он, понизив голос. — Я сейчас к тебе приеду. Хочешь?

— Нет! Тебя еще здесь не хватало...

Вайнгартен снова задышал.

— Слушай, — сказал он. — Он рыжий?

Малянов невольно оглянулся на Игоря Петровича. К его удивлению, Игорь Петрович на него вовсе не смотрел, а читал, шевеля губами, книгу Снегового.

— Да нет, что за чушь? Ладно, я потом тебе позвоню...

— Обязательно позвони! — заорал Валька. — Как только он уйдет, сразу же звони!

— Ладно, — сказал Малянов и повесил трубку. Потом он вернулся на свое место, пробормотал: „Пардон...“

— Ничего-ничего, — сказал Игорь Петрович и отложил книгу. — Широкие у вас все-таки интересы, Дмитрий Алексеевич...

— Д-да... не жалуюсь... — промямлил Малянов. Ч-черт, хоть бы одним глазком глянуть, что это за книга. — Игорь Петрович, — сказал он просительно. — Давайте, если можно, как-нибудь закругляться. Второй час уже.

— Ну, разумеется! — воскликнул Игорь Петрович с готовностью. Он озабоченно взглянул на часы и извлек из папки блокнот. — Значит, так. Вчера вечером вы заходили к Снеговому. Так?

— Да.

— За этой книгой?

— Д-да... — сказал Малянов, решив ничего больше не уточнять.

— Когда это было?

— Поздно... около двенадцати...

— Вам не показалось, что Снеговой собирается куда-то уезжать?

— Да, показалось. То есть не показалось. Он просто сам сказал, что завтра утром уезжает и занесет мне ключи...

— Занес?

— Нет. То есть, может, он и звонил в дверь, но я не слышал, спал...

Игорь Петрович быстро писал, положив блокнот на папку, лежащую на колене. На Малянова он теперь вовсе не смотрел, даже когда задавал вопросы. Торопился, что ли?

— А Снеговой не сказал вам, куда он собирается ехать?

— Нет. Он никогда не говорит, куда едет.

— Но вы догадываетесь, куда он ездит?

— Н-ну, в общем... догадываюсь... На полигон какой-нибудь... или еще что-нибудь еще в этом роде...

— Он вам что-нибудь рассказывал об этом?

— Нет, конечно. Мы о его работе никогда не говорили.

— Откуда же вы догадываетесь?

Малянов пожал плечами. В самом деле, откуда? Такие вещи объяснить невозможно... Ясно, что человек работает в глубоком ящике, лицо вон все обожжено, руки... и манеры, соответствующие... и то, что уклоняется от разговоров о работе...

— Не знаю, — сказал Малянов. — Как-то мне всегда казалось... Не знаю.

— Он знакомил вас с кем-нибудь из своих друзей?

— Нет, никогда.

— А с женой?

— Разве он женат? Я всегда считал, что он холостяк или... это... вдовец...

— А почему вы так считали?

— Не знаю, — сказал Малянов. — Интуиция.

— А может быть, ваша жена вам об этом говорила?

— Ирка? Ей-то откуда знать?

— Вот это я и хотел бы выяснить.

Воцарилось молчание, оба они уставились друг на друга.

— Не понимаю, — сказал Малянов. — Что вы хотите выяснить?

— Откуда ваша жена знала, что Снеговой не женат?

— Э-э... А-а... А она знала?

Игорь Петрович не ответил. Он пристально смотрел на Малянова, и зрачки его странным и зловещим образом то сужались, то расширялись. Нервы у Малянова были натянуты до предела. Ему казалось: еще секунда — и он начнет колотить кулаками по столу, брызгать слюной и вообще потеряет лицо. Он просто больше не мог. Во всей этой болтовне был какой-то зловещий подтекст, все это было похоже на липкую паутину, и в эту паутину почему-то то и дело затягивали Ирку...

— Ну, ладно, — сказал вдруг Игорь Петрович, захлопывая блокнот. — Значит, коньяк у вас здесь... — Он указал на бар. — А водка — в холодильнике. Вы что предпочитаете? Лично вы.

— Я?

— Да. Вы. Лично.

— Коньяк... — произнес Малянов хрипло и глотнул. В горле у него было сухо.

— Вот и прекрасно! — бодренько сказал Игорь Петрович, легко поднялся и мелкими шажками двинулся к бару. — Далеко ходить не надо... Та-ак! — Он уже копался в баре. — Ага, тут у вас и лимончик есть... подсох слегка, но это ничего... Какие рюмочки прикажете? Давайте вот из этих, из синеньких...

Малянов тупо смотрел, как он с необыкновенной ловкостью расставляет на столе рюмки, тонкими ломтиками нарезает лимон, откупоривает бутылку.

— Вы знаете, — говорил он, — если откровенно — дело ваше дрянь. Разумеется, все решает суд, но я как-никак десять лет работаю, кое-какой опыт имею. Всегда, знаете ли, можно представить себе, какое дело на что тянет. Вышки вам не дадут, но лет пятнадцать я вам, можно сказать, гарантирую... — Он аккуратно, не пролив ни капли, разлил коньяк по рюмкам.

— Разумеется, всегда могут открыться смягчающие обстоятельства, но пока я их, откровенно говоря, не вижу... Не вижу, не вижу и не вижу, Дмитрий Алексеевич! Ну... — Он поднял рюмку и приглашающе наклонил голову.

Одеревенелыми пальцами Малянов взялся за свою рюмку.

— Хорошо... — произнес он не своим голосом. — Но могу я все-таки узнать, что происходит?

— Ну, разумеется! — вскричал Игорь Петрович. Он выпил, кинул в рот ломтик лимона и энергично закивал. — Разумеется, можете! Теперь я вам все расскажу. Имею полное право.

И он рассказал.

Сегодня в восемь утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дожидался в подъезде, как обычно. Повременив пять минут, водитель поднялся на лифте и позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал — водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Начальство стало звонить Снеговому по телефону. Телефон Снегового был все время занят. Тем временем водитель, обойдя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь и в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица, которые, прибыв, тут же взломали замок и осмотрели квартиру Снегового. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены, на кровати в спальне стоит незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой — пистолет системы Макарова. Было установлено, что Снеговой скончался от огнестрельной раны, нанесенной из этого пистолета в правый висок в упор. Смерть последовала мгновенно между тремя и четырьмя часами утра.

— А я-то здесь при чем? — просипел Малянов.

В ответ Игорь Петрович подробно рассказал, как строилась баллистическая кривая и как была обнаружена пуля, прошедшая навылет и застрявшая в стене.

— Но я-то, я-то здесь при чем? — спрашивал Малянов, истово ударяя себя в грудь. К этому моменту они уже выпили по третьей.

— Но вам его жалко? — спрашивал Игорь Петрович. — Жалко его вам?

— Жалко, конечно... Он был отличный мужик... Но я-то! Меня-то вы почему? Я и пистолета сроду в руках не держал! Я же невоеннообязанный... по зрению...

Игорь Петрович его не слушал. Он подробно рассказывал, как следствию удалось в короткие сроки выяснить, что покойный Снеговой был левша, и очень странно, что застрелился он, держа пистолет в правой руке.

— Ну да, ну да! — согласился Малянов. — Арнольд Палыч действительно был левша, я тоже это знаю, могу подтвердить... Но я-то... Я ведь спал всю ночь! А потом, зачем я его буду убивать, сами посудите!

— Ну а кто же? «Кто?» — ласково спросил Игорь Петрович.

— Откуда мне знать? Это вы должны знать, кто!

— Вы-с! — гнусно-вкрадчивым голосом Порфирия произнес Игорь Петрович, разглядывая Малянова сквозь рюмку одним глазом. — Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич!..

— Кошмар какой-то... — пробормотал Малянов беспомощно. Ему хотелось заплакать от отчаяния.

И тут легкий сквознячок потянул по комнате, шевельнул сдвинутую штору, и яростное пополуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо по лицу. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеки набежала краска, подбородок дрогнул. „Простите... — прошептал он с совершенно человеческой интонацией. — Простите, Дмитрий Алексеевич... Может быть. вы... Как-то здесь...“

Он замолчал, потому что в Бобкиной комнате что-то грохнуло и разлетелось с длинным дребезгом.

— Это что такое? — спросил Игорь Петрович, насторожившись. Души человеческой снова не было в его голосе.

— Это там... один человек... — проговорил Малянов, так и не успев понять, что же произошло с Игорем Петровичем. Совсем другая мысль вдруг осенила его. — Слушайте! — вскричал он, вскакивая. — Пойдемте! Вот, пожалуйста, там подруга жены! Она подтвердит!.. Всю ночь спал, никуда не выходил...

Толкаясь плечами, они устремились в прихожую.

— Интересно, интересно... — приговаривал Игорь Петрович. — Подруга жены... Посмотрим!

— Она подтвердит... — бормотал Малянов. — Сейчас увидите... Подтвердит...

Они без стука ворвались в Бобкину комнату и остановились. Комната была прибрана и пуста. Лидочки не было, постели на тахте не

было, чемодана не было. А под окном, рядом с осколками глиняного кувшина (Хорезм, XI век) сидел Калям с необыкновенно невинным видом.

— Это? — произнес Игорь Петрович, указывая на Каляма.

— Нет... — ответил Малянов глупо. — Это наш кот, он у нас давно... Позвольте, а где же Лидочка? — Он оглянулся на вешалку. Белого пыльника тоже не было. — Она ушла, наверное...

Игорь Петрович пожал плечами.

— Наверное, — сказал он. — Здесь ее нет.

Тяжело ступая, Малянов подошел к разбитому кувшину.

— С-скотина! — сказал он и дал Каляму по уху.

Калям шарахнулся вон. Малянов присел на корточки. Вдребезги. Какой хороший кувшин был...

— А она у вас ночевала? — спросил Игорь Петрович.

— Да, — сказал Малянов мрачно.

— Когда вы ее видели в последний раз? Сегодня?

Малянов помотал головой.

— Вчера. То есть, собственно, сегодня. Ночью. Я ей простыни давал, одеяло... — Он заглянул в Бобкин ящик для постельного белья. — Вот. Все тут.

— Давно она у вас живет? — спросил Игорь Петрович.

— Вчера приехала.

— А вещи ее здесь?

— Не вижу, — сказал Малянов. — И пыльника ее нет.

— Странно, верно? — сказал Игорь Петрович.

Малянов молча махнул рукой.

— Ну и черт с нею, — сказал Игорь Петрович. — С этими бабами одна морока. Пойдемте еще по рюмочке...

Вдруг входная дверь распахнулась... и в прихожую...»

6. «...дверь лифта, загудел мотор. Малянов остался один.

Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем в общем не думая. Появился откуда-то Калям, прошел, нервно подрагивая хвостом, мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол.

— Ну, ладно, — сказал Малянов наконец, оторвался от косяка и прошел в большую комнату.

Было там накуренно, сиротливо стояли три синие рюмки на столе — две пустые и одна наполовину полная, солнце уже добиралось до книжных полок.

— Коньяк унес... — сказал Малянов. — Это надо же!

Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и фырчало, через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шумы лифта. Пахло щами. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, — случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Павлович Снеговой, полковник и загадочный человек, ушел из жизни».

4

7. «Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал Каляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, накрошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюрю, стоя перед балконным окном и глядя на залитый солнцем пустой двор. Даже деревья не удосужились посадить. Хоть одно.

Мысли его текли вялой струйкой, да и не мысли это были, собственно, — так, обрывки какие-то. Может быть, это такие новые методы следствия, думал он. Научно-техническая революция и вообще. Непринужденность и психическая атака... Но насчет коньяка — как-то совсем непонятно. Игорь Петрович Зыков... или Зыкин? Ну, это он мне сам так представился, а вот что у него было в документе? Мазурики! — подумал он вдруг. Спектакль со мной разыграли ради полбутылки коньяка...

Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, только какой-то нелепый. Какой-то он всегда был неустроенный... особенно вчера. А ведь кому-то он звонил... звонил он кому-то, что-то хотел сказать еще, объяснить, предупредить о чем-то. Малянова передернуло. Он поставил в мойку грязный стакан — эмбрион будущей кучи грязной посуды. Здорово Лидочка кухню убрала, все так и сверкает... А он меня предупреждал насчет Лидочки. Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно...

Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. Нет, ерунда. Все правильно. И почерк явно Иркин, и манера ее... И вообще, вы подумайте: ну на кой ляд убийце мыть посуду?..»

8. «...у Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на тахте, уткнувшись носом в жесткий ворс. У Вальки ведь там тоже что-то не в порядке. Истерика какая-то... Вообще с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей... Что-то он у меня спрашивал, странное что-то... Эх, Валька, мне бы твои заботы! Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике — глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем... Малянов снова набрал номер, и снова оказалось занято. Ч-черт, как время бездарно проходит! Сейчас бы самое работать и работать, а тут вся эта пакость.

И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло с тахты. И зря, конечно. Никого там, в прихожей, не было. И в ванной тоже. И в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Ч-черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня, что похож на человека-невидимку. На глисту ты похож очкастую, а не на человека-невидимку! Он еще раз набрал телефон Вальки, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется... Он натянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице.

На шестом этаже в нише у мусоропровода миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов знал этого сопляка — кандидат в рядовые необученные из семнадцатой квартиры, второй год никуда поступить не может и не хочет... Больше до самого восьмого этажа он никого не встретил. Но все время у него было предчувствие, что вот-вот наткнется на кого-то. Цапнут его за локоть и скажут негромко: „Одну минуточку, гражданин...“

Слава богу, Фил был дома. И как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия ее величества и через пять минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно дома работать в галстуке.

— Работаешь? — спросил Малянов.

— Как всегда.

— Ну, я ненадолго.

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Кофе?

— Подожди, — сказал Малянов. — А впрочем, давай.

Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием.

— Я сделаю по-венски, — сказал он, не оборачиваясь.

— Валяй, — отозвался Малянов. — Сливки есть?

Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки.

— У тебя следователь был? — спросил он.

Лопатки на мгновение застыли, затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснушчатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков.

— Прости... Как ты сказал?

— Я сказал: следователь у тебя был сегодня или нет?

— Почему именно следователь? — осведомился Вечеровский.

— Потому что Снеговой застрелился, — сказал Малянов. — Ко мне уже приходили.

— Кто такой Снеговой?

— Ну, этот дядька, который напротив меня живет. Ракетчик.

— А...

Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками.

— А ты разве его не знал? — спросил Малянов. — По-моему, я вас знакомил.

— Нет, — сказал Вечеровский. — Насколько я помню, нет.

По кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. Рассказать или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где всегда все стояло на своих местах и все было самого высшего качества — на мировом уровне или несколько выше, — здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными... нечистоплотными какими-то.

— Ты анекдот о двух петухах знаешь? — спросил Малянов.

— О двух петухах? Я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный. От сохи.

— Да нет. «О двух!» — сказал Малянов. — Не знаешь?

И он рассказал анекдот о двух петухах. Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьезную задачу, — такой у него был вид, сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил наконец:

— Превосходно. Это я не о твоем анекдоте. Это я о кофе.

— Догадываюсь, — уныло сказал Малянов.

Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал:

— Вчера я немного подумал над твоей задачей... Ты не пробовал применить функции Гартвига?

— Знаю, знаю, — сказал Малянов. — Сам допер.

— Получилось?

Малянов отодвинул от себя пустую чашку.

— Слушай, Фил, — сказал он. — Какие тут, к чертовой матери, функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты...»

9. «...помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал:

— Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели... — И добавил: — Бедняга.

Непонятно было, кого он имеет в виду.

— Нет, я все могу понять, — сказал Малянов. — Но вот этот следователь...

— Ты хочешь еще кофе? — перебил его Вечеровский.

Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся.

— Тогда пойдем ко мне, — сказал он.

Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол — совершенно пустой, с одиноким листком бумаги посередине — вынул из ящика механический бювар, щелкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер.

— Старшего следователя Зыкина, — произнес он вялым начальственным голосом. — Я и говорю Зыкова, Игоря Петровича... На операции? Благодарю вас. — Он положил трубку. — Старший следователь Зыков на операции, — сообщил он Малянову.

— Коньяк он мой пьет с девками, а не на операции... — проворчал Малянов.

Вечеровский покусал губу.

— Это уже неважно. Важно, что он существует.

— Конечно, существует! — сказал Малянов. — Он мне свое удостоверение показывал... Или ты думал, что это были жулики?

— Вряд ли...

— Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю... да еще рядом с опечатанной квартирой.

Вечеровский кивнул.

— А ты говоришь — функции Гартвига! — сказал Малянов укоризненно. — Какая тут может быть работа! Тут того и гляди загремишь в лагерь...

Вечеровский пристально смотрел на него рыжими глазами.

— Дима, — проговорил он, — а тебя не удивило, что Снеговой заинтересовался твоей работой?

— Еще бы! Сроду мы с ним о работе никогда не говорили...

— А что ты ему рассказал?

— Н-ну... в общих чертах... Он, собственно, и не настаивал на подробностях.

— И что он сказал?

— Ничего не сказал. По-моему, он был разочарован. „Где имение, а где вода“, так он выразился.

— Прости?

— „Где имение, а где вода“...

— А что, собственно, это значит?

— Это из классики откуда-то... В том смысле, что в огороде бузина, а в Киеве дядька...

— Ага... — Вечеровский задумчиво поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чистую пепельницу, вынул из стола трубку с кисетом и принялся ее набивать. — Ага... „Где имение, а где вода“... Это хорошо. Надо будет запомнить.

Малянов нетерпеливо ждал. Он очень верил в него. У Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг. Малянов не знал другого человека, который из совокупности данных фактов был бы способен делать столь неожиданные выводы.

— Ну? — сказал Малянов наконец.

Вечеровский уже набил свою трубку и теперь так же неторопливо и со вкусом ее раскуривал. Трубка тихонечко сипела. Вечеровский сказал, затягиваясь:

— Дима... п-п... а на сколько ты, собственно, продвинулся с четверга? Мы, кажется, в четверг... п-п... разговаривали в последний раз...

— Какое это имеет значение? — спросил Малянов с раздражением. — Мне сейчас, знаешь ли, не до этого...

Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей — по-прежнему смотрел на Малянова рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И Малянов сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что — нет.

— Неплохо я продвинулся, — сказал он и принялся рассказывать, как ему удалось переформулировать задачу и свести ее сначала к уравнениям в векторной форме, а потом к интегро-дифференциальному уравнению, как у него стала вырисовываться физическая

картина, как допер он до М-полостей и как вчера сообразил наконец использовать преобразования Гартвига.

Вечеровский слушал очень внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, и только один раз, когда Малянов, увлекшись, схватил одинокий листок и попытался писать на обратной стороне, остановил его и попросил: „Словами, словами...“

— Но ничего этого я сделать уже не успел, — уныло закончил Малянов. — Потому что сначала начались дурацкие телефонные звонки, потом приперся мужик из стола заказов...

— Ты мне ничего об этом не говорил, — прервал его Вечеровский.

— Так это никакого отношения к делу не имеет, — сказал Малянов. — Пока были телефонные звонки, я еще кое-как работал, а потом заявилась эта Лидочка, и все пошло на пропасть...

Вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвяного дыма.

— Неплохо, неплохо... — прозвучал его глуховатый голос. — Но остановился ты, как я вижу, на самом интересном месте.

— Не я остановился, а меня остановили!

— Да, — сказал Вечеровский.

Малянов ударил себя кулаками по коленям.

— Ч-черт, сейчас бы работать и работать! А я думать не могу! От каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю... и вдобавок эта милая перспективочка — пятнадцать лет ИТЛ...

Он уже в который раз вворачивал про эти пятнадцать лет, все ждал, что Вечеровский скажет: „Не выдумывай, какие там пятнадцать лет, это же явное недоразумение...“, — но Вечеровский и на этот раз ничего подобного не сказал. Вместо этого он принялся длинно и нудно расспрашивать Малянова о телефонных звонках: когда они начались (точно), куда звонили (ну хоть несколько конкретных примеров), кто звонил (мужчина? женщина? ребенок?). Когда Малянов рассказал ему про звонки Вайнгартена, он, по-видимому, удивился и некоторое время молчал, а потом опять принялся за свое. Что Малянов отвечал в телефон? Всегда ли подходил? Что ему сказали в бюро ремонта? Кстати, только теперь Малянов вспомнил, что после его второго звонка в бюро ремонта ошибочные вызовы прекратились... Но он даже не успел сказать об этом Вечеровскому, потому что вспомнил еще кое-что.

— Слушай, — сказал он, оживившись. — Я совсем забыл. Вайнгартен, когда звонил вчера, спрашивал, знаю ли я Снегового.

— Да?

— Да. Я сказал, что знаю.

— А он?

— А он сказал, что не знает... Не в этом дело. Что это, по-твоему, — совпадение? Или как? Странное какое-то совпадение...

Вечеровский помолчал некоторое время, попыхивая трубкой, а затем снова принялся за свое. Что это за история со столом заказов? Поподробнее... Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что принес? Что теперь осталось от того, что он принес?.. Этим унылым допросом он загнал Малянова в кромешную тоску, потому что Малянов не понимал, зачем это все надо и какое отношение все это имеет к его несчастьям. Потом Вечеровский наконец замолчал и принялся ковыряться в трубке. Малянов сначала ждал, а потом стал представлять себе, как за ним приходят четверо, все как один в черных очках, и шарят по квартире, и отдирают обои, и допытываются, не вступал ли он в сношения с Лидочкой, и не верят ему, а потом уводят...

Он хрустнул пальцами и с тоской пробормотал:

— Что будет? Что будет?..

Вечеровский тотчас откликнулся:

— Кто знает, что ждет нас? — сказал он. — Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать...

Малянов понял, что это стихи только потому, что Вечеровский, закончив, разразился глуховатым уханьем, которое обозначало у него довольный смех. Наверное, так же ухали уэллсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью, и Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим.

— Иди ты к черту, — сказал ему Малянов.

И тогда Вечеровский произнес вторую тираду — на этот раз в прозе.

— Когда мне плохо, я работаю, — сказал он. — Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, — я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета — пожалуйста: садись работать. Слава богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно кроме бумаги и карандаша...

Положим, все это Малянов знал и без него. Из книг. У Малянова все это было не так. Он мог работать только, когда на душе у него было легко и ничего над ним не висело.

— Помощи от тебя... — сказал он. — Дай-ка я лучше Вайнгартену позвоню... Странно мне все-таки, что он спрашивал про Снегового...

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Только, если тебе не трудно, перенеси телефон в другую комнату.

Малянов взял аппарат и поволок шнур в соседнюю комнату.

— Если хочешь, оставайся у меня, — сказал ему вслед Вечеровский. — Бумага есть, карандаш я тебе дам...

— Ладно, — сказал Малянов. — Там видно будет...

Теперь Вайнгартен не отвечал. Малянов дал звонков десять, перезвонил, дал еще десяток и повесил трубку. Так. Что же теперь делать? Конечно, можно было бы остаться здесь. Здесь прохладно, тихо. В каждой комнате кондиционер. Прицепов и тормозов не слышно — окна во двор. И вдруг он понял, что дело не в этом. Ему было просто страшно возвращаться к себе. Это надо же! Больше всего на свете я люблю свой дом, и в этот дом мне страшно возвращаться. Ну, нет, подумал он. Этого вы от меня не дождетесь. Это уж пардон.

Малянов решительно сгреб аппарат и отнес его на место. Вечеровский сидел, уставясь в свой одинокий листок, и тихонько постукивал по нему благороднейшим паркером. Листок был наполовину исписан символами, которых Малянов не понимал.

— Я пойду, Фил, — сказал Малянов.

Вечеровский поднял к нему рыжее лицо.

— Конечно... Завтра у меня экзамен, а сегодня я весь день дома. Звони или заходи...

— Хорошо, — сказал Малянов.

По лестнице он спускался неторопливо, торопиться было некуда. Сейчас заварю чайку покрепче, сяду на кухне, Калям вспрыгнет мне на колени, я буду гладить его, прихлебывать чай и попробую наконец трезво и спокойно все это продумать... Жаль, телевизора нет, посидеть бы вечерок перед ящиком, посмотреть что-нибудь бездумное... комедию какую-нибудь или футбол... Пасьянсик разложу, что-то давно я пасьянсов не раскладывал...

Он спустился на свою лестничную площадку, нащупывая в кармане ключи, повернул за угол и остановился. Так. Сердце его провалилось куда-то в желудок и принялось там стучать медленно, размеренно, как свайная баба. Та-ак... Дверь квартиры была приоткрыта.

Он на цыпочках подкрался к двери и прислушался. В квартире кто-то был. Бубнил незнакомый мужской голос и что-то отвечал незнакомый детский голос...»

5

10. «...сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки.

— Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев Малянова. — Где ты пропадаешь?

Огромные щеки его пылали лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опорожненная бутылка экспортной „Столичной“ и всякие яства из стола заказов.

— Успокойся и не переживай, — продолжал Вайнгартен. — Икру мы не тронули. Тебя ждали.

Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался.

— Так-так-так! — произнес Малянов, вступая в кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом — моя крепость, так это называется?

— Взятая штурмом, отец, взятая штурмом! — заорал Вайнгартен. — Слушай, откуда у тебя такая водка? И жратва?

Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку, но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость.

— Мы тут без вас нахозяйничали... — сказал он сконфуженно. — Это я виноват...

— Чепуха, чепуха, вот сюда давайте, в ведро...

— Дядя — трус, — произнес вдруг мальчик отчетливо.

Малянов вздрогнул. И все тоже вздрогнули.

— Ну-ну, тише... — произнес красавец и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем.

— Дитя! — сказал Вайнгартен. — Ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай.

— Почему же это я трус? — спросил Малянов, усаживаясь. — Зачем это ты меня обижаешь?

— А я тебя не обижаю, — возразил мальчик, разглядывая Малянова как какое-то редкостное животное. — Я тебя назвал...

Между тем красавец освободился от осколков, вытер ладонь носовым платком и протянул мне руку.

— Захар, — представился он.

Мы обменялись церемонным рукопожатием.

— За дело, за дело! — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки. — Тащи еще две рюмки...

— Слушайте, ребята, — сказал Малянов. — Я водку пить не буду.

— Вино пей, — согласился Вайнгартен. — Там у тебя еще две бутылки белого...

— Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике, икру и масло... и вообще все, что там есть. Жрать хочется.

Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел Игорь Петрович, и вернулся к столу. Стол ломился от яств. Наемся и напьюсь, подумал я с веселой яростью. Молодцы ребята, что приехали...

Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили, и я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал:

— А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло.

Малянов поперхнулся.

— Откуда ты взял?..

— Вот что, — сказал Вайнгартен, переставши сиять как масляный блин. — Нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло. Так что не стесняйся. Что тебе сказал этот рыжий?

— Вечеровский?

— Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненно-рыжий человечек в этаком удушливо-черном костюме. Что он тебе сказал?

Малянов откусил от бутерброда сколько в рот влезло и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь, то и дело отводя взгляд. Вайнгартен бешено выкатывал глаза, готовясь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Малянову, словно хотел в рот ему вскочить.

— Ребята, — сказал Малянов наконец. — Какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все было гораздо хуже.

— Ну, давай, давай, рассказывай, — нетерпеливо сказал Вайнгартен.

— Почему это я должен рассказывать? — возмутился Малянов. — Я из этого никакого секрета не делаю, но чего ты тут передо мной разыгрываешь? Сам рассказывай! Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось?

— Вот расскажи, а потом и я тебе расскажу, — упорно сказал Вайнгартен. — И Захар расскажет.

— Вот вы и давайте оба и рассказывайте, — проговорил Малянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. — Вас двое, а я один...

— Ты рассказывай, — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Малянова пальцем.

— Тише, тише... — прошептал Захар, совсем застеснявшись.

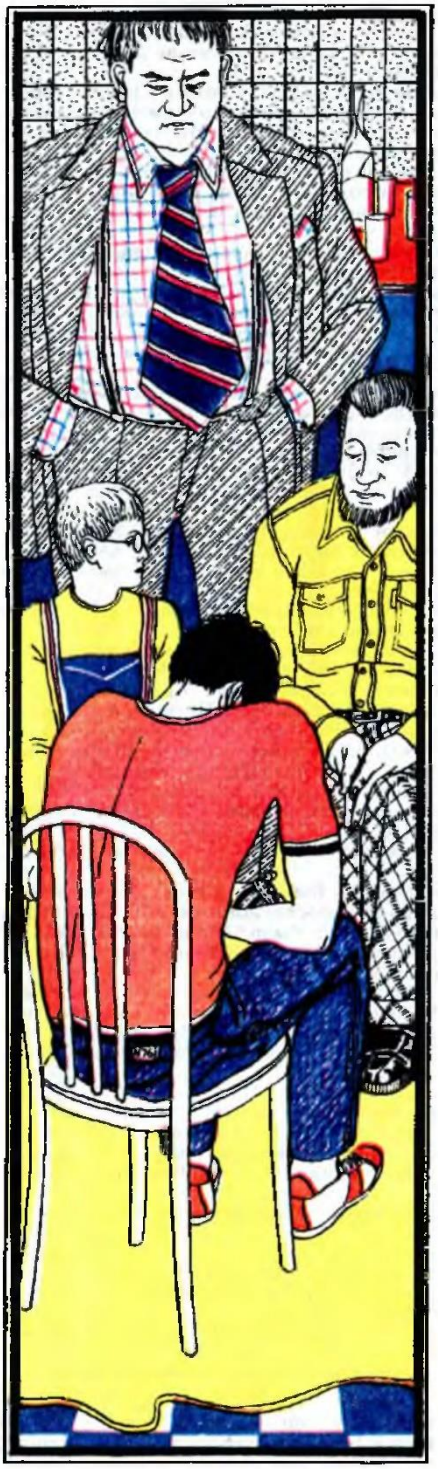
Вайнгартен невесело хохотнул.

— Это ваш? — спросил Малянов Захара.

— Да вроде мой... — странно ответил Захар, отводя глаза.

— Его, его, — сказал Вайнгартен нетерпеливо. — Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, давай... не ломайся...

Совсем они сбили Малянова с панталыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков. Когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь двух часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхохатывал, обнажая могучие желтоватые клыки, а Малянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться красавца Захара, но это ему так и не удалось — Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха.



— Врешь! — хрипло выдохнул Вайнгартен.

Малянов дернул плечом.

— За что купил... — сказал он. — А дверь у него опечатана, можешь пойти посмотреть...

Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками, а потом вдруг с шумом поднялся, ни на кого не глядя, протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок, в квартиру потянуло щами.

— Охо-хо-хо-хо... — уныло произнес Захар.

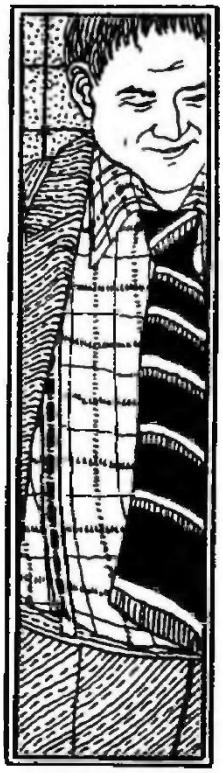
И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал:

— Откуси!

Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь, Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в рюмку водки, хрипло буркнул:

— Дальше...

— Что — дальше? Дальше я пошел к Вечеровскому... Эти хмыри ушли, и я пошел... Вот только что вернулся.



— А рыжий? — спросил Вайнгартен нетерпеливо.

— Я же тебе говорю, ослиная твоя башка! Не было никаких рыжих!

Вайнгартен и Захар переглянулись.

— Ну, предположим, — сказал Вайнгартен. — А девица эта твоя... Лидочка... Она тебе никаких предложений не делала?

— Н-ну... как тебе сказать... — Малянов неловко ухмыльнулся. — То есть... если бы я по-настоящему захотел...

— Тьфу, болван! Да я не об этом!.. Ну, ладно. А следователь?

— Знаешь, что, Валька, — сказал Малянов. — Я тебе все рассказал, как было. Иди к черту! Честное слово, третий допрос за день...

— Валя, — нерешительно вмешался Захар, — а может быть, тут действительно что-нибудь другое?

— Брось, отец! — Вайнгартен весь перекосился. — Как это — другое? У него работа, работать не дают... Как это — другое? И потом, мне же его назвали!..

— Кто это меня назвал? — спросил Малянов, предчувствуя новые неприятности.

— Писать хочу, — ясным голосом объявил мальчик.

Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз с табурета и сказал Захару:

— Пойдем.

Захар виновато улыбнулся, сказал: „Ну, пойдем...“, и они скрылись в сортире. Было слышно, как они гонят рассевшегося в унитазе Каляма.

— Кто это меня назвал? — сказал Малянов Вайнгартену. — Что еще за новости?

Вайнгартен, склонив голову, прислушался к тому, что происходит в сортире.

— Во Губарь влип! — произнес он с каким-то печальным удовлетворением.

— Вот влип так влип!

Что-то вязко повернулось в мозгу у Малянова.

— Губарь?

— Ну да. Захар. Знаешь, сколько веревочке не виться...

Малянов вспомнил.

— Он ракетчик?

— Кто? Захар? — Вайнгартен удивился. — Да нет, вряд ли... Хотя вообще-то он работает в каком-то ящике...

— Он не военный?

— Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной...

— Я про Губаря спрашиваю.

— Да нет. Он — мастеровой, золотые руки. Блох мастерит с электронным управлением... Но беда не в этом. Беда в том, что он — человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем заметь, отец, это истинная правда.

Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему:

— Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил... Ведь о вас Снеговой спрашивал...

И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым, буквально как бумага.

— Обо мне? — спросил Захар одними губами.

— Да вот... вчера вечером... — Малянов испугался. Такой реакции он все-таки не ожидал.

— Ты что, его знал? — спросил Вайнгартен Захара негромко.

Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал: „Это дело надо того, отцы...“ — и принялся разливать. И тут мальчик сказал:

— Подумаешь! Это еще ничего не значит.

Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли.

— Это просто случайность, — продолжал мальчик. — Вы телефонную книгу посмотрите, там этих Губарей штук восемь...»

11. «... Малянов знал с шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный, всегда он что-то коллекционировал — то марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставши биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи, а Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века. Вечно он приставал к окружающим, требуя мелочь, — искал какие-то особенные медяки. И вечно он хватал чужие письма, клянчил конверты с печатями.

И при всем при том дело свое он знал. У себя в ИЗРАНе он давно уже был старшим, числился членом двадцати разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. И всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы а-ля Грэм Грин. Или, скажем, Ле Карре. Но врал он, как это ни странно, очень редко и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что, тут была какая-то тайна. Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда

Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья, ну и что-то у них там не вышло. Вообще насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой, тем более он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться, ходить с ним в ресторан было сущим наказанием... Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений.

Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства („Вы этого, отцы, понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза, это такой фермент в составе онкорн-вирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет нобелевкой...“) В лаборатории Вайнгартена кроме него самого никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было „до лампочки“, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик — обиды, местком, партбюро. И в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение: назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодернового биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове.

От этого сообщения голова Вайнгартена В. А. пошла кругом, но он тем не менее сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратится в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена В. А. из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два. В то время как нобелевка, отцы, это нобелевка.

Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику. Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о текущей работе („Я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан...“), предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народнохозяйственное значение, а потому

сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой.

Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность похвастаться дома, да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет кавторангом, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. („Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все...“) А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на-гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дело о наследстве, Вайнгартен обнаружил на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в шестьдесят первом году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить: как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам кавторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом.

Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, оставалась еще масса неясного, конечно, все это надлежало еще оформить — тоже, между прочим, работа немаленькая, — но сомнений больше не было, открытие вылупилось. Вайнгартен закрутился как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории, („Отцы, выгнал всех в отпуск к чертовой матери!..“), он в двадцать четыре часа вывез кавторанга с девчонками на дачу, отменил все встречи и все свидания и только было засел дома для нанесения последнего решающего удара, как наступил позавчерашний день.

Позавчера, едва Вайнгартен принялся за работу, в квартире объявился этот самый рыжий — маленький медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской и, пока Валька беззвучно открывал и закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить. Без всяких предисловий он объявил, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его, Вайнгартена В. А., научной деятельностью. Что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особую тревогу. Что он, рыжий человечек, уполномочен предложить

Вайнгартену В. А. немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить.

Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем, объявил рыжий человечек. Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандальчик в вашей лаборатории являются событиями случайными. Мы пытались остановить вас. Однако, поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе, и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом, последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания, проистекающие из слабостей, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент...

С этими словами рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии — набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может.

Вайнгартен, продолжал рыжий человечек, ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере внимания сверхцивилизации. Среди знакомых Вайнгартена есть по крайней мере три человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Он, рыжий человечек, может назвать такие имена, как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартену В. А. давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие „меры третьей степени“.

— Пока он мне все это излагал, — говорил Вайнгартен, страшно тараща глазами и выпячивая челюсть, — я, отцы, думал только об одном: как этот гад проник в квартиру без ключа. Тем более, что дверь у меня была на задвижке... Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отмечелю... Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... — Вайнгартен сделал эффектную паузу.

— Вылетел в окно... — сказал Малянов сквозь зубы.

— Вот тебе! — Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопристойный жест. — Никуда он не вылетел. Он просто исчез.

— Валька... — сказал Малянов.

— Я тебе говорю, отец! Вот так он сидел передо мной на столе... я как раз примерялся въехать ему по сопатке, не вставая... и вдруг его нет! Как в кино, знаешь? — Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. — Моам? — сказал он. — Моам муам?.. — Он с усилием проглотил и, моргая заслезившимися глазами, продолжал: — Это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как поросячий хвост... Думал, прямо тут же и помру... Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как до тещиной комнаты, хватил валерьянки — не помогает. Смотрю — у нее бром стоит. Я брому хватил...»

12. «...фальшивки, — сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. — Ну, тогда новоделы...

— Дурак ты, — сказал Вайнгартен коротко и спрятал книжку.

Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову: если бы все это было враньем, или даже просто правдой, а не страшной правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный треп.

— Ну и что теперь? — спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается.

Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней рольмопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын сосредоточенно, с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шуточек, словно бы устало, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить Губарю, а Губарь не отвечал; как он позвонил Малянову, и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете; как он перепугался, когда Малянов ушел открывать Лидочке и долго не брал трубку; как он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел Губарь со своими неприятностями...»

6

13. «...узнал о Губаре, что он с детства был большой лентяй и прогульщик. И с тех же пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не окончил, ушел из девятого класса, работал санитаром, потом шофером на дерьмовозе, потом лаборантом в ИЗРАНе, где и познакомился с Валькой, а сейчас работает в ящике над каким-то гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования Захар никогда никакого не получал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством, электронику чувствовал душой, спинным мозгом, и в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно.

Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него два или три были в работе, и он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности. Предполагает, что из-за прошлогоднего — что-то он там изобрел, связанное с „полезным использованием феддингов“. Предполагает, но не уверен.

Впрочем, главным стержнем его жизни всегда были женщины. Они липли к нему, как мухи. А когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Он уже был однажды женат, вынес из этого брака самые неприятные воспоминания и многочисленные уроки и с тех пор соблюдает в этом вопросе чрезвычайную осторожность. Короче говоря, бабник он был фантастический, и по сравнению с ним Вайнгартен, скажем, выглядел аскетом, анахоретом и стоиком. Но при всем том он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением и даже с восхищением и, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда он не заводил двух возлюбленных одновременно, никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы, никогда, по-видимому, никого из женщин не обижал. Так что в этой области у него со времени неудачной женитьбы все обстояло благополучно. До самого последнего времени.

Сам он считает, что неприятности, связанные с пришельцами, начались у него с появлением какой-то гнусной сыпи на ногах. С этой сыпью он сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем, отношение к болезням у него было европейское. Врач его успокоил, дал какие-то пилюли, сыпь прошла, но началось нашествие женщин. Они шли к нему косяками — все женщины, с которыми он когда-либо имел дело. Они толклись у него в квартире по-двое, по-трое, а в течении одного страшного дня их было даже пятеро одновременно. Причем, он решительно не мог понять, чего они

от него хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его, они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное, они дрались между собой как бешеные кошки, они перебили у него всю посуду, раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться, некоторые угрожали отравить его. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем, любили своих мужей и детей, и мужья тоже приходили к Губарю и тоже вели себя непонятно. (В этой части своего рассказа Губарь был особенно невнятен.) Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад, он потерял шесть кило веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу, о работе не могло быть никакой речи, и он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. (В первые дни он пытался укрыться от нашествия в своем ящике, но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех его чисто личных неприятностей. Здесь он тоже был достаточно невнятен.) Этот кромешный ад длился без перерыва десять дней и вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявилась вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. Лет шесть назад он познакомился с нею при следующих обстоятельствах. Они ехали в переполненном автобусе и оказались рядом. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. Простите, сказал он, нет ли у вас листочка бумаги и карандаша? Да, пожалуйста, ответила она, извлекая просимое из сумочки. Огромное вам спасибо, сказал он. А теперь напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут... Они очень мило провели время на Рижском взморье и как-то незаметно расстались, казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг к другу претензий.

И вот теперь она явилась к нему, и привела этого мальчика, и сказала, что это его сын. Она уже три года была замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить Губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным. Но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у Губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула, она все время говорила что-то, и Губарь понимал отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила Губаря из постели, привела его в ванную, пустила там

воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно непонятные вещи.

По ее словам, (в интерпретации Губаря) получалось, что с древнейших времен существует на Земле некий тайный полумистический Союз Девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгоживущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они двумя вещами: во-первых, они копят и осваивают все достижения всех без исключения наук на нашей планете, а во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущи и практически всемогущи. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый Союз Девяти взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него — она не знает. Что Губарю теперь делать — она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря — это предупреждение. И она сама тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал — она не знает. Она вообще больше ничего не знает. И не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет Губаря не сопротивляться, пусть Губарь двадцать раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти.

Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и Губарь остался с мальчиком. Один на один. Что там у них было до трех часов дня, он рассказать не пожелал. Что-то было. (Мальчик по этому поводу выразился кратко: „Чего там, я ему вогнал ума, куда следует...“) В три часа Губарь не выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу.

— Я так ничего и не понял, — признался он в заключение. — Я вот Валю послушал, вас выслушал, Митя... Все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то... и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, двести пятьдесят лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему..., и мы может быть...

— Ты подожди, Захар! — с тоской сказал Вайнгартен, досадливо морщась. — Ты — человек конкретный, ты лучше со своими гипотезами пока не лезь...

— Да что там гипотезы! — с тоской сказал Губарь. — Мне без всяких гипотез ясно, что ничего мы здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует, вот что я вам скажу...

Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе.

— И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну-с?

— Откуда я знаю? — сказал Губарь уныло. — Должны же быть какие-то организации... В органы, например, надо заявить.

Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайнгартен приходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова...

— Нет, ребята, — сказал он. — Вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах, а я как-никак последний, кто его видел живым... И вообще, мне ходить незачем — за мной, кажется, и сами придут.

Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяка и Малянов выпил ее залпом, не почувствовав никакого вкуса. Вайнгартен сказал со вздохом:

— Да, отцы. Советоваться нам не с кем. Тут того и гляди в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька. У тебя голова ясная. Давай, излагай.

Малянов потер пальцами лоб.

— Голова у меня на самом деле как пробкой набита, — проговорил он. — Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю: тебе прямо сказали — сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь...

— Правильно! — прервал его Вайнгартен. — Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос: кому? Имей наблюдение: ко мне приходит пришелец, — Вайнгартен стал загибать пальцы. — К Захару — агент Союза Девяти... Кстати, ты слыхал про Союз Девяти? У меня лично в памяти что-то крутится, где-то я об этом читал, но где... совершенно не помню. Так. К тебе вообще никто не приходит... То есть приходят, конечно, но в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?

— Ну? — сказал Малянов мрачно.

— Отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги...

— Ерунда все это, — сказал Малянов. — Бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня — звезды в газопылевом облаке. У тебя — эта самая ревертаза. А у Захара и вовсе — техническая электроника. — Он вдруг вспомнил. — И Снеговой про это говорил... Знаешь, что он сказал? Где, сказал, имение, а где — вода... Я только теперь

понял, что он имел в виду. Это, значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал... Или, может быть, по-твоему, здесь три разных силы действуют? — ядовито спросил он.

— Нет, отец, ты подожди! — сказал Вайнгартен с напором. — Ты не торопись!

У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит, если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил — замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку из-под рольмопса.

Все молчали. Потом Губарь сказал тихо:

— А я вот все о Снеговом... Это ведь надо же... Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить. А как он мог прекратить? Он же был человек военный... у него тема...

— Писать хочу! — объявил странный мальчик и, когда Губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом: — И какать!

— Нет, отец, ты не торопись... — снова вдруг заговорил Вайнгартен. — Ты себе представь на минуту, что есть на Земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют... Пусть это будет хотя бы тот же самый Союз Девяти... Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще сто человек голову себе ломают, как и мы... А по всей Земле — сто тысяч. И как мы, боятся признаться... Кто боится, кто стыдится... А кому, наоборот, это и по душе пришлось! Лакомые ведь кусочки подбрасываются-то...

— Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Малянов угрюмо.

— И тоже не случайно! Ты ведь болван, бессребреник... Ты даже сунуть на лапу кому следует не умеешь... Для тебя весь мир полон непреодолимых препятствий! В ресторане все столики заняты — препятствие. За билетами очередь — препятствие... Женщину твою кто-нибудь клеит...

— Ну ладно, хватит! Поехал проповеди читать...

— Не-ет! — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь. — Ты это брось, отец. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая... но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение... может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение! Нет, отец, ты представь себе: существует на земле раса — древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая — соперники наши. Вот они ждали, терпели, собирали информацию, готовились. И сейчас решили нанести удар.

Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать — вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они и решили — осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял?

Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу, захотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а Черный Страх. Беги отсюда! Спасайся! Брось все, скройся, заройся, затони... „Ну, ты! — прикрикнул он на себя. — Опомнись, идиот! Нельзя так — пропадешь...“ И он сказал с усилием:

— Понял. Чушь собачья.

— Почему — чушь?

— Потому что это сказочка... — Голос у него сделался хриплый и он откашлялся. — Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в „Костер“. Чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил...

— Так, — сказал Вайнгартен очень спокойно. — События с нами имели место?

— Ну, имели.

— События фантастические?

— Ну, предположим, фантастические.

— Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез?

— А я про это ничего не знаю, — сказал Малянов. — Это у вас события фантастические. А вы, может, вторую неделю запоем пьете... У меня никаких фантастических событий не было. Я непьющий...

Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить, что если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет! У этих гадов, может быть, весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, что мы с ними окажемся каждый сам по себе, и они будут из нас веревки вить как захотят!..

Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про Черный Страх как-то забыл. Ну, ладно, говорил он. Ну, брось ты, что ты разоряешься, бормотал он, ну, сболтнул, ну, извини, каялся он. Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом.

Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо из горлышка. Пузырящаяся вода текла по его щетинистым

толстым щекам и мгновенно проступала потом на лбу и на голых волосатых плечах.

— Я ведь, собственно, что имел в виду? — сказал Малянов примирительно. — Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления, знаешь? Так вот до чего угодно договориться можно...

— Предложи что-нибудь другое, — непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол.

— Не могу. Мог бы — предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что, если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами.

— Какими, например?

— Ну, я не знаю... Ну, тебя отравить тухлыми консервами... Захара... ну, я не знаю... ну, током долбануть в тысячу вольт... заразить чем-нибудь... Да и вообще зачем все эти смертоубийства, ужасы? Если уж они такие всемогущие телепаты, ну, внушили бы нам, что мы все забыли дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс: как мы сядем за работу, так у нас понос... или грипп — сопли текут, башка трещит... Экзема... Мало ли что... Все тихо, мирно, никто бы ничего и не заметил...

Вайнгартен только и ждал, когда я кончу.

— Вот что, Митька, — сказал он. — Ты должен понять одну вещь...

Но Захар не дал ему договорить.

— Одну минуточку! — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартеном по разным углам. — Дайте мне, пока я вспомнил!.. Ну, подожди, Валя, дай мне сказать! Это насчет головной боли... Митя, вы же сказали... Понимаете, лежал я в прошлом году в больнице...

Одним словом, лежал он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то там такое с кровью, и познакомился он в палате с неким Глуховым Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в предынфарктном состоянии, но это все неважно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще два месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его, Глухова, работа, для которой он материал набирал чуть ли не десять лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень странной идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно: стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков...

— Причем он вполне мог о своей работе думать, — продолжал Захар, — читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог... впрочем, этого я не помню, врать не буду... Но вот писать — это было невозможно. Я вот сейчас после ваших, Митя, слов...

— Адрес его знаешь? — отрывисто спросил Вайнгартен.

— Знаю.

— Телефон у него есть?

— Есть... Знаю...

— Давай, вызывай его сюда. Это наш человек.

Малянов подскочил.

— Иди ты к черту! — сказал он. — Ты с ума сошел. Неудобно же! Может, у него просто болезнь такая...

— У всех у нас эта болезнь, — сказал Вайнгартен.

— Валька, он же востоковед! Он вообще из другой оперы!

— Из той же, отец. Уверяю тебя, из той же самой оперы!

— Да нет, не надо! — сопротивлялся Малянов. — Захар, сидите, не слушайте его... Насосался как зюзя...

Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя.

— Давайте лучше вот что сделаем, — убеждал Малянов. — Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы!

Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. Правильно, говорил он. Насчет Вечеровского — это идея. Вечеровский — башка! Захар, иди звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним...

Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить к Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним...»

7

14. «...сын Захара, устроившись на тахте в углу, время от времени принимался услаждать общество чтением избранных мест из популярной медицинской энциклопедии, которую Малянов подсунул ему второпях по ошибке. Вечеровский, особенно элегантный по контрасту с потным и расхлюстанным Вайнгартеном, с любопытством слушал и разглядывал странного мальчика, высоко задирая рыжие брови. Он еще почти ничего не сказал по существу — задал несколько вопросов,

показавшихся Малянову (да и не только одному Малянову) нелепыми. Например, он ни с того, ни с сего спросил Захара, часто ли Захар конфликтует с начальством, а Глухова — любит ли тот сидеть у телевизора. (Выяснилось, что Захар вообще никогда ни с кем не конфликтует, такой уж у него характер, и что Глухов у телевизора сидеть, да, любит, и даже не просто любит, а предпочитает.) Малянову Глухов очень понравился. Вообще-то Малянов не любил новых людей в старых компаниях, ему всегда было страшно, что они начнут себя вести как-нибудь не так и за них будет неловко. Но с Глуховым оказалось все в порядке. Был он какой-то удивительно уютный и невредный — маленький, тощенький, курносый, с красноватыми глазками за сильными большими очками. По приходе он с удовольствием выпил предложенный Вайнгартеном стаканчик водки и заметно огорчился, узнав, что это последний. Когда его подвергли перекрестному допросу, он выслушал каждого очень внимательно, по-профессорски склонив голову к правому плечу и скосив глаза направо же. Нет-нет, отвечал он, как бы извиняясь. Нет, ничего подобного со мной не было. Помилуйте, я даже представить себе такого не могу.... Тема? Боюсь, очень далекая от вас: „Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа“... Да, по-видимому, какая-то идиосинкразия, я говорил с крупными медиками — случай, по их словам, редчайший... В общем, с Глуховым, по-видимому, получился пустой номер, но все равно, хорошо было, что он здесь. Он был какой-то очень от мира сего: с аппетитом выпил и хотел еще, с детским удовольствием ел икру, чай предпочитал цейлонский, а читать больше всего любил детективы. На странного Захарова мальчика он смотрел с опасливым недоумением, время от времени неуверенно посмеиваясь, бредовые рассказы выслушал с огромным сочувствием, то и дело принимался чесать обеими руками у себя за ушами, бормоча: „Да, это поразительно... Невероятно!..“ Словом, с Глуховым все было Малянову ясно. Ни новой информации от него, ни, тем более, советов ждать не приходилось.

Вайнгартен, как всегда, в присутствии Вечеровского, несколько уменьшился в объеме. Он даже стал как-то приличнее выглядеть, не орал больше и никого не называл отцами и стариками. Впрочем, последние зерна черной икры сожрал все-таки он.

Захар вообще не говорил ни слова, если не считать коротких ответов на неожиданные вопросы Вечеровского. Даже историю его собственных злоключений ему не пришлось рассказывать — за него рассказал Вайнгартен. И странного своего сына он перестал увещевать вовсе и только болезненно улыбался, выслушивая назидательные цитаты о болезнях разных деликатных органов.

И вот они сидели и молчали. Прихлебывали остывший чай. Курили. Горело расплавленное золото окон в Доме быта, серпик молодой луны висел в темно-синем небе, с улицы доносилось сухое отчетливое потрескивание, — должно быть, опять жгли старые ящики. Вайнгартен зашуршал сигаретной пачкой, заглянул в нее, смял и спросил вполголоса: „Сигареты у кого есть еще?“ „Вот, пожалуйста...“ — торопливо и тоже вполголоса отозвался Захар. Глухов кашлянул и позвенел ложечкой в стакане.

Малянов посмотрел на Вечеровского. Тот сидел в кресле, вытянув и скрестив ноги, и внимательно изучал ногти на правой руке. Малянов посмотрел на Вайнгартена. Вайнгартен раскуривал сигарету и поверх огонька смотрел на Вечеровского. И Захар смотрел на Вечеровского. И Глухов. Малянову вдруг стало смешно. Елки-палки, а чего мы, собственно, от него ждем? Ну, математик. Ну, крупный математик. Ну, допустим даже, очень крупный математик — мировая величина. Ну и что? Как дети, ей-богу. Заблудились в лесу и с надеждой моргают на дядю: уж он-то нас выведет.

— Вот, собственно, и все соображения, которые у нас имеются, — плавно произнес Вайнгартен. — Как видите, наметились по крайней мере две позиции... — Он говорил, обращаясь как бы ко всем, но смотрел при этом только на Вечеровского. — Митька считает, что следует все это пытаться объяснить в рамках известных нам явлений природы... Я же полагаю, что мы имеем дело с вмешательством совершенно неизвестных нам сил. Так сказать, подобное — подобным, фантастическое — фантастическим...

Эта тирада прозвучала невероятно напыщенно. Ведь нет, чтобы просто и честно сказать: дядя, голубчик, заблудились, выведи... Нет, ему, понимаете, резюме нужно, мы-де и сами не лыком шиты... Ну и сиди теперь, как дурак. Малянов взял чайник и пошел от Валькиного срама на кухню. Он не слышал, о чем шла речь, пока наливал воду и ставил чайник на газ. Когда он вернулся, Вечеровский неторопливо говорил, внимательно разглядывая ногти теперь уже на левой руке:

— ...И поэтому я склоняюсь все-таки к вашей точке зрения, Валя. Действительно, фантастическое, по-видимому, надлежит объяснить фантастическим. Я полагаю, что все вы оказались в сфере внимания...

м-м-м... назовем это сверхцивилизацией. По-моему, это уже устоявшийся термин для обозначения иного разума, на много порядков более могущественного, нежели человеческий...

Вайнгартен, глубоко затягиваясь и выпуская дым, мерно кивал с необычайно важным и сосредоточенным видом.

— Почему им понадобилось останавливать именно ваши исследования, — продолжал Вечеровский, — вопрос не только сложный, но и праздный. Существо дела состоит в том, что человечество, само того не подозревая, вызвало на себя контакт и перестало быть самодовлеющей системой. По-видимому, сами того не подозревая, мы наступили на мозоль некоей сверхцивилизации, и эта сверхцивилизация, по-видимому, поставила своей целью регулировать отныне наш прогресс по своему усмотрению...

— Да Фил, да подожди! — сказал Малянов. — Неужели даже ты не понимаешь? Какая, к черту, сверхцивилизация? Что это за сверхцивилизация, которая тычется в нас, как слепой котенок? Зачем вся эта бессмыслица? Этот мой следователь, да еще с коньяком... Бабы эти Захаровы... Где основной принцип разума: целесообразность, экономичность?..

— Это частности, Дима, — тихо сказал Вечеровский. — Зачем мерить внечеловеческую целесообразность человеческими мерками? И потом, представь себе: с какой силой ты бьешь себя по щеке, чтобы убить несчастного комара? Ведь таким ударом можно было бы убить всех комаров в округе разом.

Вайнгартен вставил:

— Или, например: какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки?

— Ну, не знаю, — сказал Малянов. — Нелепо все это как-то.

Вечеровский подождал немного и, увидев, что Малянов заткнулся, продолжал:

— Я хотел бы подчеркнуть вот что. При такой постановке вопроса ваши личные неприятности и проблемы отходят на второй план. Речь теперь идет уже о судьбе человечества... — Он помедлил. — Ну, возможно не о судьбе в роковом смысле этого слова, однако, во всяком случае, о его достоинстве. Так что перед нами стоит задача защитить не просто вашу, Валя, теорию ревертазы, но судьбу всей нашей планетной биологии вообще... Или я ошибаюсь?

Впервые в присутствии Вечеровского Вайнгартен раздулся до своих нормальных размеров. Он самым энергичным образом кивнул, но сказал совсем не то, что ожидал Малянов. Он сказал:

— Да, несомненно. Мы все понимаем, что речь идет не о нас лично. Речь идет о сотнях исследований. Может быть, о тысячах... Да что я говорю — о перспективных направлениях вообще!

— Так! — энергично сказал Вечеровский. — Значит, предстоит драка. Их оружие — тайна, следовательно, наше оружие — гласность. Что мы должны сделать в первую очередь? Посвятить в события своих знакомых, которые обладают, с одной стороны, достаточной фантазией, чтобы поверить нам, а с другой стороны — достаточным авторитетом, чтобы убедить своих коллег, занимающих командные высоты в науке. Таким образом, мы косвенно выходим на контакт с правительством, получаем доступ к средствам массовой информации и можем авторитетно информировать все человечество. Первое ваше движение было совершенно правильным — вы обратились ко мне. Лично я беру на себя попытку убедить несколько крупных математиков, являющихся одновременно крупными администраторами. Естественно, я свяжусь с нашими, а потом и с зарубежными.

Он необычайно оживился, выпрямился в кресле и все говорил, говорил, говорил. Он называл имена, звания, должности, он очень четко определил, к кому должен обратиться Малянов, к кому — Вайнгартен. Можно было подумать, что он уже несколько дней сидел над составлением подробного плана действий. Но чем больше он говорил, тем большее уныние охватывало Малянова. И когда Вечеровский с каким-то совсем уже неприличным пылом перешел ко второй части своей программы, к апофеозу, в котором объединенное всеобщей тревогой человечество в едином строю сплоченными мощностями всей планеты дает отпор сверхцивилизованному супостату, — вот тут Малянов почувствовал, что с него хватит, поднялся, пошел на кухню и заварил новый чай. Вот тебе и Вечеровский. Вот тебе и башка. Видно, тоже здорово перепугался, бедняга. Да, брат, это тебе не про телепатию спорить. А вообще-то, мы сами виноваты: Вечеровский то, Вечеровский се, Вечеровский башка... А Вечеровский — просто человек. Умный человек, конечно, крупный человек, но не более того. Пока речь идет об абстракциях — он силен, а вот как жизнь-матушка подопрет... Обидно только, что он почему-то сразу принял сторону Вальки, а меня даже толком выслушать не пожелал... Малянов взял чайники и вернулся в комнату.

А в комнате, естественно, Вайнгартен делал компот из Вечеровского. Потому что, знаете ли, пиетет пиететом, а когда человек несет околесицу, то уж тут никакой пиетет ему не поможет.

...Уж не воображает ли Вечеровский, что имеет дело с полными идиотами? Может быть, у него, Вечеровского, и есть в запасе пара

авторитетных и в тоже время полоумных академиков, которые после полубанки способны встретить такую вот информацию с энтузиазмом? Лично у него, Вайнгартена, подобных академиков нет. У него, Вайнгартена, есть старый друг Митька Малянов, от которого он, Вайнгартен, мог бы ожидать определенного сочувствия, тем более что сам Малянов ходит в пострадавших. И что же — встретил он его, Вайнгартена, рассказ с энтузиазмом? С интересом? С сочувствием, может быть? Черта с два! Первое же, что он сказал, — это что Вайнгартен врет. И между прочим, он, Малянов, по-своему прав. Ему, Вайнгартену, даже страшно подумать — обращаться с таким рассказом к своему шефу, скажем, хотя шеф, между прочим, человек еще вовсе не старый, отнюдь не закоснелый и сам склонный к некоему благородному сумасшествию в науке. Неизвестно, как там обстоят дела у Вечеровского, но он, Вайнгартен, совершенно не имеет целью провести остаток дней своих даже в самой роскошной психолечебнице...

— Санитары приедут и заберут! — сказал тут Захар жалобно. — Это же ясно. И вам-то еще ничего, а мне ведь сексуального маньяка вдобавок приклеют...

— Подожди, Захар! — сказал Вайнгартен с раздражением. — Нет, Фил, честное слово, я вас просто не узнаю! Ну предположим даже, что разговоры о клиниках — это некоторое преувеличение. Но ведь мы тут же кончимся как ученые, немедленно! Рожки да ножки останутся от нашего реноме! А потом, черт побери, если предположить даже, что нам удалось бы найти одного-двух сочувствующих из Академии, — ну как они пойдут с этим бредом в правительство? Кто на это рискнет? Это же черт знает как человека должно прожечь, чтобы он на это рискнул! А уж человечество наше, наши дорогие сопланетники... — Вайнгартен махнул рукой и глянул на Малянова своими маслинами. — Налей-ка погорячее, — сказал он. — Гласность... Гласность — это, знаете ли, палка о двух концах... — И он принялся шумно пить чай, то и дело проводя волосатой рукой по потному носу.

— Ну, кому еще налить? — спросил Малянов.

На Вечеровского он старался не смотреть. Налил Захару, налил Глухову. Налил себе. Сел. Ужасно было жалко Вечеровского и ужасно неловко за него. Правильно Валька сказал: реноме ученого — это вещь очень нежная. Одна неудачная речь — и где оно, твое реноме, Филипп Павлович?

Вечеровский скорчился в кресле, опустив лицо в ладони. Это было невыносимо. Малянов сказал:

— Понимаешь, Фил, все твои предложения... эта твоя программа действия... теоретически это все, наверное, правильно. Но нам-то

сейчас не теория нужна. Нам сейчас нужна такая программа, которую можно реализовать в конкретных, реальных условиях. Ты вот говоришь: „объединенное человечество“. Понимаешь, для твоей программы, наверное, подошло бы какое-нибудь человечество, но только не наше — не земное, я имею в виду. Наше ведь ни во что такое не поверит. Оно ведь знаешь когда в сверхцивилизацию поверит? Когда эта сверхцивилизация снизойдет до нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы поверим, вот тут мы объединимся, да и то, наверное, не сразу, а сначала, наверное, сгоряча друг другу пачек накидаем.

— В точности так! — сказал Вайнгартен неприятным голосом и коротко хохотнул.

Все помолчали.

— А у меня и вовсе шеф — женщина, — сказал Захар. — Очень милая, умная, но как я ей буду все это рассказывать? Про себя...

И опять все надолго замолчали, прихлебывая чай. Потом Глухов проговорил негромко:

— Чаек какой — просто прелесть! Умелец вы, Дмитрий Алексеевич, давно такого не пил... Да-да-да... Конечно, все это трудно, неясно... А с другой стороны — небо, месяц, смотрите, какой... чаек, сигаретка... Что еще, на самом деле, человеку надо? По телевизору — многосерийный детектив, очень недурной... Не знаю, не знаю... Вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет межзвездного газа... А какое вам, собственно, до этого дело? Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам — не подглядывайте... Пей чаек, смотри телевизор... Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь — оно чтобы любоваться...

И тут Захаров мальчик вдруг звонко и торжественно объявил:

— Ты хитрый!

Малянов подумал, было, что это он про Глухова. Оказалось — нет. Мальчик, по-взрослому прищурясь, смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. „Тише, тише...“ — с беспомощным укором пробормотал Губарь, а Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу — развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее лицо его усмехалось.

— Итак, — сказал он, — я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводят нас

гипотезы легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана и вообще любой разумно действующей силы. Было бы очень хорошо, если бы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов.

Малянов бессмысленно болтал ложечкой в стакане и думал: вот стервец, это надо же, как он всех нас купил! Зачем? Что за спектакль?.. Вайнгартен глядел прямо перед собой, глаза его постепенно выкатывались, толстые, залитые потом щеки угрожающе подрагивали. Глухов растерянно глядел на всех по очереди, а Захар просто терпеливо ждал: видимо, драматизм минуты молчания прошел мимо него.

Потом Вечеровский заговорил снова:

— Обратите внимание. Для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения, хотя и фантастические, но тем не менее лежащие внутри сферы наших современных представлений. Это не дало нам ничего. Абсолютно ничего. Валя показал нам это чрезвычайно убедительно. Поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла... я бы сказал — тем более не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу бога... или... или иные... Вывод?

Вайнгартен судорожно вытер лицо полой рубашки и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой:

— Ты что же это — нарочно нас разыграл?

— А что мне оставалось делать? — отозвался Вечеровский, задирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. — Самому вам доказать, что ходить по начальству бессмысленно? Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите? „Союз Девяти или таукитяне...“ Да какая вам разница? О чем здесь спорить? Какой бы вы ответ ни дали, никакой практической программы действий вы из этого ответа не извлечете. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или унесло наводнением — вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше...

— Ты хочешь сказать... — начал Малянов.

— Я хочу сказать, — проговорил Вечеровский жестко, — что ничего ИНТЕРЕСНОГО с вами не произошло. Нечем здесь интересоваться,

нечего здесь исследовать, нечего здесь анализировать. Все ваши поиски причин есть просто праздное любопытство. Не о том вам надо думать, каким именно прессом вас давят, а о том, как вести себя под давлением. А думать об этом гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки, потому что отныне каждый из вас — ОДИН. Никто вам не поможет. Никто вам ничего не посоветует. Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни даже все прогрессивное человечество... Ну, об этом Валя достаточно хорошо говорил.

Он поднялся, налил себе чаю и снова вернулся в кресло — невыносимо уверенный, подтянутый, элегантно-небрежный, как на дипломатическом приеме. Он и чашку-то держал — словно какой-нибудь там занюханный пэр на файв-о-клоке у королевы...

Мальчик процитировал на весь дом:

— „Если больной пренебрегает советами врачей, неаккуратно лечится, злоупотребляет алкоголем, то примерно через пять-шесть лет вторичный период сменяется третичным периодом болезни — последним...“

Захар вдруг сказал с тоской:

— Ну почему? Ну почему именно со мной, с нами?..

Вечеровский с легким стуком поставил чашку на блюдечко, а блюдечко на стол рядом с собой.

— Потому, что век наш весь в черном, — объяснил он, промакивая

серовато-розовые, как у лошади, губы белоснежным платочком. — Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем...

— Тьфу на тебя, — сказал Малянов, а Вечеровский разразился довольным, сытым марсианским уханьем.

Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чиркнул спичкой и некоторое время сидел так, совершенно скосив глаза на огонек.

— Действительно... — произнес он. — Не все ли равно, какая именно сила... если она заведомо превышает человеческую... — Он закурил. — Тля, на которую упал кирпич, или тля, на которую упал двугривенный... Только я не тля. Я могу выбирать.

Захар смотрел на него с надеждой, но Вайнгартен замолчал. Выбирать, подумал Малянов. Легко сказать — выбирать...

— Легко сказать — выбирать! — начал было Захар, но тут заговорил Глухов, и Захар с надеждой уставился на него.

— Да ясно же! — сказал Глухов с необычайной проникновенностью. — Неужели неясно, что выбирать? Жизнь надо выбирать! Что же еще? Не телескопы же ваши, не пробирки же... Да пусть они ими подавятся, телескопами вашими! Диффузными газами!.. Жить надо, любить надо, природу ощущать надо — ощущать, а не ковыряться в ней! Когда я сейчас смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я знаю — это мой друг, мы существуем друг для друга, мы друг другу нужны...

— Сейчас? — громко спросил Вечеровский.

Глухов запнулся.

— Простите? — пробормотал он.

— А ведь мы с вами знакомы, Владлен Семенович, — сказал Вечеровский. — Помните? Эстония, школа матлингвистики... финская баня, пиво...

— Да-да, — сказал Глухов, опустив глаза. — Да.

— Вы были тогда совсем другим, — сказал Вечеровский.

— Ну, так, когда это было... — сказал Глухов. — Бароны, знаете ли, стареют...

— Бароны также и воюют, — сказал Вечеровский. — Не так уж давно это было.

Глухов молча развел руками.

Малянов ничего не понял в этой интермедии, но что-то в ней было, что-то неприятное, неспроста они друг другу это все говорили. А Захар, видимо, понял, понял как-то по-своему, какую-то обиду для

себя он почувствовал в этом небольшом разговоре, какое-то оскорбление, что-то, потому что вдруг с необычайной резкостью, чуть ли не со злобой почти, выкрикнул, обращаясь к Вечеровскому:

— Снегового-то они убили! Вам, Филипп Павлович, легко рассуждать, вас-то они за горло не взяли, вам хорошо!..

Вечеровский кивнул.

— Да, — сказал он. — Мне хорошо. Мне хорошо, и вот Владлену Семеновичу тоже хорошо. Правда, Владлен Семенович?

Маленький уютный человек с красными кроличьими глазами за сильными стеклами старомодных очков в стальной оправе снова молча развел руками. Потом он встал и, ни на кого не глядя, проговорил:

— Прошу прощенья, друзья, но мне пора идти. Уже поздно...»

8

15. «...Может быть, хочешь переночевать у меня? — спросил Вечеровский.

Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в общую комнату, некоторое время двигался там, вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро. Затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стол.

Вообще-то после всех сегодняшних событий и разговоров оставаться одному Малянову было как-то не в жилу. А с другой стороны, бросать квартиру и уходить было как-то неловко и, прямо скажем, стыдно. Получается, что они меня все-таки выживают, подумал он. А я терпеть не могу ночевать в чужих домах, даже у друзей. Даже у Вечеровского. Он вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе. Хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней — волшебный напиток „а-ля Вечеровский“. Но если подумать, не на ночь же его пить... Кофе можно выпить утром.

Он домыл последнее блюдце, поставил его в сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом, молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол, на котором Фил навел порядок: книги лежали аккуратной стопкой, недельной пыли и следа не осталось, все три карандаша и ручка аккуратно выстроились рядом с календарем. Вообще, пока

Малянов возился с посудой, Вечеровский успел навести в комнате совершенно необычайный блеск — только что не пропылесосил, но при всем том сам ухитрился остаться элегантным, подтянутым, без единого пятнышка на кремовых одеждах. Он даже ухитрился не вспотеть, что было уже совершенной фантастикой. А вот у Малянова, хоть он и был в Иркином фартуке, все брюхо было мокрое, прямо как у Вайнгартена. Если у жены брюхо после мытья посуды мокрое, значит, муж пьяница. А если у мужа?..

Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажнике одно за другим гаснут окна. Появился Калям, тихонько мявкнув, вскочил Вечеровскому на колени, устроился и заурчал. Вечеровский тихо гладил его длинной узкой ладонью, не отрывая глаз от огней за окном.

— Он линяет, — предупредил Малянов.

— Неважно, — отозвался Вечеровский тихонько.

Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного Глухова, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе и не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, — теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некоей эксцентрической повестью, и если это даже действительно произошло, то давно, и не происходило, собственно, а только начало происходить, а потом перестало. Малянов ощутил даже смутный интерес к этому полулитературному персонажу: получил он в конце концов свои пятнадцать лет или все...»

16. «...вспомнил Снегового и пистолет в пижаме, и печать на двери.

— Слушай, — сказал я. — Неужели они Снегового убили?

— Кто? — не сразу отозвался Вечеровский.

— Н-ну... — начал я и замолчал.

— Снеговой, судя по всему, застрелился, — сказал Вечеровский. — Не выдержал.

— Чего не выдержал?

— Давления. Сделал свой выбор.

Это была не эксцентрическая повесть. Я опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри, забрался в кресло с ногами и обхватил колени. Сжался так, что хрустнули мускулы. Это ведь я, это ведь со мной происходит. Не с Иваном-царевичем, не с Иванушкой-дурачком, а со мной. Вечеровскому хорошо...

— Слушай, — сказал я сквозь зубы. — Что там у тебя с Глуховым? Странно вы с ним как-то говорили...

— Он меня разозлил, — отозвался Вечеровский.

— Чем?

Вечеровский помолчал.

— Не смеет оставаться один, — сказал он.

— Понимаю, — сказал я, подумав.

— Меня злит не то, как он сделал свой выбор, — проговорил Вечеровский медленно, словно размышляя вслух. — Но зачем все время оправдываться? И он не просто оправдывается, он еще пытается завербовать других. Ему стыдно быть слабым среди сильных, ему хочется, чтобы и другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав, но меня такая позиция бесит...

Я слушал его, раскрыв рот, а когда он замолчал, спросил осторожно:

— Ты хочешь сказать, что Глухов тоже... под давлением?

— Он был под давлением. Теперь он раздавлен.

— Подожди, подожди... Позволь!

Он медленно повернул ко мне лицо.

— А ты не понял? — спросил он.

— Откуда? Он же говорил... Я же своими ушами слышал... Да просто видно наконец, простым глазом, что человек ни сном, ни духом... Это же очевидно!

Впрочем, теперь это уже не казалось мне таким очевидным. Скорее, пожалуй, наоборот.

— Значит, ты не понял, — произнес Вечеровский, разглядывая меня с любопытством. — Гм... А вот Захар понял. — Он впервые за вечер достал трубку и кисет и принялся неторопливо набивать трубку. — Странно, что ты не понял... Впрочем, ты был в явно растрепанных чувствах. А между тем посуди сам: человек любит детективы, человек любит посидеть у телевизора, сегодня как раз очередная серия этого убогого фильма... и вдруг он срывается с насиженного места, мчится к совершенно незнакомым людям — для чего? Чтобы пожаловаться на свои головные боли? — Он чиркнул спичкой и принялся раскуривать трубку. Желто-красный огонек заплясал в его сосредоточенно скошенных глазах. Потянуло медвяным дымком. — А потом — я ведь его сразу узнал. Точнее, не сразу... Он очень сильно переменился. Это ведь был этакий живчик — энергичный, крикливый, ядовитый... никакого руссоизма, никаких рюмочек. Сначала я его просто пожалел, но, когда он принялся рекламировать свое новое мировоззрение, это меня взбесило.

Он замолк и занялся исключительно своей трубкой.

Я снова изо всех сил сжался в комок. Вот, значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он уже не тот. Вырожденная материя... Вырожденный дух. Не выдержал... Елки-палки, но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит...

— Значит, ты и Снегового осуждаешь? — спросил я.

— Я никого не осуждаю, — возразил Вечеровский.

— Н-ну... Ты же бесишься вот... по поводу Глухова...

— Ты меня не понял, — с легким нетерпением сказал Вечеровский. — Меня бесит вовсе не выбор Глухова. Какое я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один, без помощи, без надежды... Меня раздражает поведение Глухова после выбора. Повторяю: он стыдится своего выбора и поэтому — только поэтому! — старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того могучую силу. Понимаешь меня?

— Умом — понимаю, — сказал я.

Я хотел добавить еще о том, что и Глухова можно вполне понять, а поняв — простить, что на самом деле Глухов вообще вне сферы анализа, он в сфере милосердия, но я вдруг почувствовал, что не могу больше говорить. Меня трясло. Без помощи и без надежды... Без помощи и без надежды... Почему я? За что? Что я им сделал?.. Надо было поддерживать разговор, и я сказал, стискивая зубы после каждого слова:

— В конце концов, существуют такие давления, которых никакому человеку не выдержать...

Вечеровский ответил что-то, но я не услышал его или не понял. До меня вдруг дошло, что еще вчера я был человеком, членом социума, у меня были свои заботы и свои неприятности, но пока я соблюдал законы, установленные социумом, — а это было вовсе не так уж трудно, — пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняли милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец, и вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели, а вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо — достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто... И мне дано понять, что пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее: меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада, и волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все

дальше и дальше... Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из Космоса, из недр океана, из четвертого измерения — насколько бы мне было легче! Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах! А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит. Слава богу, что хоть Ирки здесь нет. Слава богу, что хоть ее это не касается... Бред! Бред! Чушь собачья! Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузионной материей?!

— По-видимому, да, — сказал Вечеровский.

Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах.

— Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла! — сказал я с отчаянием.

— С человеческой точки зрения — никакого, — сказал Вечеровский. — Но ведь люди как раз ничего не имеют против твоих занятий.

— А кто имеет?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — произнес Вечеровский, и это было так не похоже на него, что я расхохотался. Нервно. Истерически. И услышал в ответ довольное марсианское уханье.

— Слушай, — сказал я. — Ну их всех к черту. Давай чаю попьем!

Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое, и я торопливо добавил:

— Давай, а? Я там коробку конфет утаил каких-то. Чего их, думаю, скармливать Вайнгартену... Давай!

— С удовольствием, — сказал Вечеровский и с готовностью встал.

— Знаешь, вот так думаешь, думаешь, — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. — Вот так думаешь, думаешь — в глазах же черно становится. Нельзя так, нельзя. Такие вот штуки и загубили Снегового, я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире один как перст, все лампы зажег, но что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал я вот так, думал, а потом щелкнуло что-то в голову — и конец... Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно: такая мощь, такие энергии — и все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли... Нет, правда, ты в это вдумайся, Фил! Смешно ведь, верно?

Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением.

— Ты знаешь, Дима, — произнес он, — вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил.

— Нет, правда... Как представишь себе... Вот собираются они там и начинают считать: на исследование кольчатых червей мы бросим сто мегаватт, на проталкивание такого-то проекта — семьдесят пять гигаватт, а на запрещение Малянову хватит и десяти. А кто-нибудь там возражает: десятки-де мало. Надо ведь телефонными звонками его заморочить — раз. Коньяку ему с бабой подсунуть — два... — Я сел и стиснул руки между коленями. — Нет, как хочешь, — это смешно.

— Да, — согласился Вечеровский. — Это довольно смешно. Не очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался.

— Какие пузыри! — сказал я. — Не было никаких пузырей. И не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник, ничего не видел, ничего не слышал, маруха Нинка подтвердит, не было меня там... И вообще, у меня плановая тема — ИК-спектрометр, а все остальное — интеллигентская вылазка, Галилеев комплекс...

Мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготовляясь закипеть, начал делать „пф-пф-пф“.

— Ну, ладно, — сказал я. — Убогое воображение. Пожалуйста. Но согласись. Если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врали... блюдечки дурацкие выдумывали, баальбекские веранды, а они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали... Я, между прочим, всегда был уверен, что когда они наконец объявятся, они будут совершенно не похожи на все то, что про них навыдумывали...

— Кто это — они? — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал погасшую трубку.

— Пришельцы, — сказал я. — Или, выражаясь по науке, сверхцивилизация.

— А-а, — сказал Вечеровский. — Понимаю. Действительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с аберрациями поведения.

— Ладно, ладно, — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. — У меня воображение убогое, а у тебя его, видно, и совсем нет.

— Пожалуй, — согласился Вечеровский. — Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. Флогистон,

например, он же теплород... или, скажем, всемирный эфир... Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста... и не жалей заварки.

— Сам знаю, — огрызнулся я. — Так что ты там насчет флогистона?

— Я никогда не верил во флогистон. И я никогда не верил в сверхцивилизации. И флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое. Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно — животное. Не от разума. От неразумия.

— Позволь! — сказал я, стоя с заварочным чайником в одной руке и с пачкой цейлонского в другой. — Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией...

— Отнюдь, — сказал Вечеровский невозмутимо, — точнее, отнюдь нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией. А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный...

В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку от чайника.

— Ч-черт... — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь.

— Иди, иди, — спокойно сказал Вечеровский, поднимаясь. — Я заварю.

Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время. Может быть, пьяный Вайнгартен? Сидит там один... Я взял трубку.

— Да?

Голос пьяного Вайнгартена сказал:

— Ну конечно, не спит... Привет, жертва сверхразума! Как ты там?

— О'кэй, — сказал я с огромным облегчением. — А ты?

— У нас тут полный порядок... — сообщил Вайнгартен. — З-заехали в „Авс... Австорию“... В „Аустерию“, понял?.. Взяли полбанки — показалось мало. Тогда взяли еще полбанки... Понесли эти две полбанки... иначе говоря, одну целую банку... и вот теперь прекрасно себя чувствуем. Приезжай!

— Да нет, — сказал я. — Мы тут с Вечеровским. Чай пьем.

— Кто чай пьет — тот отчается, — объявил Вайнгартен и захохотал. — Ну, ладно. Если что — звони...

— Я не понимаю, ты один или с Захаром?

— Мы втроем, — сказал Вайнгартен. — Очень мило... Значит, если что — приезжай. Эж... эждем... — И он положил трубку.

Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай.

— Вайнгартен? — спросил он.

— Да. Все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему. Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен — это так хорошо.

— Что он тебе сказал? — осведомился Вечеровский.

— Он сказал: кто пьет чай, тот отчается.

Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена анфан терибль — большим, шумным, потным анфан терибль.

— Подожди, — сказал я. — А где же конфеты? А!

Я залез в холодильник и вытащил роскошную коробку „Пиковой дамы“.

— Видал?

— О! — сказал Вечеровский с уважением.

Мы почали коробку.

— Привет от сверхцивилизации, — сказал я. — Да! Так что ты там говорил? Совсем меня с толку сбил... Да! Ты что же, даже после всего утверждаешь...

— Умгу... — сказал Вечеровский. — Утверждаю. Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций не существует. А теперь, после всего, как ты выразился, — я догадываюсь, почему не существует.

— Подожди, подожди... — Я поставил чашку. — Почему и так далее — это все теория, а ты мне вот что скажи... Если это не сверхцивилизация... если это не пришельцы в самом широком смысле слова, тогда кто? — Я разозлился. — Ты знаешь что-нибудь или просто языком треплешь, парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился, из другого сделали медузу... Что ты нам голову морочишь?

Нет, даже невооруженным глазом было видно, что Вечеровский не занимается парадоксами и не морочит нам голову. Лицо у него вдруг сделалось серое, утомленное, и проступило на нем какое-то огромное, доселе тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение... или, может быть, упрямство — жестокое яростное упрямство. Он даже на себя перестал быть похож. У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое, с этакой сонной аристократической тухлецой,

а тут оно все словно окаменело. И мне опять стало страшно. В этот момент я впервые подумал, что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать. И вовсе не поэтому он приглашал меня переночевать у него, а давеча — посидеть у него и поработать. И хотя мне было очень страшно, я вдруг испытал прилив жалости к нему, ни на чем, собственно, не основанной, жалости — только на каких-то мутных ощущениях основанной, да на том, как вдруг переменилось его лицо.

И тут я вспомнил ни с того ни с сего, что года три назад Вечеровского положили в больницу, но ненадолго, скоро выписали...»

17. «...неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли. Только через год. А я обо всем этом узнал и вообще только прошлой осенью, а ведь встречался с ним каждый божий день, пил у него кофеек, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели. И ничего, ничегошеньки не подозревал...

И вот сейчас, охваченный этой неожиданной жалостью, я не удержался и сказал, хотя знал заранее, что говорить это бессмысленно, толку от этого никакого не будет:

— Фил, — сказал я, — а ты что — тоже под давлением?

Конечно, он не обратил на мой вопрос никакого внимания. Просто не услышал меня. Напряжение ушло с его лица, снова утонуло в аристократической одутловатости, рыжие веки наползли на глаза, и он усиленно засопел потухшей трубкой.

— Я вовсе не морочу вам голову, — сказал он. — Вы сами себе морочите голову. Это же вы придумали свою сверхцивилизацию, и никак вы не поймете, что это слишком просто — современная мифология, и не более того.

У меня мурашки поползли по коже. Еще сложнее? Еще, значит, хуже? Куда же больше?

— Ты ведь астроном, — продолжал он укоризненно. — Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии...

— Ну, знаю, — сказал я. — Всякая цивилизация в своем развитии с высокой вероятностью...

— И так далее, — прервал он меня. — Мы неизбежно должны наблюдать следы их деятельности, но мы этих следов не наблюдаем. Почему? Потому что сверхцивилизаций не бывает. Потому что превращения цивилизаций в сверхцивилизацию почему-то не происходит.

— Ну да, — сказал я. — Разум губит себя в ядерных войнах. Чушь все это.

— Конечно, чушь, — спокойно согласился он. — Тоже слишком просто, слишком примитивно, в сфере привычных представлений...

— Подожди, — сказал я. — Что ты затвердил, как попугай, — примитивно, примитивно. На самом деле все, наверное, совсем не так просто... Генетические болезни... какая-нибудь усталость от бытия... целевая переориентация... Об этом же целая литература существует. Я, например, считаю, что проявления сверхцивилизаций носят космический характер, мы просто не умеем отличить их от природных космических явлений. Или, пожалуйста, наш случай — чем не проявление?

— Человеческое, слишком человеческое, — проговорил Вечеровский. — Они обнаружили, что земляне на пороге Космоса, и, опасаясь соперничества, решили это прекратить. Так?

— Почему бы и нет?

— Да потому, что это — роман. Вернее, целая литература в ярких дешевых обложках. Это все попытки натянуть фрачную пару на осьминога. Причем даже не просто на осьминога, а на осьминога, которого на самом деле не существует...

Вечеровский отодвинул чашку, поставил локоть на стол и, подперши подбородок кулаком, задрав рыжие брови, стал глядеть куда-то поверх моей головы.

— Смотри, как у нас забавно получается, — сказал он. — Казалось бы, два часа назад обо всем договорились: неважно, какая сила на вас действует, важно — как вести себя под давлением. Но вот я вижу, что ты об этом совершенно не думаешь, ты упорно, снова и снова возвращаешься к попыткам идентифицировать эту силу. И при этом упорно возвращаешься к гипотезе сверхцивилизации. Ты даже готов забыть и уже забыл собственные свои маленькие возражения против этой гипотезы. И я в общем понимаю, почему это с тобой происходит. Где-то в подсознании у тебя сидит идейка, что любая сверхцивилизация — это все-таки цивилизация, а две цивилизации всегда сумеют между собой как-то договориться, найти некий компромисс, накормить волков и сохранить овец... И уж в самом худшем случае — сладко покориться этой враждебной, но импозантной силе, благородно отступить перед противником, достойным победы, а там — чем черт не шутит! — может быть и получить награду за свою разумную покорность... Не выкатывай, пожалуйста, на меня глаза. Я ведь говорю: это у тебя в подсознании. И разве только у тебя? Это же очень, очень человеческое. От бога отказались, но на своих собственных ногах, без опоры, без какого-нибудь костыля стоять еще не умеем. А придется! Придется научиться. Потому что у вас, в вашем положении не только

друзей нет. Вы до такой степени одиноки, что у вас и врага нет! Вот чего вы никак не хотите понять.

Вечеровский замолчал. Я пытался переварить эту неожиданную речь, пытался найти аргументы, чтобы возражать, оспаривать, с пеной у рта доказывать... что? Не знаю. Он был прав: уступить достойному противнику — это не позор. То есть это не он так думает. Это я так думаю. То есть не думаю, а только сейчас подумал — после того, как он об этом сказал. Но ведь у меня и на самом деле было ощущение, что я — генерал разбитой армии и брожу под градом ядер в поисках генерала-победителя, чтобы отдать ему шпагу. И при этом меня не столько угнетает само поражение, сколько-то проклятое обстоятельство, что я никак не могу найти этого супостата.

— Как же так — нет врага? — сказал я наконец. — Кому-то ведь все это понадобилось!

— А кому понадобилось, — с этакой ленцой произнес Вечеровский, — чтобы вблизи поверхности Земли камень падал с ускорением в девять и восемьдесят один?

— Не понимаю, — сказал я.

— Но ведь он падает именно так?

— Да...

— И сверхцивилизацию ты сюда не притягиваешь за уши? Чтобы объяснить этот факт...

— Подожди... При чем здесь...

— Кому же все-таки понадобилось, чтобы камень падал именно с таким ускорением? Кому?

Я налил себе чаю. В общем-то мне как будто оставалось сложить два и два, но я все равно ничего не понимал.

— Ты хочешь сказать, что мы имеем дело с каким-то стихийным бедствием, что ли? С явлением природы?

— Если угодно, — сказал Вечеровский.

— Ну, знаешь ли, голубчик!.. — Я развел руками, задел стакан и залил весь стол. — Ч-черт...

Пока я вытирал стол, Вечеровский по-прежнему лениво продолжал:

— А ты все-таки постарайся отказаться от эпициклов, попробуй все-таки поставить в центр не Землю, а Солнце. Ты сразу почувствуешь, насколько все упростится.

Я бросил мокрую тряпку в мойку.

— То есть у тебя есть своя гипотеза, — сказал я.

— Да, есть.

— Изложи. Кстати, почему ты не изложил ее сразу? Когда здесь был Вайнгартен.

Вечеровский подвигал бровями.

— Видишь ли... Всякая новая гипотеза обладает тем недостатком, что вызывает всегда массу споров. А мне вовсе не хотелось спорить. Мне хотелось только убедить вас, что вы поставлены перед неким выбором, и выбор этот должны сделать в одиночку, сами. По-видимому, мне это не удалось. А между тем моя гипотеза, пожалуй, могла бы оказаться дополнительным аргументом, потому что суть ее... точнее, единственный практический вывод из нее состоит как раз в том, что у вас сейчас нет не только друзей, но даже и противника. Так что, может быть, я и ошибся. Может быть, мне следовало пойти на утомительную дискуссию, но зато тогда вы яснее бы представляли себе свое истинное положение. А дела, на мой взгляд, обстоят следующим образом...

Нельзя сказать, чтобы я не понял его гипотезу, но не могу сказать, что я осознал ее до конца. Не могу сказать, что его гипотеза убедила меня, но, с другой стороны, все происходившее с нами в нее укладывалось. Более того, в нее укладывалось вообще все, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной, и в этом, если угодно, заключается и слабость этой гипотезы. Было в ней что-то от утверждения, что веревка есть вервие простое.

Вечеровский вводил понятие Гомеостатического Мироздания (он употреблял именно это архаическое и поэтическое слово). „Мироздание сохраняет свою структуру“ — это была его основная аксиома. По его словам, законы сохранения энергии и материи вообще были частными проявлениями закона сохранения структуры. Закон неубывания энтропии противоречит гомеостазису мироздания и поэтому является законом частичным, а не всеобщим. Дополнительным по отношению к этому закону является закон непрерывного воспроизводства разума. Сочетание и противоборство этих двух частичных законов и обеспечивают всеобщий закон сохранения структуры.

Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания исчезла бы, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержании

равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается.

Не спрашивай меня, говорил Вечеровский, почему именно Малянов и Глухов оказались первыми ласточками грядущих катаклизмов. Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших гомеостазис в том уголке мироздания, где Глухов и Малянов затеяли свои сакраментальные исследования. Вообще не спрашивай меня о механизмах действия Гомеостатического Мироздания — я об этом ничего не знаю так же, как никто ничего не знает, например, о механизмах действия закона сохранения энергии. Просто все процессы происходят так, что энергия сохраняется. Просто все процессы происходят так, чтобы через миллиард лет эти работы Малянова и Глухова, слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света. Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию...

Вот так примерно — не знаю уж, правильно или не совсем правильно, а может быть, и вовсе неправильно — я его понял. Я даже спорить с ним не стал. И без того дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадежным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Господи! Малянов Д. А. версус Гомеостатическое Мироздание! Это даже не тля под кирпичом. Это даже не вирус в центре Солнца...

— Слушай, — сказал я. — Если все это так, какого черта тут вообще разговаривать? Да провались они, мои М-полости... Выбор! Да какой тут может быть выбор?

Вечеровский медленным движением снял очки и принялся водить мизинцем по натертой горбинке носа. Он очень долго, изнурительно долго молчал. А я ждал. Потому что шестым чувством понимал: не может Вечеровский бросить меня вот так, на съедение своему гомеостазису, никогда бы этого не сделал, никогда бы мне всего этого

не рассказал, если бы не существовал какой-то выход, какой-то вариант, какой-то все-таки, черт возьми, выбор. И вот он кончил сандалить свой нос, снова надел очки и тихонько произнес:

— Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мной кривые, глухие окольные пути...

— Ну? — сказал я.

— Повторить? — спросил Вечеровский.

— Ну, повтори.

Он повторил. Мне захотелось заплакать. Я торопливо поднялся, налил чайник и снова поставил его на газ.

— Хорошо, что чай на свете есть, — сказал я. — Давно бы уже пьяный под столом валялся...

— Я все-таки предпочитаю кофе, — сказал Вечеровский.

И тут я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я, наверное, стал бледный, а может быть, даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно подался ко мне и тихо проговорил:

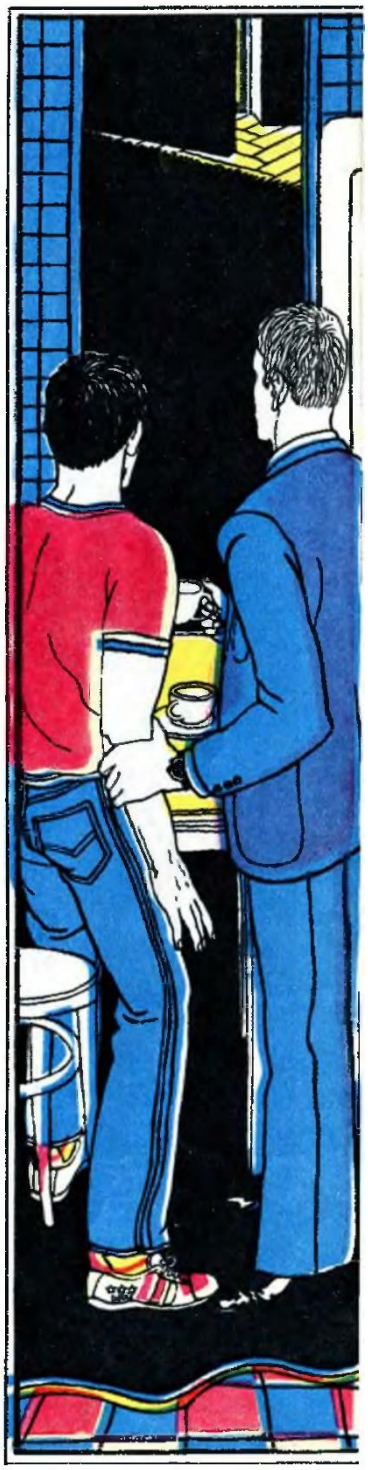
— Спокойно, Дима, спокойно... Я с тобой.

Я едва слышал его.

Там, в прихожей, открылась вторая дверь, зашуршала одежда, послышались быстрые шаги, отчаянно завопил Калям, и — я все еще сидел, как деревянный — запыхавшийся Иркин голос произнес: „Калямушка...“ И сразу же:

— Димка!

Не помню, как меня вынесло в коридор. Я схватил Ирку в охапку, стиснул ее, прижался (Ирка! Ирка!), вдохнул запах знакомых духов — у нее были мокрые щеки, и она тоже бормотала что-то странное: „Ты живой, господи... Что я только не



думала! Димка!“ Потом мы опомнились. Во всяком случае, я опомнился. То есть до меня окончательно дошло, что это она, и дошло, что она бормочет. И мой аморфный деревянящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил ее на ноги, отстранился, вгляделся в заплаканное лицо (оно было даже не подмазано) и спросил:

— Что случилось, Ирка? Почему ты здесь? Бобка?

По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки, лихорадочно шарила мокрыми глазами по моему лицу и все повторяла:

— Я же чуть с ума не сошла... Я думала, что уже и не успею... Что же это такое...

Не разнимая рук, мы протиснулись в кухню, я усадил ее на свою табуретку, а Вечеровский молча налил ей крепкого чаю прямо из заварочного чайника. Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник. На ней лица не было. Она так осунулась, что я с трудом ее узнавал. Глаза были красные, волосы растрепаны, торчали космами. Тут меня затрясло, и я привалился задом к мойке.

— С Бобкой что-нибудь? — проговорил я, еле ворочая языком.

— С Бобкой? — повторила она бессмысленно. — При чем здесь Бобка? Я из-за тебя чуть с ума не сошла... Что здесь произошло? — закричала она вдруг. — Ты болел? — Глаза ее снова обежали меня. — Ты же здоров, как бык!

Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня отвисла, и захлопнул рот. Ничего было не понять. Вечеровский очень спокойно спросил:

— Ты получила что-нибудь дурное про Диму?

Ирка перестала обследовать меня глазами и поглядела на него. Потом она вдруг сорвалась с места, выбежала в прихожую и сейчас же вернулась, на ходу копаясь в сумочке.

— Вы посмотрите... посмотрите, что я получила... — Гребенка, патрон с помадой, какие-то листки и коробочки, деньги сыпались на пол. — Господи, где же это... Да! — Она швырнула сумку на стол, сунула

трясущуюся руку в карман пыльника, не сразу попала — и выхватила смятую телеграмму. — Вот!

Я схватил телеграмму. Пробежал. Ничего не понял... „УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ...“ Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния — вслух:

— „ДИМОЙ ПЛОХО ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ...“ Как — Снеговой? — сказал я. — Почему — Снеговой?

Вечеровский осторожно отобрал у меня телеграмму.

— Отправлено сегодня утром, — сказал он. — Все заверки, насколько я понимаю, в порядке...

— Когда отправлена? — спросил я громко, как глухой.

— Сегодня утром. В десять часов двадцать две минуты.

— Господи! Да что же он — подшутил надо мной так? — сказала...»

9

18. «...чем у меня. Билет на аэровокзале, она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой, к начальнику, тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть — самолетов в порту не было, а когда они появлялись, то летели не туда. В конце концов, отчаявшись, она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шел проливной дождь, и только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолете, который вез холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче. Из Домодедова она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За все это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела. Даже засыпая, она жалобно грозилась, что завтра же с утра отправится на почту, призовет на помощь милицию и уж выяснит, чья это работа, какие гады это натворили. Я, естественно, поддакивал, что да, конечно, мы этого так не оставим, за такие штучки нужно морду бить, и даже не морду бить, а просто сажать, и, конечно, я не стал ей говорить, что почта такие телеграммы без соответствующих справок не принимает, что пошутить таким вот образом в наше время, слава богу, просто невозможно и что скорее всего эту телеграмму вообще никто не посылал, а телетайп на почте в Одессе отпечатал ее совершенно самостоятельно.

Я заснуть не мог. Собственно, было уже утро. На улице было совсем светло, и в комнате, несмотря на задернутые шторы, тоже было светло. Некоторое время я лежал неподвижно, гладил Каляма, растянувшегося, между нами, и слушал тихое ровное дыхание Ирки. Она

всегда спала очень крепко и с большим аппетитом. Не было на свете таких неприятностей, которые могли бы вызвать у нее бессонницу. По крайней мере до сих пор не было...

Тошное, маятное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял наконец телеграмму, не покидало меня. Все мускулы были сведены словно судорогой, и внутри, в груди и в животе, лежал огромный бесформенный холодный ком. Иногда этот, ком принимался ворочаться, и тогда меня начинала бить дрожь.

Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полуслове и я услышал ее ровное сонное дыхание, мне на мгновение стало легче: я был не один, более того — со мной рядом был самый, наверное, родной и любимый человек. Но холодная жаба в груди шевельнулась, и я ужаснулся этому чувству облегчения и подумал: до чего же это я докатился, до чего они меня укатали, что я способен радоваться Иркиному здесь присутствию, радоваться, что Ирка оказалась в одном со мною окопе под ураганным огнем. Не-ет, завтра же, завтра же за билетом! И — обратно ее в Одессу... через головы всех очередей, всех раскидаю, зубами прогрызу дорогу к кассе...

Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить из-за этих гадов, из-за меня, из-за этой вонючей диффузной материи, которая вся, сколько ее есть, не стоит одной Иркиной морщинки. И до нее они добрались. Мало им было меня топтать — до нее добрались тоже... Зачем? Ирка-то им зачем понадобилась? Сволочи слеподырые, лупят по площадям, на кого бог пошлет... Я сел. Если с Иркой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Да нет, ничего с нею не случится. Это они просто меня запугивают. Нервы мои бедные на катушку наматывают — не одним способом, так другим. Не мытьем, так катаньем...

Ни с того ни с сего мне представился вдруг мертвый Снеговой — как он идет в огромной полосатой пижаме по московскому, грузный, холодный, с запекшейся дырой в большом черепе; как он входит в почтовое отделение и встает в очередь к телеграфному окошку; в правой руке у него пистолет, в левой — телеграмма, и никто вокруг ничего не замечает, приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму, выписывает квитанцию и, не вспомнив о деньгах, произносит: „Следующий“.

Я потряс головой, чтобы отогнать видение, тихонько слез с тахты и как был, в одних трусах, прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло, на дворе вовсю гомонили воробьи и шаркала метла дворника. Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятую пачку с двумя поломанными сигаретами и, севши на стол, закурил. Давно я не курил. Года два, наверное, а может быть и три... Все силу воли

доказывал. Да, брат Малянов. Теперь тебе понадобится вся твоя сила воли. Ч-черт, актер ведь я никудышный и врать толком не умею. А Ирке ничего не надо знать. Ни к чему ей все это. Это я должен пережить сам, сам должен с этим справиться. Тут мне никто не поможет, ни Ирка, никто.

А при чем тут, собственно, помощь? — подумал я вдруг. Разве о помощи речь? Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы ей сейчас рассказал про М-полости, она бы сразу все поняла, у нее голова ясная, хотя она и не теоретик и все время жалуется на свою дурость... А сейчас что я ей скажу? Тоска, тоска...

Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грех и пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет: подумаешь, чепуха какая — и сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается, несправедливость. В меня бьют, как в бубен, но я хоть понимаю, за что, догадываюсь — кто... и вообще знаю, что меня бьют. Целятся. Что это не глупые шутки и не удары судьбы. По-моему, все-таки лучше знать, что в тебя целятся. Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометью бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается — не рассказать ей. И вообще. Мне надо выбор делать. (Я, между прочим, об этом еще и не пытался думать, а думать придется. Или я уже выбрал? Сам еще об этом ничего не знаю, а уже выбрал...) И вот если выбирать... Ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот как насчет последствий? Выберу одно — начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое... Интересно, понравился бы Ирке Глухов? В общем-то ведь милый, приятный человек, тихий, кроткий... Телевизор можно было бы, наконец, купить на

радость Бобке, на лыжах бы ходили каждую субботу, в кино... В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за медузой замужем через десять лет супружества вдруг оказаться — тоже не сахар... А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка любит? То-то и оно, что не знаю. Между прочим, она этого, может быть, тоже не знает...

Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медяка, а паспорт — вот он. Взял черно-зеленую книжицу и рассеяно заглянул на первую страницу. Сам не знаю — зачем. Меня окатило холодным потом. Сергеенко Инна Федоровна. Год рождения 1939... Что такое? Фотография была Иркина... Нет, не Иркина. Какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка. Какая-то Сергеенко Инна Федоровна.

Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках прокрался в комнату. Меня окатило ледяным потом вторично. У женщины, которая лежала под простыней, сухая кожа туго обтягивала лицо, и были обнажены верхние зубы, белые, острые — то ли в улыбке, то ли в страдальческом оскале. Это ведьма была там под простыней. Не помня себя, я схватил ее за голое плечо и потряс. Ирка мгновенно проснулась, распахнула свои глазищи и невнятно проговорила: „Димкин, ты чего? Болит что-нибудь?..“ Господи, Ирка! Конечно, Ирка. Что за бред? „Я храпела, да?“ — спросила Ирка сонным голосом и заснула снова.

Я на цыпочках вернулся на кухню, отодвинул подальше этот паспорт, выволок из пачки последнюю сигарету и снова закурил. Да. Вот так мы теперь живем. Такая вот у нас теперь будет жизнь. Отныне.

Ледяное животное внутри поворочалось еще немного и затихло. Я стер с лица противный пот, потом спохватился и снова полез в Иркину сумку. Иркин паспорт был там. Малянова Ирина Ермолаевна. Год рождения 1933. Ч-черт... Ну, хорошо, а это-то зачем им понадобилось? Ведь все же не случайно. И паспорт этот, и телеграмма, и с каким трудом Ирка добиралась, и даже то, что она летела в одном самолете с гробами — все ведь это не случайно... Или случайно? Слеподыры же, матушка-природа, стихия безмозглая... Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского. Потому что если это на самом деле Гомеостатическое Мироздание сокрушает микрокрамолу, то это так и должно выглядеть... Как человек, который охотится за мухой с полотенцем, — страшно свистящие удары, разрезающие воздух, летят с полок сбитые вазы, обрушивается торшер, гибнут ни в

чем не повинные ночные мотыльки, задрав хвост, удирает под диван кошка, которой наступили на лапу... Массированность и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским Ручьем дом обрушился — целились в меня, а попали в дом, а мне и невдомек, на мою долю только этот паспорт и достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об М-полостях? Только представил себе, как я мог бы рассказать о них Ирке...

Слушай, я, наверное, так не смогу жить. Трусом я себя никогда не считал, но так вот жить, чтобы ни минуты покоя не было, чтобы от собственной жены шарахаться, принявши ее за ведьму... А Вечеровский Глухова теперь в упор не видит. Значит, и меня не станет видеть. Все придется изменить. Все будет другое. Другие друзья, другая работа, другая жизнь... Семья, может быть, тоже другая... С тех пор все тянутся передо мной кривые, глухие окольные пути. Глухие. Глухов... И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало, когда бреешься. В зеркале будет очень маленький и очень тихий Малянов.

То есть, конечно, можно будет привыкнуть и к этому, ко всему на свете можно привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет немаленькая утрата, если подумать. Ведь я десять лет шел к этому. Даже не десять — всю жизнь. С детства, со школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то наблюдениям... М-полости мои — я ведь о них, собственно, ничего не знаю: что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня, продолжил бы, развил, добавил свое и передал бы дальше, в следующий век... Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то немаленькое я утрачиваю, если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная. Миллиард лет — большой срок. За миллиард лет из комочка слизи вырастает цивилизация...

Но ведь растопчут. Сначала жить не дадут, замордуют, сведут с ума, а если это не поможет — просто растопчут... Мать моя мамочка! Шесть часов. Солнце уже вовсю жарит.

И тут, я сам не знаю почему, холодное животное в груди исчезло. Я поднялся, спокойно ступая, пошел в комнату, залез в свой стол и вытащил свои бумаги, и взял ручку. А потом вернулся в кухню, расположился, сел и стал работать.

Думать по-настоящему я, конечно, не мог — голова была как ватой набита, веки жгло, — но я старательно и тщательно перебрал черновики, выкинул все, что было уже не нужно, остальное расположил по порядку, взял общую тетрадь и стал все переписывать начисто, не торопясь, с аппетитом, аккуратно, тщательно выбирая слова, — так, словно я писал окончательный вариант статьи или отчета.

Многие не любят этого этапа работы, а я люблю. Мне нравится оттачивать терминологию, не спеша и со вкусом обдумывать наиболее изящные и экономичные обозначения, вылавливать блох, засевших в черновиках, вычерчивать графики, оформлять таблицы. Это благородная черная работа ученого — подведение итогов, время полюбоваться собой и делом рук своих.

И я любовался собой и делом рук своих, пока не возникла вдруг рядом со мной Ирка — обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке.

— А? — произнес я и распрямил спину.

Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, какой она явилась вчера. Она была розовая, свежая, ясноглазая и веселая. Жаворонок. Ирка у меня жаворонок. Я — сова, а она — жаворонок. Где-то я слышал про такую классификацию. Жаворонки ложатся рано, легко и с удовольствием просыпаются и сейчас же начинают петь, и никакая мерихлюндия не заставит их проваляться, скажем, до полудня.

— Ты что, опять совсем не ложился? — спросила она и, не дожидаясь ответа, пошла к балконной двери. — Чего это они там разгалделись?

Только тут я сообразил, что во дворе у нас стоит какой-то необычный галдеж — толковище того типа, какое бывает на месте происшествия, когда милиция уже подъехала, а „скорая помощь“ еще в пути.

— Димка! — завопила Ирка. — Ты посмотри! Вот чудеса-то!

У меня упало сердце. Знаю я эти чудеса. Я выскочил...»

19. «...пить кофе. И тут Ирка бодро заявила, что все получилось прекрасно. В конце концов все на свете получается прекрасно. За эти десять дней Одесса успела надоесть ей хуже горькой редьки, потому что нынешним летом туда понаехало столько народу, сколько никогда еще не бывало, и вообще она соскучилась и возвращаться в Одессу не собирается, тем более, что билета сейчас наверняка не достать, а мама все равно намеревалась в Ленинград в конце августа, вот она Бобку и привезет. А сейчас она, Ирка, вернется на работу — прямо сейчас вот кофе попьет и вернется, — а в отпуск поедем вместе, как когда-

то собирались, в марте или в апреле: в Кировск поедем, кататься на горных лыжах.

Потом мы съели яичницу с помидорами. Пока я готовил яичницу с помидорами, Ирка облазала всю квартиру в поисках сигарет, не нашла и вдруг погрустнела, затуманилась, сварила еще кофе и спросила про Снегового. Я рассказал ей, что знал со слов Игоря Петровича, тщательно обойдя все острые углы и постаравшись представить эту историю как очевидный несчастный случай. Пока я все это рассказывал, вспомнилась мне красотка Лидочка, и я совсем было раскрыл рот, но вовремя спохватился.

Ирка что-то говорила о Снеговом, вспоминала что-то, углы рта у нее печально опустились („...теперь вот и сигаретку не у кого попросить!“), а я пил маленькими глоточками кофе и думал, что непонятно, как мне сейчас быть; что пока я не решил, рассказывать Ирке про все или не рассказывать, пожалуй не стоит заводить разговор ни о Лидочке, ни о столе заказов, потому что и с Лидочкой, и со столом заказов все обстоит чрезвычайно неясно, а точнее говоря — очень даже ясно, потому что вот уже сколько времени прошло, а Ирка еще ни словечком не упомянула ни о своей подружке, ни о своем заказе. Конечно, Ирка могла забыть. Во-первых, треволнения, а во-вторых, она всегда все забывает, но лучше все-таки, от греха подальше, эти скользкие темы не затрагивать. Впрочем, маленький пробный шарик пустить, может быть, и стоит.

И, выбрав удобный момент, когда Ирка перестала говорить о Снеговом и перешла к более веселым предметам — как Бобка сверзился в канаву, а за ним сверзилась теща, — я спросил небрежным голосом:

— Ну, а как Лидочка твоя поживает?

Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоват и щербат. Ирка вытаращила глаза.

— Какая Лидочка?

— Да эта, твоя... школьная...

— А, Пономарева? А чего это ты ее вдруг вспомнил?

— Да так... — промямлил я. — Вспомнилось как-то. — Не подумал я о таком контрвопросе. — Одесса, броненосец „Потемкин“... Шаланды, полные кефали... Ну, вспомнилось просто, и все! Что ты пристала?

Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня, затем сказала:

— Мы встретились. Она красивая такая стала, от мужиков отбоя нет...

Возникла пауза. Ч-черт, терпеть не могу врать... Ничего себе — пробный шарик! Мне же и по лбу. Под испытующим взглядом Ирки

я поставил на блюдце пустую чашку и, сказавши фальшивым голосом: „Как там наше дерево?“, я отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно: теперь уже окончательно. Н-ну, а как же наше дерево?

Дерево было на месте. Толпа подрассосалась. Собственно, около дерева стояли только кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная машина „ПМГ“. Все (кроме машины, конечно) смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это означает. Один из милиционеров, снявши фуражку, утирал бритую голову носовым платком. Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах — лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копаться пальцами в вывороченной земле. Я поспешно отошел от балкона.

Ирка уже была в ванной. Я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вечеровскому. Уже услыхав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов, но прежде, чем я успел додумать это до конца, он снял трубку.

— Ты дома? — спросил я глупо.

— Да как тебе сказать... — ответил Вечеровский.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Дерево видел?

— Да.

— Как ты полагаешь?

— Думаю, что да, — сказал Вечеровский.

Я покосился в сторону ванной и, понизив голос, проговорил:

— По-моему, это я.

— Да?

— Угу. Я тут решил черновики привести в порядок.

— Привел?

— Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить.

Вечеровский помолчал.

— А зачем? — спросил он.

Я засмеялся.

— Н-не знаю... Захотелось вдруг переписать все начисто... Не знаю. От тоски, наверное. Жалко. А ты что, никуда сегодня не пойдешь?

— Кажется, нет. Как Ира?

— Щебечет, — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. — Ты же знаешь Ирку. Как с гуся вода.

— Ты ей рассказал?

— Что ты! Конечно нет.

— Почему, собственно, „конечно“?

Я крякнул.

— Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю — рассказать или нет? И не знаю. Не могу сообразить.

— Если не знаешь, что делать, — произнес Вечеровский, — не делай ничего.

Я хотел ему сказать, что уж это мне и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал:

— Ну, ладно, я пошел работать. Если что — звони, буду дома.

Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Калям немедленно пришел, взобрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий и влажный. И тут я заснул. Это было как обморок. Сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Каляма на моей спине уже не было, в дверь звонили. Нашим условным звонком: та — та-та — та-та. Я скатился с кушетки. Голова была ясная, и чувствовал я себя каким-то необычайно боевым. Какой-то я был весь готовый к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было — одна отчаянная злая решимость.

Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь: он был еще более потный, всклоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера.

— Что это за дерево? — прямо с порога осведомился он. И опять же невозможная вещь: эти слова он произнес шепотом.

— Можно вслух, — сказал я. — Заходи.

Он вошел, ступая осторожно и озираясь, сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею. Я за хвост втащил Каляма в прихожую и захлопнул дверь.

— Ну? — сказал Вайнгартен.

— Как видишь, — ответил я. — Пошли в комнату.

— Дерево это — твоя работа?

— Моя.

Мы уселись — я за стол, он в кресло рядом. Из-под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался, потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая

из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Борьба, значит, продолжается... — сказал он наконец, выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. — Лучше, значит, умереть стоя, чем жить, трам-тарарам, на коленях... Идиот! — заорал он. — Ты хоть вниз спускался? Диван ты двуногий! Ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был! А если бы у тебя под задницей? Трам-тарарам, и трам, и тарарам!

— Ты чего орешь? — сказал я. — Валерьянки тебе дать?

— Водки нет? — спросил он.

— Нет.

— Ну, вина...

— Ничего нет. Что это ты мне притащил?

— Нобелевку свою! — заорал он. — Нобелевку притащил! Да только не тебе, идиоту... У тебя и своих хлопот хватит!.. — Он принялся яростно расстегивать свою курточку сверху, оторвал пуговицу и выругался. — Идиотов нынче мало, — объявил он. — В наше время, старик, большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нам много не надо: вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет черная при белом хлебе... Это тебе не девятнадцатый век, отец, — сказал он задушевно. — Девятнадцатый век давно умер, похоронен, и все, что от него осталось, — это миазмы, отец, и не более того. Я всю ночь не спал. Захар храпит, мальчишка его чудовищный — тоже, а я не сплю, прощаюсь с пережитками девятнадцатого века в своем сознании. Двадцатый век, старик, это расчет и никаких эмоций! Эмоции, как известно, это недостаточность информации, и не более того. Гордость, честь, потомки — все это дворянский лепет. Атос, Портос и Арамис. Я так не могу. Я так не умею, трамтарарам! Проблема ценностей? Пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится все к чертовой матери. Остальное — за пределами моей ответственности. Драться? Ради бога. За себя. За семью, за друзей. До последнего, без пощады. Но за человечество? За достоинство землянина? За галактический престиж? Я не дерусь за слова! У меня заботы поважнее! А ты — как хочешь. Но идиотом быть не советую.

Он вскочил и огромный, как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода.

— Вся наша деловая жизнь, — проорал он из кухни, — есть последовательная цепочка сделок! Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки! Это знали даже в девятнадцатом веке...

— Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. — Вечеровский тебе не посоветует ни черта, — объявил он. — Это не человек, а робот. Причем, робот не из двадцать первого века, а из девятнадцатого. Если бы в девятнадцатом веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских... Пожалуйста, можете считать меня человеком низменным. Не возражаю. Но пришить себя не дам! Никому. Ни за что. Живой пес лучше мертвого льва, и тем более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и его друзей, я полагаю...

Я его не перебивал. Я его, мордатого, четверть века знаю, причем четверть не какого-нибудь века, а двадцатого. Он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно — не услышит. Пока Вайнгартен не разложил все по полочкам, вы можете с ним спорить на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложивший все по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится безобразно циничен — это у него, наверное, от тяжелого детства.

Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента, и мне показалось странным только, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался же он, в конце концов, — он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал: Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена на охоте, Вайнгартена — грубого хама, Вайнгартена, излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я не видел никогда: Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на несколько секунд выключился, чтобы покопаться в сигаретной пачке, и спросил на всякий случай:

— Тебя что, испугали?

Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку — не только в жестах, но и verbatim тоже.

— Вот тебе — меня испугали, — сказал он, маневрируя дулей у меня под носом. — Это тебе не девятнадцатый век. Это в девятнадцатом веке пугали. А в двадцатом, этими глупостями не занимаются. В двадцатом веке хороший товар покупают. Меня не испугали, а купили, понял, старикашка? Ничего себе выбор! Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом десять нобелевок сделаю, понял? Правда, и товар неплох. Право, так

сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной. Но — лежалый! Девятнадцатого века! Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лабораториях, колбы перетирать. Институт — это тебе не чечевичная похлебка! Я там заложу десять идей, двадцать идей, а если им одна-две снова не понравятся, — что ж, опять поторгуемся! Сила солому ломит, старик! Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя, кроме башки на плечах, никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить...

Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него, разочарованно отскакивал и снова орал, потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок.

— Ну, ладно, — сказал я. — А нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж взгромоздился...

— К Вечеровскому, — сказал он.

Я удивился.

— На кой ляд твоя нобелевка Вечеровскому?

— Не знаю. У него спроси.

— Подожди, — сказал я. — Он что, звонил тебе?

— Нет. Я — ему.

— Ну?

— Что — ну? Что — ну? — Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. — Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю журавля в руках.

— Ну?

— Что — ну? Ну... он тогда и говорит, неси, говорит, все материалы ко мне.

Мы помолчали.

— Не понимаю, зачем ему твои материалы, — сказал я.

— Потому что он — Дон Кихот! — рявкнул Вайнгартен. — Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал! Потому что не хлебнул еще горячего до слез!

Я вдруг понял.

— Слушай, Валька, — сказал я. — Не надо. Да ну его к черту, он же с ума сошел! Они же его в землю вколотят по самую маковку! Зачем это надо?

— А что? — жадно спросил Вайнгартен. — А как?

— Да сожги ты ее к черту, свою ревертазу! Вот давай прямо сейчас и сожжем... в ванне... А?

— Жалко, — сказал Вайнгартен и стал глядеть в сторону. — Сил нет, как жалко... Работа ведь — первый класс. Экстра. Люкс.

Я заткнулся. А его вдруг снова вынесло из кресла, он принялся бегать по комнате, в коридор и обратно, и опять закрутилась его магнитофонная лента. Стыдно — да! Честь страдает — да! Уязвлена гордость, особенно когда об этом никому не говоришь. Но ведь если подумать — гордость есть идиотизм и ничего больше. С души воротит. Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать бы не стали ни секундочки. И про нас они скажут: идиоты! И правильно скажут! Что нам, не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось! И еще тысячу раз придется! И не перед богами — перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять и то срамно...

Тут я разозлился, что он бегает передо мной, потеет и оправдывается, и сказал ему, что отступать — это одно, а он не отступает — он драпает, капитулирует он. Ох, как он взвился! Здорово я его задел. Но мне было нисколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение, это я себя тыкал... В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже, но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любит, когда его недолюбливают.

Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. Первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее. Но ничего этого не происходило, я увлекся, и тут снова позвонили в дверь.

Я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса — страшная такая штука: с одной стороны там этакий шипастый набалдашник, а с другой — топорик. Если что — рубану между глаз, и амба... Я человек мирный, ни ссор, ни драк не люблю, не Вайнгартен, но с меня хватит. Хватит с меня.

Я открыл дверь. Это оказался Захар.

— Здрасьте. Митя, извините, ради бога, — произнес он с какой-то искусственной развязностью.

Я невольно посмотрел вниз. Но там никого больше не оказалось. Захар был один.

— Заходите, заходите, — сказал я. — Очень рад.

— Понимаете, решил заглянуть к вам... — все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом, продолжал он. — Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал... Звоню ему весь день

— нет. А тут вот собрался к Филип... э... Палычу, дай, думаю, загляну, может быть, он у вас...

— Филипп Павлович?

— Да нет, Валентин... Вайнгартен.

— Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, — сказал я.

— Ах так! — с огромной радостью произнес Захар. — Давно?

— Да с час назад...

Лицо у него вдруг на мгновение застыло — он увидел молоток у меня в руке.

— Обед готовите? — произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил: — Ну что ж, не буду вам мешать, пойду... — Он двинулся обратно к двери, но остановился. — Да, я совсем забыл... То есть, не забыл в общем-то, а просто не знаю... Филипп Палыч... Какая у него квартира?

Я сказал.

— Ага, ага... А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я... как-то, знаете ли, забыл... за разговором...

Он еще попятился и открыл дверь.

Понятно, понятно, — сказал я. — А где же ваш мальчик?

— А у меня все кончилось! — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...»

10

20. «...подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уж ей совсем нечего делать, раз уж ей, понимаешь, так неймется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером „Иностранной литературы“, — пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте. Но уж до блеска, чтобы ни одной пылинки.

Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовлетворением. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это

правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг, помнил, что ничего не кончилось, все продолжается и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло.

Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло, что-то совсем уже неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной, прямо на мои бумаги, какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик.

— Что это такое? — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.

— Это лифчик, — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню.

Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню.

Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.

— Не прикасайся ко мне, — произнесла она спокойно и страшно.

— Ирка! — жалобно сказал я. — Иришка! Тебе плохо!

— Животное... — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет.

...„Скорую помощь“? Не поможет, не поможет, причем здесь „скорая помощь“... Валерьянки? Брому? Господи, лицо-то у нее какое... Я схватил стакан и налил воды из-под крана.

— Теперь все понятно... — сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. — И телеграмма эта понятна, и все... Докатились... Кто она?

Я сел и отхлебнул из стакана.

— Кто? — тупо спросил я.

На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить.

— Это надо же, какая благородная скотина, — проговорила она с отвращением. — Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе... Ах, как благородно... У сына в комнате развлекался...

Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука у меня не слушалась. Врача! — металось у меня в голове. Ирка моя, маленькая, врача!

— Ладно, — сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. — Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь — это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось: любовь, честность, дружба... Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали... Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать?

У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял.

— Ирка! — сказал я. — Господи, как ты меня напугала.

Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное милое заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой, что я сам чуть не разревелся. Она хотела только одного: чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением.

И это был последний камушек. Я больше уже не мог. Я больше не захотел держать это при себе. И я обрушил на нее всю лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней.

Не знаю, наверное, в начале мой рассказ звучал, как анекдот. Скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительное замечание, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, и я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью...

Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном — она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену, — и тут оказалось, что за окном — гроза, фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются в темя двенадцатиэтажки, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые шторы, а мы сидели неподвижно, и она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился. Избавился от половины тяжести. Теперь отдыхал, прижав лицо к ее гладкому загорелому колену. Гром грохотал почти

непрерывно, и разговаривать было трудно, да в общем-то мне и не хотелось больше разговаривать.

Потом она сказала:

— Димка. Ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать, как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда. Что бы ты ни решил.

Я крепко прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет, и толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен.

— Ты меня прости, — продолжала она, помолчав, — но в голове у меня это никак не укладывается... Нет, я верю тебе, верю... только как-то уж очень странно все это получается... Может быть, все-таки какое-то другое объяснение поискать... более... ну, что ли... попроще что-нибудь, попонятнее...

— Мы искали, — сказал я.

— Нет, я, наверное, не то говорю... Вечеровский, конечно, прав... Не в том прав, что это... как он говорит... Гомеостатическая Вселенная... он в том прав, что дело-то не в этом. Действительно, какая разница? Если Вселенная, то нужно сдаваться, а если пришельцы, то нужно бороться? В общем, ты меня не слушай. Это я просто так говорю... от обалдения...

Она зябко передернулась. Я приподнялся, втиснулся рядом с ней в кресло и обнял ее. Сейчас мне хотелось только одного — на разные лады повторять, как мне страшно. Как мне страшно за себя, как мне страшно за нее, как мне страшно за нас обоих вместе... Но это, конечно, было бы бессмысленно и даже, наверное, жестоко.

Мне казалось, что, если бы ее не было на свете, я бы точно знал, как мне поступить. Но она была. И я знал, что она гордится мною, всегда гордилась. Я ведь человек довольно скучный и не слишком-то удачливый, однако гордиться можно и мною тоже. Я был когда-то хорошим спортсменом, всегда умел работать, голова у меня варит, и в обсерватории я на хорошем счету, и в дружеских компаниях я на хорошем счету, умею повеселиться, умею острить, спорить умею... И она всем этим гордилась. Пусть немножко, но все-таки гордилась. Я же видел, как она смотрит на меня иногда... Просто не знаю, как бы она в действительности отнеслась к моему превращению в медузу. Наверное, я и любить-то не смогу ее по-настоящему, даже на это не буду способен...

И словно в ответ на мои мысли, она вдруг сказала, оживившись:

— А помнишь, мы с тобой когда-то радовались, что все экзамены теперь позади и ничего сдавать больше не придется до самой смерти? Оказывается, не все. Оказывается, остается еще один.

— Да, — сказал я, а сам подумал: только это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить, или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что двойку.

— Димка, — прошептала она, повернув ко мне лицо. — А ведь, наверное, ты действительно какую-то великую штуку выдумал, если они так за тебя взялись... На самом-то деле тебе гордиться надо... и вообще всем вам... Ведь сама госпожа Вселенная на вас внимание обратила!

— Гм... — сказал я, а сам подумал: Вайнгартену с Губарем гордиться уже вообще нечем, а что касается меня, то это дело под большим вопросом.

И опять-таки, словно подслушав мои мысли, она произнесла:

— И совсем неважно, какое решение ты примешь. Важно, что ты оказался способен на такое открытие... Ты мне хоть расскажешь, о чем там речь? Или это тоже нельзя?

— Не знаю, — сказал я, а сам подумал: что же это она — утешает меня или действительно так думает, или сама, бедняжка, напугана до того, что подталкивает меня на капитуляцию, или просто золотит пилюлю, которую мне — она уже это знает — придется проглотить? Или, может быть, наоборот, толкает меня на драку, дотлевающую гордость мою ворошит...

— Свиньи они, — сказала она тихо. — Только им все равно нас не разлучить. Правда? У них это не получится. Верно, Димка?

— Конечно, — сказал я, а сам подумал: об этом и речь, маленькая. Сейчас — только об этом.

Гроза уходила. Туча, неторопливо свертываясь, уплывала на север, открывая затянутое серой мглой небо, с которого лился уже не ливень, а сыпал мелкий серенький дождик.

— Дождик я привезла, — сказала Ирка. — А я-то думала, мы с тобой в Солнечное закатимся в субботу...

— До субботы еще далеко, — сказал я. — Может, и закатимся.

Все было сказано. Теперь надо было говорить о Солнечном, о книжных полках для Бобки, о стиральной машине, которая опять сдохла. Обо всем этом мы и поговорили. И была иллюзия обычного вечера и, чтобы продлить и усилить эту иллюзию, было решено выпить чайку. Была вскрыта свежая пачка цейлонского, заварочный чайник тщательнейше, по науке, прополоснут горячей водой, на стол водружена торжественно коробка „Пиковой дамы“, и потом мы оба

стояли над чайником и внимательно следили за водой, чтобы не пропустить момент ключевого кипения, и произносились традиционные шутки, и, расставляя чашки и блюдца, я тихонько взял со стола сакраментальный бланк стола заказов, и записочку насчет Лидочки, и паспорт Сергеенко И. Ф., смял их и незаметно сунул в помойное ведро.

И мы прекрасно попили чайку — это был настоящий чай, „чай как напиток“, — разговаривали о чем угодно, кроме самого главного, а я все думал, о чем сейчас думает Ирка, потому что у нее был такой вид, словно она уже успела забыть весь этот ужас, — сказала мне все, что думает по этому поводу, и теперь с облегчением забыла, снова оставив меня один на один с моим выбором.

Потом она сказала, что будет сейчас гладить, и чтобы я при этом сидел рядом и рассказывал ей про что-нибудь веселое. И я стал убирать посуду, и в это время раздался звонок в дверь.

Негромко напевая „Лучше гор могут быть только горы...“ — я направился в прихожую, бросив один только косой взгляд в сторону Ирки (она совершенно спокойно вытирала стол сухой чистой тряпкой). Уже поворачивая замок, я вспомнил о своем молотке, но мне показалось смешным и неловким возвращаться за ним в большую комнату, и я распахнул дверь.

Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: „Телеграмма, прошу расписаться...“. Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихожей, под яркой пятисотсвечовой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.

Телеграмма была от тещи. „ВЫЛЕТАЕМ С БОБКОЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМОЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА“. И ниже была приклеена полоска: „ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК“. Я прочитал телеграмму и перечитал ее, затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору. Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: „Мама с Бобкой приезжают завтра...“ — и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листики, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом: „Д. Малянов. К вопросу о

взаимодействии звезд с диффузионной материей в Галактике.“ Перечитал, подумал и густо зачеркнул „Д. Малянов“. Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал, не глядя: „Я к Вечеровскому. Скоро вернусь“.

По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из-под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили, было сумрачно, и стояла тишина, слышно было только, как плещет вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестели рябые от дождя лужи.

Я никого не встретил на лестнице, только между седьмым и восьмым этажом сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положив рядом с собою серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал:

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич...

Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов.

— Не ходите туда сейчас, — повторил он. — Не надо.

Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держась за поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным — то ли грязью, то ли сажей, смешные очки перекошены, а маленький рот

плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами:

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции.

Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивая пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет.

— Понимаете, — проговорил он наконец, — капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно.

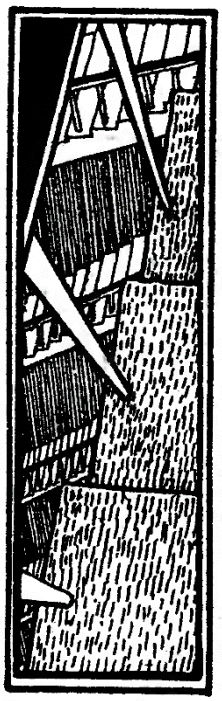
— В нашем веке это тоже случалось, — сказал я. — И не так уж редко.

— Да, конечно, — легко согласился он. — Конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он все хочет остаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится... И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими — перед обществом, перед друзьями... А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло... Может быть, потому что мир стал сложнее? Может быть, потому что теперь, кроме таких понятий, как гордость, честь, существует еще множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения...

Он выжидательно посмотрел на меня, и я пожал плечами и сказал:

— Не знаю. Может быть.

— Я тоже не знаю, — сказал он. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заноет... Конечно, двадцатый век, девятнадцатый век — разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты о них уже и забыл вовсе, а потом переменится погода, они и заноют. Уж так-то всегда было, во все века.



— Я понимаю, — сказал я. — Я все это понимаю. Но ведь есть раны и раны. Иногда чужие раны больнее...

— Ради бога! — прошептал он. — Я ведь совсем не к тому. Я бы никогда не осмелился. Я просто так говорю. Ни в коем случае не подумайте, что я вас отговариваю, что я вам что-то советую... где уж мне... Вы знаете, я все думаю... вот такие, как мы, — что это такое? То ли мы действительно так хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, — атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться.

Я молчал. Он вялым, расслабленным движением нахлобучил свою смешную шляпу и сказал:

— Ну что ж, прощайте, Дмитрий Алексеевич. Мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся, но все равно было очень приятно с вами познакомиться. И чай вы отлично умеете заваривать...

Он покивал мне и стал спускаться по лестнице.

— Вы ведь лифт можете вызвать, — сказал я ему в спину.

Он не обернулся и не ответил. Я стоял и слушал, как он шаркает по ступенькам, спускаясь все ниже и ниже, слушал до тех пор, пока глубоко внизу не заскрипела, распахиваясь дверь. Затем дверь бухнула, и снова стало тихо.

Я поправил папку под мышкой, миновал последнюю площадку и, придерживаясь за перила, одолел последний пролет. У дверей Вечеровского я постоял, прислушиваясь. Кто-то там был. Бубнили голоса. Незнакомые. Наверное, надо было бы вернуться и прийти попозже, но у меня не было сил на это. Надо было кончать. И кончать немедленно.

Я надавил звонок. Голоса продолжали бубнить. Я подождал и снова надавил звонок, и не отпускал кнопки до тех пор, пока не послышались шаги и голос Вечеровского спросил:

— Кто там?

Почему-то я не удивился, хотя Вечеровский сроду открывал дверь всем на свете, ни о чем не спрашивал. Как я. Как все мои знакомые.

— Это я. Открой.

— Подожди, — отозвался он, и на некоторое время наступила тишина.

Теперь уже и голосов не было слышно, только далеко внизу кто-то грохотал люком мусоропровода. Я вспомнил, что Глухов сказал мне — не ходить сюда сейчас. „Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят

отравить“. Откуда это? Что-то страшно знакомое... Ладно, бог с ним. А идти мне больше некуда. И некогда. За дверью снова послышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась.

Я невольно отшатнулся и отступил на шаг. Такого Вечеровского я еще не видел никогда.

— Заходи, — сказал он хрипло и посторонился, давая мне дорогу...»

11

21. «...Ты все-таки принес, — сказал Вечеровский. — Я этого ждал, правда, не так быстро.

— Кто у тебя? — спросил я, понизив голос.

— Никого, — ответил он. — Нас двое. Мы и Вселенная. — Он посмотрел на свои грязные ладони и поморщился. — Извини, я все-таки умоюсь...

Он ушел, а я присел на ручку кресла и огляделся. У комнаты был такой вид, словно здесь взорвался картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стенах. Тоненькие ниточки копоти, плавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными вдавлинами странной округлой формы. И огромная обугленная вдавлина на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось.

Я посмотрел на стол. Стол был завален. Посередине была раскрыта одна из огромных редакторских папок Вайнгартена, а другая лежала сбоку с завязанными тесемками. И еще лежала старомодная, сильно потертая папка с крышкой под мрамор, с ярлыком, на котором было напечатано на машинке: „США — ЯПОНИЯ. Культурное воздействие. Материалы“. И были разбросаны листки, изрисованные какими-то, как я понял, электронными схемами, и на одном было написано корявым старушечьим почерком: „Губарь З. З.“, а ниже — печатными буквами: „Феддинги“. А с краю лежала моя новенькая белая папка. Я взял ее и положил себе на колени.

Вода в ванной перестала шуметь, и немного погодя Вечеровский позвал:

— Дима, иди сюда. Кофе будем пить.

Однако, когда я пришел на кухню, никакого кофе там не было, а стояла посередине стола бутылка коньяка и два бокала уникальной формы. Вечеровский успел не только умыться, но и переодеться.

Изящный пиджак свой с огромной прожженной дырой под нагрудным карманом и кремовые брюки, измазанные копотью, он сменил на мягкий замшевый домашний костюм. Без галстука. Отмытое лицо его было необычайно бледным, отчего четче обычного проступали многочисленные веснушки, прядь мокрых рыжих волос свисала на огромный шишковатый лоб. И было в его лице еще что-то непривычное, кроме этой бледности. И только приглядевшись, я понял, что брови и ресницы у него сильно опалены. Да, Вечеровскому досталось основательно.

— Для успокоения нервов, — сказал он, разливая коньяк. — Прозит!

Это был „Ахтамар“, очень редкий в наших широтах армянский коньяк с легендой. Я отпил глоток и просмаковал. Прекрасный коньяк. Я отпил еще глоток.

— Ты не задаешь вопросов, — сказал Вечеровский, глядя на меня сквозь бокал. — Это, наверное, трудно. Или нет?

— Нет, — сказал я. — У меня нет никаких вопросов. Ни к кому. — Я поставил локоть на свою белую папку. — Ответ — есть. Да и то один единственный... Слушай, ведь они тебя убьют.

Привычно задрав опаленные брови, он отпил из бокала.

— Не думаю. Промахнутся.

— В конце концов попадут.

— А ля гер ком а ля гер, — возразил он и поднялся. — Ну вот. Теперь, когда нервы успокоены, мы можем выпить кофе и все обсудить.

Я смотрел ему в сутулую спину, как он, шевеля лопатками, ловко орудует своими кофейными причиндалами.

— Мне нечего обсуждать, — сказал я. — У меня — Бобка.

И эти мои собственные слова вдруг словно включили во мне что-то. С того момента, как я

прочитал телеграмму, все мысли и чувства были у меня как бы анестезированы, а сейчас вдруг разом разморозились, заработали вовсю — вернулся ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непроходимая черта, у которой я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше, и теперь он пройдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице... А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым — попивать чаек или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на „Запорожец“ и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым... Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило... Конечно, останется у меня Ирка и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться. Потому что я буду тем самым папой, который „тоже тогда-то мог сделать большое открытие, но ради тебя...“. Да будь она проклята, та минута, когда всплыли в моей дурной башке эти проклятые М-полости!

Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала.

— Я собираюсь уехать отсюда, — сказал он. — Из института скорее всего уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период.

— А что ты понимаешь в метеорологии? — спросил я тупо, а сам подумал: от ЭТОГО ты ни на каком Памире не укроешься, тебя и на Памире отыщут.

— Дурацкое дело — не хитрое, — возразил Вечеровский. — Там никакой особой квалификации не требуется.

— Ну и глупо, — сказал я.

— Что именно? — осведомился Вечеровский.

— Глупая затея, — сказал я. Я не глядел на него. — Кому какая будет польза, если ты из большого математика превратишься в обыкновенного дежурного? Думаешь, они тебя там не найдут? Найдут как миленького!

— А что ты предлагаешь? — спросил Вечеровский.

— Выброси все это в мусоропровод, — тяжело ворочая языком, сказал я. — И Вайнгартеновскую ревертазу, и весь этот „культурный обмен“, и это... — Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. — Все выброси и занимайся своим делом!

Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая опаленными ресницами, затем надвинул на глаза остатки бровей — уставился в свою чашечку.

— Ты же уникальный специалист, — сказал я. — Ты же первый в Европе!

Вечеровский молчал.

— У тебя есть твоя работа! — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. — Работай! Работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с ними?

Вечеровский длинно и громко вздохнул, повернулся ко мне боком и уперся спиной и затылком в стену.

— Значит, ты так и не понял... — проговорил он медленно и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное удовлетворение. — Моя работа... — Он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. — За мою работу они меня лупят уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои братишки, котики-песики. Все-таки я умею владеть собой, а?

— Провались ты, — сказал я и поднялся, чтобы уйти.

— Сядь! — сказал он строго, и я сел.

— Налей в кофе коньяк, — сказал он, и я налил.

— Пей, — сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса.

— Пижон, — сказал я. — Есть в тебе что-то от Вайнгартена.

— Есть, — согласился он. — И не только от Вайнгартена. От тебя, от Захара, от Глухова... Больше всего — от Глухова. — Он осторожно налил себе еще кофе. — Больше всего — от Глухова, — повторил он. — Жажда спокойной жизни, жажда безответственности... Станем травой и кустами, станем водой и цветами... Я тебя, вероятно, раздражаю?

— Да, — сказал я.

Он кивнул.

— Это естественно. Но тут ничего не поделаешь. Я хочу все-таки объяснить тебе, что происходит. Ты, кажется, вообразил, что я собираюсь с голыми руками идти против танка. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Воевать против закона природы —

глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Этим я и собираюсь заняться.

— Не понимаю, — сказал я.

— Мы привыкли, что мироздание предельно неантропоморфно. Что нет ничего менее похожего на человека, чем мироздание. И мы не привыкли, чтобы законы природы проявлялись таким странным образом. Природа умеет бить током, сжигать огнем, заваливать камнями, морить чумой. Мироздание проявляет себя полями и силами, полями сил. Мы не привыкли видеть среди орудий природы рыжих карликов и одурманенных красавиц. Когда появляются рыжие карлики, нам сразу начинает казаться, что действуют уже не силы природы, а некий разум, социум, цивилизация. И мы уже готовы усомниться в том, что бог природы коварен, но не злонамерен. И нам уже кажется, что скрытые тайны природы — это сокровища в сейфах банка, оборудованного по последнему слову ворозащитной техники, а не глубоко зарытые тихие клады, как мы думали всегда. И все это только потому, что мы никогда прежде не слыхивали о полях, имеющих своим квантом рыжего карлика в похоронном костюме. А такие поля, оказывается, существуют. Это придется принять и понять. Может быть, в том и причина, что мы, какие мы есть... Мы все искали „достаточно безумную теорию“. Мы ее получили... — Он вздохнул и посмотрел на меня. — То, что происходит с нами, похоже на трагедию. Но это ведь не только трагедия, это — открытие. Это возможность взглянуть на мироздание с совершенно новой точки зрения. Постарайся, пожалуйста, понять это.

До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слыхали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование апокалипсиса, а Архимеда зарубил пьяный солдат... Но это, разумеется, домыслы... Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом — через невыносимое давление. Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни. Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров... Может быть, со временем, мы научимся отводить это давление

в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях... Но сейчас ничего не поделаешь, приходится рисковать — опять же, не в первый и не в последний раз в истории науки. Я хотел бы, чтобы ты это понял: по сути, ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.

— Зачем мне это понимать? — спросил я угрюмо.

— Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом, я еще хотел бы, чтобы ты понял: это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. — Он усмехнулся. — Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе... ну что ж, тебе придется только подождать. Пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привыкнешь к этой идее. Десять лет, двадцать лет — роли не играет.

— Еще как играет, — сказал я, чувствуя на лице своем отвратительную кривую усмешку. — Через десять лет я стану ни на что не годен. А через двадцать лет мне будет на все наплевать.

Он ничего не сказал, пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали. Да, конечно, он хотел мне помочь. Нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он — никакой не герой. Что мы просто два ученых и нам предложена тема, только по объективным обстоятельствам он может сейчас заняться этой темой, а я — нет. Но легче мне не стало. Потому что он уедет на Памир и будет

там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми феддингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов и в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они-таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. И может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток... А может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию, и это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению

ею... А я останусь дома, встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки.

— Угробят они тебя там, — сказал я безнадежно.

— Не обязательно, — сказал он. — И потом, ведь я там буду не один... и не только там... и не только я...

Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения, ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения — одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в том, что все должно быть именно так и только так.

И он ничего не говорил больше, но мне казалось, что он говорит. Торопиться некуда, говорит он. До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться. И еще мне казалось, что он говорит: „Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной речки...“ И раздавалось у меня в мозгу его удовлетворенное уханье, словно уханье уэллсовского марсианина.

И я опустил глаза. Я сидел скорчившись, прижимая к животу обеими руками свою белую папку, повторял про себя — в десятый раз, в двадцатый раз повторял про себя: ...с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы...“»

Отягощённые злом, или Сорок лет спустя

Из десяти девять не знают отличия тьмы от света,
истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства.
Также не знают и пользы своей.

Трифилий, раскольник

Симон же Пётр, имея меч, извлёк его, и ударил
первосвященнического раба, и отсёк ему правое ухо.
Имя рабу было Малх.

Евангелие от Иоанна

История борьбы и гибели Настоящего Учителя становится сюжетным стержнем нового романа. Этот новый и окончательный вариант, мы начинаем писать в конце апреля 1987 года, а последнюю точку в чистовике ставим 18 марта 1988-го.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.

Решение моё само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорившие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле, – сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.

Иное дело – рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения требуют определённых пояснений.

Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчёт-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчёт-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного

юнца, зелёного выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычленить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнёсся к моему замыслу с определённой долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и, более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях, в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.

И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу всё, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для будущей работы.

Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и переписать заново. Многое там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь, конечно же, забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.

Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантасмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я всё это элиминировал беспощадно, ибо считал – и считал совершенно справедливо, – что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Всё-таки книга эта прежде всего о нём и только потом уже – обо мне.

Это о первой рукописи.

Происхождение второй рукописи загадочно – столь же загадочно, как и её содержание. Георгий Анатольевич вручил мне её вскоре после того, как определилась тема моего отчёт-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных

размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.

Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы – общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завёрнутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрёст двумя тонкими чёрными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.

Первое время я думал, что это цифры «ноль» и «три», и только много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки: «...у гностиков ДЕМИУРГ – творческое начало, производящее материю, отягощённую злом». И тогда показалось мне, что «ОЗ» – это, скорее всего, аббревиатура: Отягощение Злом или Отягощённые Злом, – так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что ОЗ – не буквы, а всё-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль-три», а это телефон «Скорой помощи», – и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.) Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведётся повествование. С. К. Манохин – личность вполне историческая, астроном, доктор физматнаук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причём довольно долгое время. Более того, понятие «звёздных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, ещё при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода мне найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения Злом» и сейчас остаётся для меня открытым.

Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург – фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что же касается

удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причём при обстоятельствах трагических и незабываемых.

Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.

Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста – всё это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае – девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.

Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче, – никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.

Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более, чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего, да ещё работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.

Нет, гипотеза эта при всём её кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я ещё ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.

Боюсь, всё дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчёт-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке её происхождения.

Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» помещена мною в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить её на части в примерном соответствии с тем, как сам читал её в то страшное лето (урывками, по ночам).

Игорь К. Мытарин.

ДНЕВНИК. 10 июля (ночь на 11-е)

Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так.

Мы уже попрощались. Иван с Серёжкой пошли своей дорогой, а я – своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьёзно, всё могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серёгой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были таковы. Но что характерно! Фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили своё внимание от них на меня. Дерьмо.

А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово – они представления не имели.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский. У него «неедяки» – всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы-земляне напустили на них блох.) Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый – люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй – философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумёхи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых пропереть с глаз долой куда-нибудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходный канал от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брынзоделом, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим её иметь.

Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедякам» носит характер скорее теоретический. У Серёжки невеста из семьи «неедяков», и Иван на весь город объявляет с упрёком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю друга моего Мишеля. И снова:

«Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»

Смех смехом, а в результате всего этого трёпа у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедяк».

Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г.А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они – большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра – уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи – не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор – считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.) Класс Б. Назовём их «воспитатели». Всю жизнь и всё своё время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отдельны. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г.А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению. Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. А теперь нам остаётся лишь ждать, что из этого получится, говорит он. Очевидно, что получиться может всё, что угодно. Пока известны дети «неедяк-воспитателей» и вполне удачные, и не совсем чтобы очень.

Класс В. «Отшельники». Желающие слиться с природой. Руссо, Торо, всё такое. «Жизнь в лесу». В этих людях нет ничего нового, они всегда были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное, потому что туристическое оборудование сделалось дёшево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.

И, наконец, класс Г. Г – оно и есть Г. (Зачёркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.

Не знаю, куда отнести «дикобразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедяки, полууголовники.

Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловер, который от лени готов ходить под себя, – что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г.А.

Кстати, нынче утром Г.А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует её мне как некую литературу к моему отчёт-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованных страницы. На обложке цифры: ноль-три. А может быть, буквы – О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г.А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придётся. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.

Ну какое отношение к моему отчёт-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью – дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой...»?

Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай изолентой в десять-пятнадцать слоёв. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.

«We must find a way... to make indifferent and lazy young piple sincerely eager and curious – even with chemical stimulants if there is no better way»[1] По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по сути, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «...если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки.

---

[1] «Мы обязаны изыскать способ... превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне заинтересованных и любознательных – даже с помощью химических стимуляторов, если не найдётся лучшего способа»

РУКОПИСЬ «ОЗ» (1–3)

1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью – дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками, – и для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? И зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?

Леса давно были уже разобраны и увезены, и стёкла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, – но всё пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплющенные вёдра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.

Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролётах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильём, и мёртво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надёжно запертыми, да так оно, наверное, к было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождём шляпу.

И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвёртого этажа, и высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать отсвечивали тускло две стреляные гильзы – то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.

Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира – почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь, – трёхкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем, этаже южной торцовой башни.

В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешёвенькими, без претензий обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, всё-таки нуждался в циклёвке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный извёсткой и масляной краской.

В этой комнате разговаривали. Двое.

Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым моросящим небом. Он был огромного роста, и была на нём чёрная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край её свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурке, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось, – не бывает на свете таких бурок! – а о мощных крыльях, скрытых под чёрной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам её материал с чудящимися на нём муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.

А на голове стоящего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудреный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетённой чёрным шнурком.

– Какая тоска! – произнёс он словно бы сквозь стиснутые зубы. – Смотришь – и кажется, что всё здесь переменилось, а ведь на самом деле – всё осталось, как и прежде...

Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрёпанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький грязноватый человечек неопределённого возраста, в сереньком обтёрханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щётки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.

Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белёсые волосёнки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголке вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времён первого нэпа. Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что чёрной глыбой возвышался перед окном.

– Зато как ВЫ изменились, Гончар! – откликнулся он, наконец. – Положительно, вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто...

Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья чёрной хламиды.

– Я говорю не об этом, – сказал он. – Вы не понимаете.

Серый человечек словно бы не слышал его. Он всё листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человека остались целы.

– Вы и не можете понять, – продолжал тот, что стоял у окна. – Всё это время вы торчали здесь, и вам здесь всё примелькалось... Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..

– За семью печатями, – поправил серый человечек рассеянно.

– Да. Конечно. За семью печатями… Вот, полюбуйтесь на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные… Да они же пьяны!

– О, да, здесь это бывает, – произнёс серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое чёрное пространство под косицей. – Последнее время меньше, но всё-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!

Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскалённым жаром.

Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щёк вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривлённого то ли застарелым порезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Ещё хуже был цвет этого измождённого лика – зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.

Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, чёрные, испещрённые по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением – яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина.

– Это не каприз, – произнёс тот, что стоял у окна. – Я и раньше ненавидел пьяных – всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли… Может быть, мне с этого и надо было всё тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно… Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!

– Да им же страшно! – сказал серенький человек с укоризной. – Попытайтесь же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас…

– Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом… Всё это я уже от вас слышал: человек разумный – это не всегда разумный человек… хомо сапиенс – это возможность думать, но не всегда способность думать…

и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую... Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто...

– Надеть, – произнёс серенький человек очень тихо, по стоявший у окна услышал его.

– Что?

– Надо говорить «надеть пальто».

– А я как сказал?

– Вы сказали «одеть».

– А надо?

– А надо – «надеть».

– Не ощущаю разницы, – высокомерно сказал тот, что стоял у окна.

– И тем не менее она существует.

– Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.

– Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.

– И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.

– Здесь никто ничего не делает даром, – намекнул серый человечек с цинической усмешкой. – Ни старики, на молодые. На воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорамусы... Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет всё время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.

– Ну что ж. Никто не заставит его работать даром... Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?

– Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой, почти не пьёт. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела...

– Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!

– Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело – сумеете ли вы её выполнить!

– Даже так?

– Именно так.

– И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?

– А вы по-прежнему полагаете, будто можете всё на свете?

Чёрно-кровавое яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился.

– Укороти свой поганый язык, раб!

Наступила зловещая тишина, и только через несколько долгих секунд неукрощённый серенький человек пробормотал:

– Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.

– Что ещё за вздор, – с отвращением произнёс стоявший у окна. – При чём здесь Агасфер?..

2. Действительно, при чём здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и ещё его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога, – у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятьем бессмертия, причём в сочетании с проклятьем безостановочного бродяжничества. «Встань и иди!»

Так вот, начнём с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишённого женского ухода и пригляда, – в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он, как все нормальные люди (плюс ещё часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведёт глаза: «Встань и иди!»

Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеющего. Негодование моё, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чём, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Суслопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврилыча не пощадил, конечно, уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, – да, по счастью,

оказался он в то время в Москве, в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее своё поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер – в свой, законный, раз и навсегда за мною закреплённый, – и вижу на столе своём чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи...

Впрочем, как часто это случается в жизни, всё оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.

Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно лёгкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал неимоверное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был – и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.

Но при всём при том было в нём кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нём или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, чёрт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка... или манера класть на ночь своё искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд... или другая манера – бормотать что-то неразборчивое в отключённый телефон... но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!

Первое, что удивляло, это – за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подселяют ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию... Да разве в науке здесь дело, – что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, – подселяют серенького страхагента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трёх рублей в год... Загадка эта

была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое, в конце концов, мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?

Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось всё время спросить: при чём тут Агасфер? Что это за Лука такой нашёлся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного всё-таки? Тогда не так жалко, но всё равно непонятно...) Да ведь не станешь спрашивать малознакомого человека, откуда у него такое имя, а на облический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители – они были так давно...» – и тут же перевёл разговор на другую тему.

Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нём и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем не знакомые мне люди останавливали меня на улице (в магазине, на Теренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираний по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идёт речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами, и не раз: загорались, горели и не сгорали...

Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он обычно отвечал мне со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент – это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изощрённость потребна, батенька, одной науки мало, надобно ещё и искусство, а иначе того и гляди перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»

Наукой здесь и не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был

таков, что с первого взгляда не производил какого-нибудь особенного впечатления: очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вёл себя вполне добропорядочно, но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть, когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь ещё (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.

Это о портфеле.

А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдёт», а иногда даже просто «Угу», и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.

По-своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешёвым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдёргивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в неё что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие. Откровенно говоря, всё это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня разбирало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ничего смешного во всём этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно...

Я сижу сейчас на заляпанном извёсткой топчане в пустой комнате, оклеенной дешёвенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо посматриваю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белёсые огни.

Я пишу всё это, потому что не знаю иного способа передать своё знание ещё хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло», пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, поражённой увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.

У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряжёнка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичом или с его вполне жутким партнёром (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом, – мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собственного достоинства, раз уж недостаёт мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никто не удивляется тому ёрническому тону, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала...

3. Приёмная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратных метра. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застеклённые шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Райс Берроуз, я среагировал мгновенно и непроизвольно: «Всё! Это я сопру, и будь что будет!» И каково же было разочарование моё, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнёс сочувственно: «Декорация, Серёжа. Всего лишь декорация». Впрочем, со временем обнаружились у нас в квартире и настоящие книги,

множество книг. Однако всё это были словари да энциклопедии, только словари, справочники, руководства и энциклопедии: «Словарь атеиста», «Техническая энциклопедия», «Медицинский справочник для фельдшеров», «Краткий словарь по эстетике», «Мифологический словарь», «Дипломатический церемониал и протокол», «Справочник по экспертизе филателистических материалов», «Словарь ветров»... Видимо, подразумевалось, что я должен стать эрудитом. И я попытался им стать. Без особого, впрочем, успеха.) Есть в Приёмной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно для посетителей, а другое – непонятно для кого, ибо из самой середины его сидения совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нём.

Кроме этого шипа, есть в Приёмной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так по сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны – то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы. Старцы там как старцы, и Сусанна, в общем-то, как

Сусанна, но почему-то с большим пенисом, изображённым во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масленые глазки старцев, и даже их рдеющие плеши приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.

И великое множество телевизоров. Число их и модели всё время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырёх. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать, странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось, даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и всё-таки он заблевал мне часть Приёмной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришёл выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «Джейвиси» битых полтора часа передавал в чёрно-белом варианте практические уроки, как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки ещё существуют…

Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моём столике – роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филёнке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он разражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжения из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции селянки, да погорячее». Или: «Постельное бельё в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин…». Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всём этом я уже давно не вижу… Что же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, друг на друге две

полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золочёный мегатерий звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него всё же больше, чем от Сусанны.

Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приёмной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов...

Особенная пылища собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приёмной такой, вполне доступный, и в нём полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надёванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдётся смятая пачка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решётчатой садовой скамейки на заду и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну распялку... А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашёл вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года, с двойкой по истории и с двумя тройками – по рисованию и по физкультуре...

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было ещё в Ташлинске) меня остановил на Теренкуре наш шофёр Гриня. Отведя меня в сторону, он...

ДНЕВНИК. 12 июля

...Это примерно в пятнадцати километрах от города.

На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и всё время идёт почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жёсткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра

через два после поворота слева от пороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, рёбер, кости эти белые, как пыль, глазницы чёрные. Впечатляет. Г.А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.

От скотомогильника по спидометру ровно три километра – и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зелёная трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая чёрная вола, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращённый рай.

Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили её на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределённого грязного цвета с потёками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала жёлтая. Неописуемое количество мятых бумажек, обёрток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок, и бутылок. Запахи. Мухи. Множество чёрных выгорелых пятен – кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.

Между кустами натянуты верёвки. На верёвках сушится тряпьё: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники... На других верёвках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопчённые котелки над огнём. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.

Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел – остался сидеть, кто лежал – остался лежать, а прямостоящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.

Павианий вольер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г.А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.

Г.А. достал из багажника кошёлку и направился наискосок через стойбище к самому населённому костру, расположенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г.А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию», – и принялся извлекать из кошёлки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом – крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твёрдую колбасу – и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо...» – и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) чёрным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое – мелкую вермишель – в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь, – какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек – человек, пока он поступками своими не показал обратного», – и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит – прямо на спину Г.А. Я понял, почему Г.А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.

Г.А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г.А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г.А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль», – и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец», – но перца во Флоре не оказалось.

Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае, врачом.) Парни были как парни, девчонки – как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но таких было немного. А в большинстве своём я видел молодые славные лица – никакой патологии, никаких

чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники, и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И всё-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю – обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку...

И ещё – непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился – на другой конец стойбища – и там сел у другого костра. А на его место явился новый – длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне – фляга, на ногах – эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зелёное. Пришёл, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому, не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г.А.

Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстёгнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно – это ихний предводитель. Ну´си. И ни в одном ухе не было у него этих чёртовых музыкальных заглушек, функов, из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребеньки. И он явно знал Г.А. (Есть у меня подозрение, что и Г.А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это всё чистая интуиция. Мойша считает, что я всё это выдумал.) Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизнула ложку и произнесла с удовлетворением:

– Побе´ги – да´сьта.

(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это – по русско-японски – «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот – «дала побеги». Флора!) Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать бетель, пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался зелёный шум. Конечно, я не понимал и половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «щекотно. Червяки по корням

ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.

Потом вдруг поднялся один парень в пёстрых плавках и в полосатой распашоночке, отошёл на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и пока он танцевал, зелёный шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лёг, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побеги-дасьта».

Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь – перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.

Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошёл вчера в городе. Трое гомозяг из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ, поскольку руки у них золотые и всё сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера – Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба – засадили на месяц клозеты мыть задаром на «Тридцатке», на мясокомбинате, за то, что два батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.

Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей? Почему не шесть? Как зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст», – упрекнули его и оставили в покое.

Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди, и не судим будешь», – почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчётливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.

И тут заговорил нуси.

Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.

Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, тле никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения, и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чём не обвиняет. И поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя.

Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберёт у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твоё счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает своё мнение, а ты свободен высказаться о чём угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, лепесток цветка, часть целого.

Он говорил о законах Флоры. Флора знает только спин закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему,

тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Всё, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное – лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит, Флоре, а значит, себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.

Пила сильнее, но прав всегда ствол.

Ты нашёл бумажник? Берегись! Ты в большой опасности.

Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.

Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.

(Г.А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя». – И спросил: «Откуда?»).

В самый разгар проповеди странные звуки привлекли моё внимание. Я вгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволошенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.

Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что всё это видят и Мишка, и Г.А. За фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз всё это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.

«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О´—О-О; первый звук О был подчёркнутый, с ударением и отделён от последующих отчётливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, а через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой».

Вопрос: откуда? Ответ: Джордж Б. Шаллер «Год под знаком гориллы».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (4)

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было ещё в Ташлинске) меня остановил на Теренкуре наш шофёр Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:

– Как там у нас сейчас насчёт субстанции?

– Где это – у нас? – осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.

– Ну, в Ленинграде, в Москве…

– Да как везде, – сказал я, продолжая оставаться в том же настроении.

– Семнадцать тридцать пять. А повезёт – так десять с маленьким.

– Ну да, ну да… – промямлил Гриня неопределённо. – Ну, а если, скажем, она особая?

– «Особая»? … Да её, по-моему, давно уж не выпускают.

– Да нет, я не про эту «особую» тебя… – сказал Гриня нетерпеливо. – Я тебя спрашиваю: особая субстанция – как? Нематериальная, независимая от моего тела!

Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то, Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Всё своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками… Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.

– Да нет, это я так… – проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролёры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у неё за пятёрку дедовскую икону, коей цены нет, и за которую любой музей отдал бы, не глядя, два стольника, самое малое.

Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при том присутствовал надёжный человек.

Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отношения, ещё с начала шестидесятых, когда я был начальником, а он шофёром экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости, Гриня – побольше, я – поменьше, но оба.

И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроём: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я

(Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико – математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).

ГРИНЯ: осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.

ГРИНЯ: предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.

ГРИНЯ (с некоторой тревогой): А это на кой хрен понадобилось?

АГАСФЕР ЛУКИЧ: (не переставая бегать пером): А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова.

ГРИНЯ: с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.

Я: не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».

ГРИНЯ (просматривает свидетельство и ухмыляется): Как раз трёшник. Вот потом и вычтешь…

АГАСФЕР ЛУКИЧ: само собой, само собой. Тут у меня всё учтено. (Достаёт из портфеля и кладёт перед Гриней большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.) ГРИНЯ: изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: приятно улыбается.

Я: не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.

ГРИНЯ: дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Замечания? Дополнения?

ГРИНЯ: Не пойдёт так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо… (читает вслух) «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела…» Не пойдёт. Насчёт субстанции я справки навёл, много неясного… Тем более – «особая».

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Понял вас. Разумно.

ГРИНЯ: Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду…

АГАСФЕР ЛУКИЧ: На девяносто девять лет.

ГРИНЯ: Н-н-н… Ладно. Это ещё туда-сюда… Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти… Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трёшками! Других не приму!

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Момент! (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладёт перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.) ГРИНЯ: подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.

Я: только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трёх рублей; я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.

ГРИНЯ (прочитав, передаёт лист мне): «Ознакомься, Корнеич», – говорит он озабоченно.

Я: ознакомливаюсь, и волосы мои встают дыбом.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19.. года, своё религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трёхрублёвого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моём распоряжении в течение двадцати четырёх часов с момента подписания мною данного акта.

Дата. Подпись.

Я: в полном обалдении принимаюсь читать всё сначала.

ГРИНЯ (скворчит у меня над ухом): Религиозное… это… как его там… религиозное – это одно, не жалко… А субстанция – совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?

АГАСФЕР ЛУКИЧ (ласково вещает где-то на краю моего сознания): Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич.

Я (как всегда, слетевши с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно-мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость): «С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!»

Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведённую пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моём состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладели мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчётливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклонясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскалёнными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гринею) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее, раскалённое, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.

– А не сгорит оно там к ядрене-фене? – опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.

– Не должно, – озабоченно ответствовал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там внутри.

Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.

– Давайте, давайте, мужики, – приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу. – Так ты обещаешь, что под орехом? – спрашивал он Агасфера Лукича. – Или под платаном всё ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые...

Агасфер же Лукич отвечал ему:

– Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае – под платаном...

Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по Теренкуру в кромешной тьме, разноображенной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то, что именно.

Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были тогда мне непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В ник ли дело?

Надо сказать, Агасфер Лукич никогда и не делал особенной тайны из своих трансакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьёзные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне

откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен – просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам – и даже не к эвфемизмам, собственно, а к суконным формулировкам, извлечённым из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, как правило, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?

Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных, – имена своих клиентов Агасфер Лукич старательно скрывал. Иногда я догадывался, о ком идёт речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься целевой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.

Суслопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений – ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора номерного сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчинённых с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению: помощник товарища Суслопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, коему всё равно в ближайшее время грозил срок; и ещё одиннадцать персон по списку.

Самого себя товарищ Суслопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этаким он не встречался даже в Уганде, где поселён он был в отдельный дворец для иностранца. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось ещё и тем обстоятельством, что

сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.

Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гаврилычем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него была сухая левая рука и врождённый вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, всё запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я ещё в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать учёный в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.

Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Ещё какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему своё обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жёсткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчёта – и проиграл.

Мне ещё повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях – совершенно преображённого, но уже невесёлого. От только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами, и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель... Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чём, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла... Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели,

где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убывает. Вполне возможно. И всё-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскалённой топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.

Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я всё придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь по крайней мере быть кратким.

В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит всё-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее – я предсказал, что их должно быть десять-пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из неё главу относительно «звёздных кладбищ», всё равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей учёной степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал», и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл лэттэрз». Гордость фрайера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным учёным. Ладно, господь с ним...

Когда Ганн, Майер и Нисикава, независимо друг от друга, пошли публиковать – кто в «Астрофизикл джорнэл», кто в «Ройял обзерватори бюллэтенз», – что эффект «звёздных кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было ещё полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе ещё ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме, – вот тут я почувствовал себя на сковородке.

Я заново проверил все свои расчёты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место... этакий логический скачочек... К чёрту,

к чёрту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться... Не просчитался, нет, пока ещё никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.) Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку – и будь что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это всё дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно – что занёсся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил... как бишь его... вот уж и фамилии не помню... А ведь вполне может быть, что он в своей работёнке – детской работёнке, зелёной – вполне справедливо меня поддел. Это тогда, сгоряча, я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать...

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обоср...ся». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдётся, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене всё получится по-моему...

Я докатился тогда по состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да – да, нет – нет. Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.

Агасфера Лукича я определил бы как человека широкого, но мелко образованного. Обо всём он знает понемногу, но самое

замечательное в нём – его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление – он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звёздных колобков, а если искали, то, что именно, и нашли ли. Со «звёздными кладбищами» оказалось посложнее, всё-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причём, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств, – он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.

С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять её вот так, за здорово живёшь, при первой же серьёзной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чём не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.

Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выпал мне третий путь.

Едва он заговорил, я даже вздрогнул: мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике с тем, чтобы в обозримом будущем (десять в двенадцатой – десять в тринадцатой степени секунд) мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс тёмной материи и о внеплановом взрыве двух-трёх сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моём Юго-западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временных и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулёзными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял – зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумлённых

наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.

Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идёт зеленоватый дым, – зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.

Действительно, ведь моя гипотеза «звёздных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звёздные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал из его метагалактической распространённости. В конце концов возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если як нет). А все свои расчёты я готов предоставить по первому требованию.

Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться. А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.

Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи ещё не продуты, – пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.

Вот сейчас вспомнилось ни с того, ни с сего. Гриня повадился каждый день разменивать в столовой новёхонькую трёшку и, как стало широко известно, записался в месткоме на «семёрку-жигуля»... Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог

помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы ещё встретимся.

Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном...

ДНЕВНИК. 14 июля

Вчера ничего не записывал, потому что весь день работал в 4-й детской. По-прежнему самое мучительное и невыносимое для меня – ассистировать при операциях. Поэтому вызвался на все шесть и четыре благополучно проассистировал, а перед пятой Борисыч прогнал меня в палаты носить горшки и приходить в себя.

В лицей вернулся в начале десятого без задних ног и сразу завалился. Думал, просплю по утра. Фигушки. В два часа ночи припёрся Милей, распираемый впечатлениями. Он, оказывается, ходил с Пашкой и Иришкой слушать этого пресловутого Вегу Джихангира. Они от него в рептильном восторге. Набрался полный стадион народу. Джихангир ревёт. Синтезаторы ревут. Народ ревёт. Прожектора. Синхролайтинги. Петарды рвутся. И так четыре часа подряд. Потом взвалили себе на плечи своего Джихангира и понесли в гостиницу через весь город.

Ни одной Джихангировой песни Мишель, конечно, не запомнил, но зато на обратном пути университетские студиозусы обучили его своему боевому маршу, который начинается так:

Рехо, рехо, рехо-хо-хо-хо-хо!
Ага-него, ням-ням-ням-ням,
Первички ня-а-ам!
А ну-ка демо! А шервервумба!
А шервервумба, вумба-вумба,
... ... цум-бай-квеле,
... ... тольминдадо,
Цум-бай-квеле, цум-бай-ква...

И так далее. О, эти ташлинские титаны духа! Мишель никак не мог остановиться, я не выдержал и всё-таки заснул. В результате утром проспал.

До обеда прилежно писал отчёт-экзамен.

Доброта и милосердие. Разумеется, понятия эти пересекаются, это ясно. Но есть какое-то различие. Может быть, в отношении к понятию «активность»? Доброта больше милосердия, но милосердие глубже. И милосердие, в отличие от доброты, всегда активно. Литература по этой теме огромна и бесполезна. Если выпарить это море слов, останется чайная ложка соли. Воробьиная погадка. Надо бы спросить Г.А.: почему наиболее интуитивно ясные понятия более всех прочих оболтаны за истёкшие двадцать веков? (ПРИПИСКА 16 июля. Г.А. сказал: потому что интуиция – в подкорке, а понятие – в коре. Непонятно. Надлежит обдумать.) После обеда Г.А. послал меня в библиотеку читать последний выпуск «Логики...» В чём дело? Оказывается, он недоволен, как идут у меня по логике Санька Ёжик и Сева Кривцов. Здрасьте вам! А я-то был уверен всегда, что они у меня идут на десять баллов. Я человек скромный и себя хвалить не терплю, но если у меня что хорошо, то хорошо. Оказывается, нет. Нехорошо у меня. Мы с ним поспорили. Я слово, он два. Ладно. Дошёл в библиотеку, поднял «Логику...» за последний год. Всё-таки Г.А. – бог. Сам он всегда убеждает нас, что главное – не знать, а понимать. Но ведь он-то вдобавок и ЗНАЕТ! Всё знает! И бес, посрамлён бе, плакаси горько.

В «Молодёжных новостях» сообщение про вчерашний концерт Джихангира: «Встреча с новой песней». С подъёмом описывается радость, испытанная городскими любителями синхрозонга, от встречи с популярнейшим и любимейшим Марко да-Вегой. Новые тексты... новая манера... совершенно новое сопровождение... «К сожалению, конец этой волнующей встречи был омрачён хулиганскими выходками наиболее незрелой части слушателей. Кто бы ни был инициатором этих выходок – заезжие „дикобразы“, местные фловеры или просто загулявшие студенты, – прощения и оправдания им быть не может. Мы уверены, что милиция с помощью общественности в ближайшее же время установит и строго накажет распоясавшихся хулиганов».

В «Городских известиях» колонка под названием: «Ночной пандемониум». Никакого праздника синхрозонга на стадионе не было. Был омерзительный шабаш. Четырёхтысячная толпа, состоящая главным образом из так называемых фловеров, устроила отвратительное побоище, сопровождавшееся актами вандализма. Стадиону нанесён значительный ущерб. Изуродовано несколько автомашин. В окрестных постройках не осталось ни одного целого стекла. Несколько десятков искалеченных хулиганов доставлены в больницы. Несколько десятков задержаны. Органы милиции ведут расследование. Газета не раз выступала против приглашений в наш город этих

так называемых «властителей дум». Нынешний ночной пандемониум – лишнее, хотя и печальное, доказательство её правоты.

Иришка с Мигелем утверждают, что ничего подобного не было. Всё было очень громко, но вполне мирно.

Кому верить?

На сон грядущий пошли поболтать с Г.А. Серафима Петровна подала пирог-плетёнку с абрикосовым вареньем. Сначала болтали о том о сём, а потом вдруг выяснилось, что разговор идёт о преступности. (Ни минуты не сомневаюсь, что на эту тему повернул нас Г.А. Но в какой момент? Каким образом? И почему я опять этот поворот прозевал?) Я считаю, что в наше время существует три главных фактора, которые в сочетании делают человека преступником. Во-первых, система воспитания не сумела выявить у него направляющего таланта. Человек оставлен вариться в собственном соку. Во-вторых, он должен быть генетически предрасположен к авантюре: риск порождает в нём положительные эмоции. В-третьих, духовная нищета: духовные запросы подавлены материальными претензиями. Вокруг полно прекрасных вещей: автомобили, птеры, роскошные девочки, жратва, наркотики в конце концов. Зарабатывать всё это невыносимо скучно и тяжко, потому что любимой работы у него нет. Но очень хочется. И он начинает брать то, что по существующему праву ему не принадлежит, рискуя свободой, жизнью, человеческими условиями существования, причём делает это не без удовольствия, а может быть, и с наслаждением, потому что риск у него – в генах.

Конечно, это самая грубая схема, не учитывающая никаких нюансов, да и великого множества разнообразных социальных и личных обстоятельств. Однако основную массу насильственных преступлений такая схема, по-моему, объясняет.

Аскольд: существует ли талант к преступлению? В конце концов разработка и исполнение преступного замысла – это в самом широком смысле слова игра, требующая незаурядных творческих способностей, своеобразных эстетических данных и психологической проницательности.

Возможно, не спорю. Наше дело – устроить так, чтобы ему было интереснее играть в любую другую игру, но не в эту. А если общество не в состоянии предложить ему ничего, кроме как есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей, то немудрёно, что он предпочитает играть в казаки-разбойники и норовит ходить по краю. Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надёжной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если

мы всё равно этого не умеем делать сейчас так же, как тысячу лет назад!

«Пересадить свою доброту в душу ребёнка – это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Г.А. сказал как бы между прочим: закон никогда не наказывает ПРЕСТУПНИКА. Наказанию подвергается всего лишь тварь дрожащая – жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, нисколько не похожая на того наглого, жестокого, безжалостного мерзавца, который творил насилие много дней назад (и готов будет творить насилие впоследствии, если ему приведётся уйти от возмездия). Что же получается? Преступник как бы ненаказуем. Он либо уже не тот, либо ещё не тот, кого следует судить и наказывать... Слава богу, что хоть смертная казнь у нас отменена!

РУКОПИСЬ «ОЗ» (5–9)

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном пальто. Войдя, он снял огромную меховую шапку и, пригладив причёску ладонью, проговорил негромко:

– Колпаков. Мне назначено на семнадцать.

Он отряхнул шапку от мокрого снега, положил её на столик под зеркалом, снял пальто («Благодарю вас, я сам...») и аккуратно, любовно повесил его на распялку.

Мы прошли в Приёмную. Он шагал широко, бесшумно, на каждом шаге слегка подаваясь по-куриному туловищем вперёд, и непрерывно мыл ладони воздухом. В Приёмной он бегло, но цепко огляделся, как бы прицениваясь к обстановке, а когда я предложил ему кресло, он сел с видом человека, готового долго и терпеливо ждать. Если он и волновался, то волнение своё умело скрывал. Он даже ладони перестал умывать.

Я сел на своё место и сказал:

– Можете говорить.

Он снова огляделся, теперь уже с некоторым недоумением, но быстро сориентировался (он, видимо, вообще умел быстро ориентироваться) и заговорил. Я смотрел, как он говорит, и мне почему-то вспомнилось, что Юрий Павлович Герман называл таких людей «красивый, но вьялый». Такой рослый, такой благообразный, такой русый, и широкие плечи, и кровь с молоком, и глаза вполне стальные, а в то же время – какая-то бледная немочь во всём: движения плавно-замедленные, голос тихий, интонации умеренные. Умеренность – его лозунг. Умеренность и аккуратность.

Говорил он в пространство перед собой. (Как, откуда узнал он, что не я его собеседник, а ведь, кроме меня, в Приёмной никого не было!..) Говорил, словно на докладе у начальства, – на память, не сбиваясь, но и не увлекаясь чрезмерно, только время от времени, в особенности, когда шли цифры, поглядывая в шпаргалочку, оказавшуюся незаметно у него в ладони. И хотя не предпосылал он своему докладу никакого названия, после первых же двух-трёх периодов стало ясно, что речь идёт о «Необходимых организационных и кадровых мероприятиях для подготовки и проведения кампании по Страшному суду.

Говорил он по моему секундомеру почти десять минут – восемнадцати секунд не хватило для ровного счёта. Закончив, осторожно положил свою шпаргалочку на полированную поверхность трюмо рядом с пепельницей и смирно свёл пальцы больших белых рук у себя на коленях.

Демиург молчал целую минуту, прежде чем задал первый свой вопрос.

– Надо понимать, Зверь из моря – это лично вы? – спросил он.

Колпаков заметно вздрогнул, но отозвался тотчас же, без малейшего промедления:

– Возражений не имею.

Демиург вдруг очень красиво процитировал – нарочито бархатным, раскатистым голосом профессионального актёра старой школы:

– «Зверь был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва; и пал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть...» Дракон, надо понимать, – это я?

Колпаков позволил себе бледно усмехнуться.

– Не могу согласиться, извините. В данном штатном расписании это уж скорее товарищ Прудков. Агасфер Лукич.

Полная тишина была ему ответом, и усмешка пропала с бледного лица, и оно стало ещё бледнее. Потом Демиург заговорил снова:

– «...И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». У вас губа не дура, Колпаков.

– В некоторых переводах стоит: «сорок два гола», – чуть повысив голос, возразил Колпаков.

– И вы, разумеется, предпочитаете именно эти переводы. Да, губа у вас не дура. И как же вы намерены развязать Третью и последнюю? Конкретно!

– Мне кажется, один случайный запуск… одно случайное неудачное попадание… Мне кажется, этого уже достаточно было бы…

– Во-первых, недостаточно! – загремел Демиург. – Во-вторых, если вы даже сумеете организовать бойню, понимаете ли вы, чем она кончится? Послушайте, вас вообще-то учили, что через шесть месяцев погибнет от девяноста пяти до девяноста восьми процентов всего населения? Вы перед кем, собственно, намерены «гордо и богохульно» говорить на протяжении сорока двух месяцев… я уж не скажу – лет?

На физиономии Колпакова не осталось ни кровинки, однако он и не думал сдаваться.

– Прошу прощения, – произнёс он с напором, – но ведь у меня и намерения такого не было – конкретизировать начало хаоса. Мне казалось всегда, что это как раз – на ваше усмотрение! И железная саранча Аваддона… и конные ангелы-умертвители… и звезда Полынь… Вообще весь комплекс дестабилизирующих мероприятий… Я как раз не беру на себя ответственность за оптимальный выбор…

– Он не берёт на себя ответственность, – грянул Демиург. – Да ведь это же главное, неужели не ясно – оптимальный выбор! Максимум выживания козлищ при минимуме агнцев!

– Позвольте же заметить! – не сдавался Колпаков. – Был бы хаос, а всё остальное я беру на себя, у меня агнцев вообще не останется, ни одного! Что же касается организации хаоса… Согласитесь, это совсем вне моей компетенции!

– Так уж и вне… – произнёс Демиург саркастически. – Вон чего вокруг насочиняли… Кстати, а что такое в вашем понимании агнцы?

И опять не дрогнул Колпаков. И опять он ответил, как по писаному:

– Насколько мне доступно понимание высших целей, это сеятели. Сейте разумное, доброе, вечное. Это про них сказано, как я понимаю.

– Ясно, – произнёс Демиург. – Можете идти. Сергей Корнеевич, проводите.

Я встал. Колпаков всё ещё сидел. Красные пятна разгорались у него на щеках. Он разлепил было губы, но Демиург сейчас же сказал, повысив голос:

– Проводить! Пальто не подавать!

И поднялся бедный Колпаков, и пошёл, понурившись, в прихожую, и снял с распялки роскошный свой чёрный кожан, и принялся слепо проталкивать руки в рукава, и мужественная челюсть его тряслась, а вокруг реял невесть откуда взявшийся Агасфер Лукич с

портфелем наизготовку и говорил как заведённый – ворковал, курлыкал, болботал:

– Не огорчайтесь, батенька, ничего страшного, не вы первый, не вы последний, откуда нам с вами знать, может, оно и к лучшему... Сорок два года всё-таки, – такой труд, такая работа, напряжение адское, ни минуты отдыха, никакой расслабленности... Да господь с ними, с этими глобальными мероприятиями!.. Стоит ли? Не лучше ли подумать прежде всего о себе, что вам лично нужно? Так сказать, персонально... в рамках существующей действительности... не затрагивая никаких основ... Скажем, заведующий отделом, а? Для начала, а?

Они вывалились из квартиры, Агасфер Лукич вёл Колпакова, обнимал его ниже талии и заглядывая ему в лицо снизу вверх, всё ворковал, всё болботал, всё курлыкал. Я слышал, как они медленно спускаются по лестнице. Колпаков, видимо, опомнясь, принялся что-то отвечать высоким обиженным голосом, но слов уже было разобрать невозможно из-за лестничной реверберации.

Я запер дверь, вернулся в Приёмную, поправил сдвинутое кресло, взял с трюмо забытую шпаргалку и попытался было её прочитать, но ничего там не разобрал, кроме каких-то бессмысленных «убл», «опр», «II сзд».

Я прошёл в Комнату и уселся на топчан в ожидании приказаний. Приказаний не было, не было и обычных ворчливых комментариев. Чёрная крылатая глыба у окна была нема и неподвижна, как монумент Отвращения. Потом вернулся Агасфер Лукич, запыхавшийся от подъёма на двенадцатый этаж и очень недовольный. Швырнув портфель в угол, он уселся рядом со мной и сказал:

– Это тот случай, когда я не испытываю никакого удовлетворения. Фактически я его обманул. Не нужны ему те мелочи, дребедень эта, которую я ему всучил... Ему Великое служение нужно! Он создан для служения! Чтобы всех, кто под ним, – в грязь, но и сам уж перед вышестоящим – в пыль... А я ему – дачу в Песках...

Демиург произнёс, не оборачиваясь:

– Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта.

По-моему, это тоже была цитата, но я не сумел вспомнить – откуда и, наверное, поэтому не понял, что он хотел сказать.

6. Разговоры об истории. О новой истории, о новейшей истории и особенно часто – об истории древней. Агасфер Лукич из истории знает всё. Есть у него один-два пробела (например, Центральная

Америка, шестой век, – «тут я несколько поверхностен» ...), но в остальном он совершенно осведомлён, захватывающе многоглаголен и нарочито парадоксален. «Не так всё это было, – любит приговаривать он. – Совсем не так».

Иуда. Да, был среди них такой. Жалкий сопляк, мальчишка, дрисливый гусёнок. Какое предательством! Перестаньте повторять сплетни. Он просто делал то, что ему велели, вот и всё. Он вообще был слабоумный, если хотите знать...

«Не мир принёс я вам, но меч». Не говорилось этого. «Не мир принёс я вами, но меч... ту о мире», – это больше похоже на истину, так сказано быть могло. Да, конечно, по-арамейски подобная игра слогов невозможна. Но ведь по-арамейски и сказано было не так. «Не сытое чрево обещаю я вам, но вечный голод духа». Причём так это звучит в записи человека явно интеллигентного. А на самом деле вряд ли Учитель рискнул бы обращаться с такими словами к толпам голодных, рваных и униженных людей. Это было бы просто бестактно...

Конечно же. Он всё знал заранее. Не предчувствовал, не ясновидел, а просто знал. Он же сам всё это организовал. Вынужден был организовать.

«Осанна». Какая могла быть там «осанна», когда на носу Пасха, и в город понаехало десять тысяч проповедников, и каждый

проповедует своё. Чистый Гайд-парк! Никто никого не слушает, шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног... Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов. Иначе для чего бы Он, по-вашему, решился на крест? Это же был для Него единственный шанс высказаться так, чтобы Его услышали многие! Странный поступок и страшный поступок, не спорю. Но не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста. Хоть из обыкновенного любопытства должны же были они собраться, хотя бы для того, чтобы просто поглазеть, – и Он сказал бы им, как надо жить дальше. Не получилось. Не собралось почти народу, да и потом невозможно это, оказывается, – проповедовать с креста. Потому что больно. Невыносимо больно. Неописуемо.

7. ...Я был в полном отчаянии. Видимо, начиналась уже истерика. Я собою не владел. Не помню, как я оказался на лестничной площадке. В ушах гудело – то ли бешеная кровь накручивала спирали в помрачённом мозгу моём, то ли перекатывалось в лестничных пролётах эхо от удара двери, которую я изо всех сил за собой за хлопнул.

Весь, трясясь, но уже в себе, я спустился на этапе ниже и присел на калорифер. Ледяное железо резало зад, но не было сил стоять, и даже не в силах дело – в голову мне не приходило встать на ноги. Я весь сосредоточился на процессе закуривания. Шарил по карманам, ища мундштук. Долго извлекал сигарету из пачки прыгающими пальцами, сломал две, прежде чем вставил в мундштук третью. Потом принялся ломать спички одну за другой, но закурить в конце концов удалось, и, едва успев сделать первую затяжку, я услышал шаги.

Кто-то поднимался по лестнице, да так быстро, с энергичным напористым ширканьем одежды, мощно, по-спортивному дыша и даже напевая что-то вместе с дыханием, что-то классическое – не то «Рассвет на Москве-реке», не то «Боже, даря храни». И я подумал злобно: это же надо, какой весёлый, энергичный клиент у нас пошёл, наверняка с какой-нибудь особенной гадостью, с гадостью экстракласса, с такой гадостью, чтобы уж всех вокруг затошнило, чтобы женщины плакали, сами стены блевали, и сотня негодяев ревела: «Бей! Бей!» ...

Он увидел меня и остановился пролётом ниже. Фигура моя здесь, на лестнице, застала его врасплох. Теперь ему надлежало немедленно принять респектабельный и, по возможности, внушительный вид, дабы сразу было ясно, что перед вами не шантрапа какая-нибудь, не горлопан из молодёжного клуба, не полоумный прожектёр какой-

нибудь, а человек солидный, личность, со значительным прошлым, с весом, со связями, готовый предложить отдать, пожертвовать идею, которую он глубоко продумал в тиши своего личного кабинета и отшлифовал в диспутах с людьми заслуженными, излюбленными и высокопоставленными.

Белесовато-бесцветная, квадратная физиономия его с остатками юношеского румянца на щеках, как бы присыпанных пудрой, наглые васильковые глаза с пушистыми ресницами педераста мимолётно показались мне знакомыми – где-то я видел этот приторный набор – то ли в рекламном ролике, то ли на плакате... Я не захотел вспоминать. Я слез с калорифера и, зажавши мундштук в углу рта, чувствуя, как немеют у меня от злобы челюсти, пошёл спускаться ему навстречу и вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопываю раскрытой ладонью по перилам.

Он быстро сорвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал её к груди и коротко, по-белогвардейски, дёрнул головой, отчего белобрысые его волосы слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, отсвет глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Парасюхин по прозвищу Сючка, мы вместе кончали десятый класс, а потом он, окончивши всё, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодёжного журнальчика с сомнительной репутацией, расхаживал в чёрной коже (не подозревая, конечно, по серости, что это форма не только эсэсовских самокатчиков, но и американских «голубеньких»), публиковал статейки, в коих тщился реабилитировать Фаддея Булгарина, либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского, а в анкетах в графе «национальность» неизменно писал «великоросс». И известно мне было, что в определённых кругах на него рассчитывают.

– Ты зачем сюда припёрся, скотина? – произнёс я перехваченным голосом, надвигаясь на него.

Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог, и теперь, задним числом, я понимаю, что по определённого момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и ответил:

– Явился по вызову. Моя фамилия Парасюхин, честь имею.

– Сука ты, дрянь поганая, – произнёс я, с наслаждением беря его за манишку.

Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать:

– Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный...

– Какой ещё проект? – просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застилало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мною. Ведь вся эта погань испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы, она же наслаждается и собственными своими унижениями в лапах того, кого считает выше себя.

Парасюхин только пискнул: «Однако же... Позвольте...» – и тут же продолжал:

– Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожающее размножение инородцев... учитывая, что великоросс не составляет уже более абсолютного большинства... На новейшем уровне культуры и технологии... Без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства... Право же... мне немножко дышать... неудобно... Особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа! Никаких «нутциге юде» ...

Я врезал ему левой между глаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке, лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе (совершенно непонятно – зачем, мерзко подумать, что целился я вцепиться зубами ему в нос), левая рука моя висела плетью, она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался, из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались. Но он нашёл в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить:

– Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею... Или Галилею Ледовитую... Район, давно уже требующий решительного освоения... и никому не будут мозолить глаза... Третья мировая уже идёт... сионизм против всего мира...

Я швырнул его по лестнице вниз и бросился слепом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролёт за пролётом, а он всё не понимал, всё пытался оправдаться, лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила, истово выкатывал глаза и визжал своё:

– Язву смешанных браков – калёным железом... Поздно будет... И особенно подчёркиваю, что надвигается время армянского вопроса... Пора — это уже понять... Армян – в Армению!.. Поздно же будет, россы!..

И вдруг на каком-то этаже он меня узнал. Он завизжал, как женщина, и огромным прыжком оторвался от меня на целый пролёт. А у меня уже и сил не было. Я сел на ступеньки и, кажется, заплакал – от боли в руке, от тоски, от безнадёжности.

Он стоял на площадке пролётом ниже, расхлюстанный, весь в чёрных пятнах, судорожно раскорячив руки и оскалив окровавленные зубы, глядел на меня снизу вверх и повторял, не находя слов:

– А ты... А ты... А ты...

И я глядел на него сверху вниз и с отчаянием думал, что вот опять я ничего не могу, даже сейчас, когда всего-то и надо, что раздавить мерзкую поганку, когда, казалось бы, всё в моих руках, только от меня и зависит, и никто мне помешать не успеет, не посмеет мне никто помешать, но – не могу. Слаб, заморочен, скован, сам себя повязал по рукам и ногам взаимоисключающими принципами... «Раздави гадину...» – «Не убий...». «Если враг не сдаётся...» – «Человек человеку – друг...», «Человек по натуре добр...» – «Дурную траву с поля вон...». И ведь подумать только, который месяц уже нахожусь я у источника величайшего могущества, давным-давно смог бы устроить свою судьбу, и не только свою, и не только своих близких – судьбы мира мог бы попытаться устроить! И ведь ничего...

И тут он, Сючка поганая, непотребная, нашёл, наконец, нужные слова и прошипел радостно:

– То-то жена у тебя полупархатая! Прихвостень жидовский...

Я кинулся на него сверху. Убить. Наверное. Я ещё успел увидеть вскинутую руку его, и сразу же, одновременно, – лиловая вспышка, треск выстрела и страшный удар в голову.

Теперь мне кажется, что я тогда нисколько не удивился. Мне и в голову не приходило, что такая тля, как Парасюхин, может быть вооружена. Но когда он выстрелил, это меня нисколько не удивило.

Очнулся я на своём рабочем месте. Раскрытый бювар. Набор шариковых ручек. Календарь. Шестнадцатое ноября. Толстый красный фломастер и тонкий чёрный. Всё было готово к работе.

Клиент, правда, к работе готов ещё не был. Он ворочался в своём кресле, хлюпал носом, болезненно тянул воздух сквозь зубы и промакивал лицо мокрым испачканным платком. Никаких тезисов на столе перед ним не усматривалось – то ли не успел он их ещё вынуть, то ли знал своё дело наизусть.

Голова моя, в особенности с правой стороны, разламывалась от боли, и поднеся осторожную руку к виску, я обнаружил, что обмотан толстым слоем бинта – вокруг всей головы и вокруг шеи.

Голос Демиурга грянул:

– Кстати, откуда у вас пистолет?

Клиент с достоинством продекламировал:

– Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена.

И с шумом потянул в себя кровавые сопли.

Телефон квакнул над моей многострадальной головой. Я снял трубку.

– Я поздравляю вас, Сергей Корнеевич, – сказал Демиург. – Вы получили контузию у меня на службе. Вы должны знать, что это вам зачтётся. Однако в дальнейшем я попрошу вас обходиться без рукоприкладства. Я же ведь – обхожусь!

– Да, – сказал я.

– А теперь распорядитесь, – сказал Демиург, – чтобы клиент приступил. И чтобы покороче.

Я повесил трубку и сказал клиенту:

– Приступайте, пожалуйста. И постарайтесь быть кратким.

8. Рассказывают, что, когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм «Незабываемый 1919-й», атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась всё более напряжённой. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаряя революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: «По этому поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным», – всё было путём, но лицо Вождя, сидевшего по обыкновению в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих всё более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнёс с напором: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так».

Фильм, впрочем, прошёл по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии.

9. Так вот: не так всё это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и…

ДНЕВНИК. 16 июля

Сегодня утром, когда я возвращался из столовой, в большом коридоре на меня с разбегу налетел какой-то юнец, по виду – типичный

куст, – весь в зелёном и пятнистом, босой, и полна голова репьёв. Налетел он да меня с такой силой, что репьи посыпались во все стороны, и стал выпытывать, где ему найти Г.А. Сначала я не хотел его осведомлять, потому что знал, что Г.А. сейчас сидит у себя в кабинете и проверяет наши тест-программы. Но куст шумел, трепыхался, размахивал ветвями и чуть не плакал. Правая щека у него была заметно больше и румянее левой, мне стало его жалко, и я на нём сосредоточился. Ничего не удалось мне разобрать в его потёмках, кроме бурлящего там беспокойства, граничащего с отчаянием, и я отвёл его к Г.А.

Я уже забыл об этом происшествии, как вдруг Г.А. зашёл ко мне и произнёс обычное: «Пойдёмте со мною, Князь» ...

Лицо Г.А. ничего не выражало, кроме обычной благожелательности. Пока мы шли по бульвару, он не уставал раскланиваться со всеми встречными и поперечными и раз даже остановился поболтать с какой-то раскрашенной старухой лет пятидесяти, но я-то чувствовал (даже не сосредоточиваясь), что он озабочен, причём озабочен сильно, гораздо сильнее обычного. И тогда я вспомнил о том кусте и спросил Г.А., чего ему было надо. Г.А. ответил, что я скоро сам всё пойму, и мы вошли в горисполком.

Мы прошли прямо в кабинет к мэру, нас, видимо, ждали, потому что секретарша без лишних слов тут же распахнула перед Г.А. дверь.

Мэр уже шёл нам навстречу по ковровой дорожке, разнообразными жестами выражая радушие. (Мне он сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов». Мы с Г.А. не стали его поправлять.) Мэр тоже был озабочен, и это тоже было видно невооружённым глазом. Они с Г.А. сели лицом друг к другу за стол, а я скромно примостился у стены. Последовавший разговор я конспектировал и привожу его довольно близко к тексту.

Мэр начал было о погоде, но Г.А. его сразу же деликатно прервал – похлопал его ладонью по руке и сказал: «До меня дошли слухи, что готовится некая акция против Флоры. Это правда?»

Мэр сразу же перестал радушно улыбаться, отвёл глаза и стал мямлить в том смысле, что да, есть кое-какие соображения по этому поводу. «Я слышал, что вы намерены их прогнать», – сказал Г.А. Мэр промямлил в том смысле, что прогнать – не прогнать, а формируется такое мнение, что надо бы их попросить – и из самого города, и из-под города, и вообще. «А если они не согласятся?» – спросил Г.А. «Так в этом-то всё и дело!» – сказал мэр с горячностью.

Г.А. спросил, кто это затевает и с чего это вдруг. Мэр сказал, что по поводу этой распроклятой Флоры на него давят со всех сторон уже давно, а теперь, после этого распроклятого концерта на стадионе, все

словно взбеленились. Г.А. сказал, что, по его сведениям, ничего особенного на концерте не произошло. Мэр возразил: как-никак четверо покалечены, стёкол побили тысяч на пять, автобус перевернули, две легковушки помяли – в общем и целом тысяч на пятнадцать.

Г.А.: А при чём здесь Флора?

Мэр: Там было полно фловеров. Все четверо пострадавших – фловеры.

Г.А.: Там же были не только фловеры. Там были студенты, рабочая молодёжь, солдаты. Там были «дикобразы».

Мэр: «Дикобразов» след простыл, а фловеры твои – тут как тут. Всем мозолят глаза и всем жить мешают.

Г.А. осведомился, кому персонально мешают жить фловеры. Выяснилось, что главный противник пригородной Флоры – завгороно Ревекка Самойловна Гинсблит. Она и сама-то рвёт и мечет, а вдобавок её подзуживают и растравливают остервеневшие родители. Флора притягивает ребятишек как магнитом. Бегут из дома, бегут с занятий, бегут из спортлагерей. Жуткие манеры, жуткие моды, жуткие нравы, ничего не читают, даже телевизоры не смотрят. Масса сексуальных проблем, страшные вещи происходят в этой области. И наркотики! Вот что самое страшное!

Далее – милиция. Милиция утверждает, что половина всех хулиганских проступков и три четверти мелких краж в городе, если брать два последних года, – дело рук фловеров. И вообще, Флора ежедневно и ежечасно порождает преступность. Вдобавок на милицию жмут производственники, у которых прогулы и текучесть молодёжных кадров, клубники, комсомол, жилконторы, ветераны, дружинники, кооператоры, итэдэшники. Всё это сидит у мэра на шее уже больше двух лет, а сейчас все словно с цепи сорвались, и он, мэр, боится, что вот-вот дойдёт до насильственных действий, чего он, мэр, не терпит и терпеть не намерен. Он, если хотите знать, и в отставку может подать в такой вот ситуации, благо сессия на носу...

Г.А.: Подавать в отставку ни в коем случае нельзя. И руки заламывать тоже нельзя, в тоске и печени. Ты – мэр, ты обязан контролировать ситуацию. Ты – первый человек города, ты – лицо города. Тебя для этого выбирали. Если ты уступишь этим экстремистам, позор на всю Россию, на весь мир позор.

Мэр: Меня убеждать не надо. Ты их попробуй убеди.

Г.А.: Будь покоен. А я хочу быть спокоен, что не подведёшь ты.

Мэр: Это для тебя они экстремисты, а для меня – ближайшие помощники, мне с ними работать и работать, я без них как без рук. А страшнее всего, если хочешь знать, – родители! С ними не

поговоришь, как с тобой или, скажем, как с Ревеккой. На них логика не действует!

Г.А.: Ревекка тоже не сахар. Для неё, между прочим, Флора – это только предлог. Она гораздо дальше метит.

Мэр: Знаю. В тебя она метит.

Г.А. (демонстративно поглядев в мою сторону): Тихо, тихо, Пётр! Дэван лез анфан!

Мэр снова закатывает речь о том, как ему тяжело. На носу осенняя сессия. Итэдэшники требуют снижения регионального налога. Контракт с грузинами заключили, а проект до сих пор не готов. В ноябре общеевропейская конференция в обсерватории, сам Делонж приедет, а где их селить? Старую гостиницу снесли, а новую и до половины не построили. И так далее. Одним словом – самое время в отставку. Г.А. похлопывает его по руке, смеётся, но по-прежнему озабочен. А вот мэру явно полегчало. Видимо, ему просто некому было тут поплакать в жилетку.

Г.А.: Значит, я на тебя надеюсь.

Мэр: На мэра надейся, но и сам не плошай.

Оба смеются. И тут в кабинет вваливается какой-то деятель с бюваром, Коломенская верста, по всей голове – белоснежная седина, а лицо молодое, острое и красное, как у индейца. Одет безукоризненно. Разит одеколоном на весь дом. Сначала он мне просто даже понравился, тем более что с ходу подключился к беседе, причём на стороне Г.А.

Г.А. при нём и рта не раскрыл, а он высыпал на мэра все те же безотбойные аргументы: лицо города, срам на всю Европу, нечего потакать крикунам и паникёрам. И даже более того, – почтительные, но твёрдые упрёки «господину мэру»: нельзя быть нерешительным, колебания – залог поражения, давно пора стукнуть кулаком по столу и показать, кто именно в городе хозяин.

Из контекста его выступления мне стало ясно, что он у нас в городе главный по культуре. Вся наша городская культурная жизнь, как я понял, лежит на его широких плечах и им одним вдохновляется – конечно, при поддержке «господина мэра» и вопреки яростному сопротивлению крикунов и паникёров. (Сам себя не похвалишь, то кто же?) Оказывается, и концерт Джихангира на нашем стадионе – это тоже его личная заслуга. Именно он, вопреки крикунам и паникёрам, переманил к нам Джихангира из-под самого носа у Оренбурга, и вот теперь вся Европа пишет про нас, а не про них.

Мэру всё это нравилось, он бодрел прямо на глазах, и вдруг Г.А. ни с того ни с сего сказал – причём голосом неприятным и даже

сварливым: «Пётр Викторович, я рассчитывал говорить с вами с глазу на глаз. Если вы заняты, я могу зайти позже». Возникла очень неловкая пауза, у мэра челюсть отвалилась, а наш культуртрегер так просто почернел. Впрочем, он быстро оправился, заулыбался и, извинившись, сказал как ни в чём не бывало, что забежал, собственно, только на минутку – подписать вот эту смету. Мэр, не читая, подмахнул, и культуртрегер, вновь извинившись, удалился. После этого произошёл следующий разговор.

Мэр: Ну, брат Георгий Анатольевич, ты меня удивил! Единственный человек в городе тебя поддержал, и ты его – как врага!

Г.А. (тоном нравоучительным до нарочитости): А мне, Пётр Викторович, чья попало поддержка не нужна. Я, Пётр Викторович, человек разборчивый.

Мэр: А я, значит, неразборчивый. Спасибо тебе. Однако моё мнение: кто за доброе дело, тот и есть мой союзник. Нравится он мне или не нравится, симпатичен мне или антипатичен.

Г.А.: За доброе дело не всегда выступают из добрых намерений. Представь себе, например, что наш военторг затоварен десантными комбинезонами бэ/у. Кто главный потребитель этого тряпья? Фловеры. И кто будет тогда главным защитником Флоры? Заведующий военторгом.

Мэр (с огромным подозрением): Ты на что это намекаешь?

Г.А.: Я пока ни на что не намекаю. Вокруг доброго дела всегда толкутся разные люди – и добрые, и недобрые, и полные подонки. Флора – рте рынок сбыта наркотиков. Удар по Флоре – удар по наркомафии. Помяни моё слово, если завтра в городе начнётся дискуссия, завтра же газеты обвинят меня в том, что я – главный мафиози. А ты – мой сподвижник!

Мэр (ошарашенно): Йокалэмэнэ! Об этом я не подумал.

Г.А.: Вот и подумай. И будь готов: драка предстоит почище, чем на выборах.

Когда мы вышли от мэра, Г.А. спросил, что я думаю по этому поводу. Не очень-то приятно объявлять своему учителю, что ты с ним не согласен, но истина дороже, и я честно ответил: Флора мне активно не нравится, я считаю её источником всякой скверны, текущей в город, так что выходит, мои симпатии на стороне противников Г.А. Другое дело, что я тоже не хочу и против насильственных действий. Язвы надо лечить, а не вырубать из тела топором. Так что в этом отношении я на стороне Г.А.

Г.А. помолчал, а потом спросил, что я думаю по поводу свободы образа жизни. Я ответил, что эта свобода, конечно же, должна быть

полной, но при условии, что избранный образ жизни никому не мешает. «Так что в этом отношении ты на стороне Флоры?» – сказал Г.А. довольно ядовито. Я растерялся, но не больше, чем на полминуты. Я возразил, что никогда не утверждал, будто Флора во всём не права. У Флоры, конечно же, есть свои плюсы, иначе она не привлекала бы к себе так много людей.

По-моему, Г.А. понравилось моё рассуждение, но разговор на этом кончился, потому что мы пришли в гороно и оказались перед секретарем заведующей. Секретарша удалилась в кабинет Ревекки, и её довольно долго не было, так что мы стояли без толку и разглядывали прошлогоднюю выставку детского рисунка, развешанную по стенам. Мне понравилась акварелька под названием «Любимый учитель». Был изображён Г.А. – почему-то за обеденным столом. В одной руке у него был огромный кусок торта, в другой – огромный уполовник с вареньем, и ещё огромная банка с вареньем стояла на столе перед ним. Видимо, парнишка собрал на картинке все свои предметы любви.

Потом мы предстали.

Ревекка Самойловна поздоровалась с Г.А. и сразу же спросила: «А что это за юноша?» Г.А. сказал: «Это мой выпускник, ему было бы полезно послушать, ты не возражаешь?» Ревекка явно хотела сначала возразить, но потом почему-то раздумала. Она протянула мне руку, и мы познакомились. Я сел в уголок и стал смотреть и слушать.

Она немолодая, но сногсшибательно красивая. У меня из-за этого мысли были вначале несколько набекрень. И мне понадобилось очень основательно осознать, до какой степени она враг Г.А., чтобы я перестал видеть в ней женщину. (Вообще-то они с Г.А. знакомы с незапамятных времён. Они вместе учились в Ташлинском педтехникуме, а потом в Оренбургском педвузе. Он на три года её старше. Кажется, отцы их тоже росли вместе и даже вместе воевали где-то. В Афганистане, наверное. Поразительно красивая женщина. А какова же она была тридцать лет назад?) Г.А. перешёл прямо к делу. Он сказал, что пришёл самым покорнейшим образом просить её смягчить свою позицию по отношению к Флоре. Он называл её Ривой и смотрел на неё почти умоляюще.

Она холодно возразила в том смысле, что обо всём об этом у них с ним уже сто раз говорено и переговорено и что ждать от неё смягчения позиции просто нелепо. Или Флора, может быть, перестала быть источником нравственной проказы? Или, может быть, Г.А. придумал новые аргументы, способные успокоить обезумевших от беспокойства родителей? Или Г.А. изобрёл способ отвлекать неустойчивых

школьников от низких соблазнов Флоры? Может быть, лучи изобрёл какие-нибудь? Или микстуру? Впрочем, называла она его Жорой и была скорее иронична, чем неприязненна.

Г.А. иронии не принял. «Ты хорошо представила себе, как это будет? – спросил он. – Этих мальчишек и девчонок будут волочить за ноги и за что попало и швырять в грузовики, их будут избивать, они будут в крови. Потом их перешвыряют на платформы, как дрова, и куда-то повезут. Тебе это ничего не напоминает?»

Она несколько побледнела и построжела, но тут же возразила, что Г.А. сгущает краски, все эти ужасы вовсе не обязательны, всё будет проделано вполне корректно и в рамках человечности.

Г.А. сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что никакой корректности при выполнении подобных акций быть не может. Наши дружинники и наша милиция – это всего-навсего обыкновенные горожане, точно такие же обезумевшие от беспокойства родители, родственники и просто ненавистники Флоры. При малейшем сопротивлении они сорвутся и начнут карать. Потом они опомнятся, им сделается непереносимо стыдно, и чтобы спасти свою совесть от этого стыда, они дружно примутся оправдывать себя друг перед другом и в конце концов эту самую позорную страницу своей жизни они представят себе как самую героическую и, значит, изувечат свою психику на всю оставшуюся жизнь».

Она нервно закурила, ломая спички, и снова сказала, что Г.А. сгущает краски, что она и сама, разумеется, не видит ничего хорошего в этой акции, но вовсе не намерена рассматривать её как некую преступную трагедию. Главное – всё тщательно и чётко организовать. Разумеется, всем участникам будет внушено, что они действуют во имя добра и должны действовать только добром...

Г.А. не дал ей договорить. «Держу пари, – сказал он с напором, – что сама ты не осмелишься присутствовать на этой акции. Ты всё тщательно и чётко организуешь, ты произнесёшь нужные речи и дашь самые правильные напутствия. Но сама ты останешься здесь, за этим вот столом, – заткнув уши и закрыв глаза, будешь сидеть и мучительно ждать, пока тебе доложат, что всё окончилось более или менее благополучно».

Еле сдерживаясь, она объявила, что не желает больше слушать этого карканья. Она совершенно убеждена, что никаких ужасов не произойдёт.

Г.А. сказал печально: «Ты наговариваешь из себя. Я ведь вижу, ни в чём ты не убеждена. Ни в какие магические свойства инструкций и напутствий ты не веришь. Ты же умница, ты же знаешь людей. И,

конечно, ты своевременно позаботишься о том, чтобы все больницы города были приведены в полную готовность, ты и соседние медсанбаты задействуешь, и в тылах твоей армии двинутся на Флору десять, двадцать, тридцать карет „Скорой помощи“... Само решение твоё организовать эту акцию уже проделало дырку в твоей совести. Сейчас ты эту дырку начала латать и будешь латать её дальше...»

И тут она сорвалась. «Прекрати демагогию! – почти закричала она. – Перестань выкручивать мне руки! И не воображай, пожалуйста, будто я стану разводить антимонии вокруг моей дырявой совести, когда речь идёт о судьбе детей, которых ежедневно отравляет эта зараза...»

Тут вот, совершенно не вовремя, у меня опять схватило живот, да так, что глаза на лоб полезли, и я почти перестал слышать что-либо, просто стало ни по чего, (Возрастное это у меня, соматическое или психическое – когда схватывает, разницы никакой. Главное, что не вскочишь, не побежишь вон, да и не знал я, где у них там заведение.) Я сидел, обхвативши свой несчастный живот, и молился только об одном, чтобы лицо моё ничего не выражало. Вспоминалось: харакири; рак желудка; лисёнок, пожирающий внутренности юного спартанца. И сейчас я просто горжусь, что, несмотря на моё несчастье, я всё-таки кое-что услышал, запомнил и даже записал. Правда, только то, что говорил Г.А. От Ревекки остался в памяти один лишь резкий, почти истерический голос, от которого боли мои заметно усиливались, словно попадая в резонанс. А вот Г.А., чем больше она на него кричала, говорил всё тише и печальнее.

Человечность едина. Её нельзя разложить по коробочкам. А человечность, которую вы все исповедуете, состоит из одних принципов, вся расставлена по полочкам, там у вас и человечности-то не осталось – сплошной катехизис. Твой ученик лучше сожжёт свои старые ботинки, чем отдаст их босому фловеру. И будет считать себя человечным в самом высоком смысле: «Пойди и заработай», – скажет он.

(Сейчас я вспомнил: на прошлой неделе какой-то скот подкинул Флоре ящик тухлых консервов. Я, пожалуй, берусь логически обосновать позицию, с которой это деяние выглядит высокочеловечным. Тезис первый: человечность должна быть с кулаками... И так далее.) Человечность выше всех ваших принципов, сказал Г.А. Человечность выше всех и любых принципов. Даже тех принципов, которые порождены самой человечностью.

Потом обнаружилось, что они почему-то говорят уже о лицеях. Оказывается, существуют две крайние точки зрения. Одни считают, что лицеи надобно упразднить как заведения элитарные и

противоречащие демократии, а другие – что сеть лицеев, наоборот, надлежит всемерно расширять и открывать по стране не три лицея в год, как сейчас, а тридцать три. Или триста тридцать три. Замечательно, что и в том, и в другом случае самой идее лицея как школы, в которой учат будущих учителей, самым благополучным образом наступает окончательный конец.

Не знаю, заметил ли Г.А. моё состояние, или исчерпалась необходимость в дальнейшем продолжении беседы, но он вдруг (мне показалось – ни с того ни с сего) поднялся и произнёс:

– Что, Рива, дорогая моя, мерзко тебе чувствовать себя госпожой Макиавелли?

И произнёс он это таким странным голосом, что у меня разом прошли все мои боли, и я полностью очухался, – весь мокрый от пота, но в остальном, как огурчик.

Ревекка вдруг покрылась красными пятнами, сделалась совсем старой и некрасивой и объявила с вызовом:

– Понятия не имею, что ты имеешь в виду.

Что и было явным враньём. Прекрасно она понимала, что Г.А. имеет в виду. В отличие от меня.

И тогда Г.А. сказал совсем уже тихо:

– Приговор мне и моему делу читаю я на лице твоём.

И мы ушли. Вежливо попрощавшись.

(Мы свернули по коридору направо и очень скоро оказались перед дверью в сортир. Вопрос на засыпку: зашли мы туда потому, что это понадобилось Г.А. или потому, что он таким образом пал мне деликатно возможность воспользоваться? И тогда, спрашивается, что правильнее: проявить такую деликатность, но зато заставить потом младшего ломать голову, нет ли в этой деликатности некоего унижающего манипулирования его, младшего, самодостаточностью; или прямо сказать ему: сортир направо, я подожду здесь, – что, безусловно, на минутку покажется ему, младшему, неприятно бестактным, но зато не оставит по себе никаких обременяющих сомнений и рефлексий. Не знаю. Я не знаю даже, важно ли это и стоит ли об этом думать. Сам Г.А. наверняка о таких пустяках не думает и в подобных ситуациях действует совершенно рефлекторно. Но, с другой стороны, тот же Г.А. утверждает, что в отношениях между людьми пустяков не бывает.) На лестнице Г.А. процитировал: «Шли головотяпы домой и воздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел... Откуда?». Вместо ответа я продолжил: «Не шуми, мати, зелёная дубравушка...». Однако обычного удовольствия от обмена такого рода репликами мы не испытали. Во всяком случае, я. А когда мы вышли на улицу, Г.А. вдруг остановился

и, посмотрев на меня и сквозь меня, произнёс задумчиво: «Когда доброму гражданину цивилизованной страны больше некуда обратиться, он обращается в милицию». И мы направились в гормилицию. Три автобусные остановки. Довольно жарко. Тени нет.

У входа в «Снегурочку» нас словно поджидал некий очень молодой гражданин, который пристроился к Г.А. и сказал ему негромко, глядя прямо перед собой: «Они уже автобусы готовят». Я узнал его, это был давешний куст, но уже без репьёв в голове, умытый и облачённый в цивильное, как все добрые граждане.

Г.А. ничего ему не ответил, только кивнул в знак того, что услышал и принял к сведению. Юнец тут же отстал, а Г.А. почему-то пошёл медленнее, без всякой целеустремлённости, а как бы фланируя, и даже руки заложил за спину. Так и профланировали мы по самого подъезда гормилиции. Г.А. молчал, а я – тем более. Перед подъездом он вдруг как-то прочно остановился. «Нет, – сказал он мне, – к этому разговору я ещё не готов. Пойдёмте-ка домой, ваша светлость».

Перечитал записи последних дней насквозь. Мне не нравится:

1. Что Г.А. так активно вступился за Флору. Милосердие милосердием, но, по сути дела, речь идёт о выборе между благополучием всё-таки подонков и социальным здоровьем моего города.

2. Что Г.А. явно останется в одиночестве. Если ухе мне не хочется его поддерживать, то что же тогда говорить, например, о Ване Дроздове и о Серёжке Сенько?

3. И мне не нравится то, что я сейчас написал. Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая хуже. Это азы. Я отдаю предпочтение одним за счёт других. Это великий грех. Я опять запутался.

Муторно. Поужинаю – и сразу спать.

ДНЕВНИК. 17 июля. 5 часов утра

События развиваются странно.

Около полуночи Г.А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. (Я проспал часа три, а Михей вообще только глаза завёл.) Мы оделись и сели в машину – Г.А. за руль, мы сзади.

Сначала я подумал было, что Г.А. решился наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню, но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки неподалёку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г.А. велел Мишелю

сесть за руль и ждать, а сам удалился – пересёк сквер и нырнул в пятый подъезд.

«Как интере-е-есно», – фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г.А. Я ответил, что да, заметил, и в свою очередь спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г.А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.

Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись появился Г.А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г.А. Лет ему было порядком за двадцать, на нём был немолодой варсовый костюмчик, – вернее сказать, только штаны были на нём, а курточку он всё никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.

Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г.А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г.А., не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г.А. сел рядом с ним, а я вперёд – рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г.А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет», – и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.

Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г.А. командовал: направо, налево, – а хомбре только один раз попал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич...» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.

Г.А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.

«Как интере-е-есно», – повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс ещё какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и

осталась валяться на заднем сиденье.) Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещённой могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г.А. Другая рука Г.А. болталась как неживая, а лицо его было в чёрной, лаково блестящей крови.

Мы кинулись, и Г.А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои...» А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами – чтобы духу вашего не было!..» И снова нам, всё так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче... Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб...»

Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая – кто посмел? И вторая – почему бока у Г.А. твёрдые, как дерево?

Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г.А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нём дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г.А. облачён в старинный, времён афганской войны бронежилет.

Выяснилось, что у Г.А. страшенный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился – всё внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких.

На протяжении всех процедур Г.А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, на, зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтёт, а потом решил: а почему, собственно?) Дело наше уже

подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г.А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресёк. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете, Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г.А., будет как новенький.

А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жёстко и повелительно:

– Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ и просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра!

Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что всё это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г.А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что ещё там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.

Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурбулки отскакивают.

Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнёс мечтательно:

– А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?

Что я ему мог сказать?

17 июля. Вечер

Около полудня Г.А. взял меня с собой в гормилицию.

Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь – терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.

Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть непохож на начальника гормилиции. Он широкий, рыжий, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том о сём. Битых полчаса они с Г.А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также – с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г.А. перешёл к делу.

Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайла

Тарасович, лично? Что правильнее: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?

Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора – это настоящая куча дерьма. Чем меньше её трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.

Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодёжная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны – массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли, – волеизъявление большинства, причём подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны – меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более – носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать её уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, – и всё это одновременно.

Г.А. Признаёт, что да, трудные настали времена для милиции.

М.Т. (мечтательно заведя глаза): Вот, помню, когда я ещё был курсантом… (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты – и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам. – Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».) Г.А.: А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?

М.Т.: Чьё указание? Петра Викторовича, что ли?

Г.А.: Хотя бы... Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.

М.Т.: Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, всё понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за неё так хлоп счёте?

Услышав это, Г.А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно):

– Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чём не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?

М.Т. (крайне возмущён): То есть как это – несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаём мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями... Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошёл бы и был бы в своём праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него ещё было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.) Г.А. (пытается втолковать): Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот непохож на наш и не может быть похож, потому что создаётся вопреки нашему, наоборот – от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всём виним, а винить-то надо нам самих себя.

Для М.Т. всё это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, всё философия, – говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!). – Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. „Действуй по обстановке“, – вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из „пятьсот весёлого“ Оренбург-Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше... Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут,

Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы всё-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не пойдёт. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».

Г.А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г.А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете, и чтобы взял я ему там бульон с пирожками – пусть остынет.

Всё получилось очень мило, и всё-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Всё понимаю, и напрасно Г.А. потом приносит мне свои извинения. И всё равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.

Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайла Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».

Г.А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришёл, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принёс мне свои извинения. Причём, к изумлению моему, счёл даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер...

Когда мы вернулись домой, в приёмной дожидался Г.А. какой-то человек. Я пишу сейчас о нём по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.

Они с Г.А. скрылись в кабинете, а я всё никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры – приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое жёлтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей прямиком из какой-то древней кинокомедии. Ещё чёрно-белой. Ещё немой, с тапёром... Весь как есть, даже не переодевшись.

После ужина я спросил Г.А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г.А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» – спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея», произнёс Г.А., и разговор наш на этом закончился.

В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (10–14)

...Не так всё это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился не он один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).

Название рыбацкого посёлка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам посёлок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было ещё девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.

Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники.

Время было смутное – время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодёжь того времени, Боанергес не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рисково, отпето – играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырьё, из которого опытная рука могла вылепить всё, что угодно, – от фанатичных убийц до фанатичных мучеников.

Однако, когда встал на их пути Иоанн Креститель, дороги братьев Боанергес разошлись. Выслушав первую лекцию знаменитого

проповедника, Иаков сплюнул в пыль жвачку, затянул потуже пояс с римским мечом и негромко спросил: «Ну, что? Пошли к бабам?» Но Иоанн не пошёл к бабам. Он остался. Парадоксальная идея любви к людям и всеобщего братства странным образом захватила его.

«Не будь занудой! – говорили ему. – Брось ты своего старого п..., и пойдём выпьем эфесского!» «Сами вы п... – ответствовал он. – В одном пуке моего п... в сто раз больше толку, чем во всём вашем болботанье». «Но ведь это учение совершенно бессмысленно! – втолковывали ему. – Как ты можешь верить в подобную чушь? „Потому и верую я, что это бессмысленно“, – отвечал он, на много лет предваряя достославного Квинта Септимия Тертуллиана – епископа Иберийского. „Но ты же должен понимать, что это учение противоречит здравому смыслу!“ – внушали ему. „Киш мири ин тухес со своим здравым смыслом, – огрызался он, – унд зай гезунд!“ (по-арамейски, разумеется, это звучало иначе, но смысл был тот же: поцелуйте меня в задницу со своим здравым смыслом и будьте здоровы).

А потом появился Назаретянин (тот, которого тогда и потом все называли Назаретянином), и Иоанн отдался ему всей душой. Он стал учеником его, и телохранителем, и снабженцем, когда это требовалось, – иначе говоря, он стал апостолом его, одним из двенадцати и одним из двух любимых. Вторым любимым был Пётр.

В традиции Пётр представляет экзотерическую, всенародную сторону христианства – исповедание веры, данное всем и каждому. Иоанн же – эзотерическую сторону, то есть мистический опыт, открытый лишь избранным, немногим. Поэтому церковь всегда стремилась дополнить начало Петра началом Иоанна, а еретики – гностики второго века, катары одиннадцатого-тринадцатого веков – всячески противопоставляли Иоанна Петру. Всё это домыслы, и всё это совершенно неважно. Главное и единственное зерно истины здесь – противопоставление.

Они на самом деле не любили друг друга. Иоанн не любил Петра, потому что не верил ему (как показали события – справедливо). Пётр же попросту ревновал, он никак не мог понять, почему Учитель ставит на одну доску с ним, смирённым, просветлённым и безгрешным Петром, этого буйного, злоязычного, не расстающегося с оружием греховодника.

Пётр был солиден и степенен. Иоанн был дерзок и резок.

Пётр был велеречив и многоглаголен. Иоанн был зубоскал и ругатель.

С Петром Учителю было легко. С Иоанном ему было надёжно.

Именно Иоанн возлежал на груди Учителя во время той последней трапезы, и это вовсе не было проявлением сентиментальности – просто помстилось ему вдруг, что вот-вот тоненько взвякнет в кустах за окном тетива и стрела вонзится в сердце любимого человека. И он заслонил собою это сердце и, слушая биение его, вдруг с ужасом ощутил, как страшное знание предстоящей муки, переливается в него, Иоанна, страшным, мучительным предчувствием, обессиливающим и не оставляющим надежды.

И именно он, Иоанн, единственный из всех, встал с мечом в руке у входа и рубился со стражниками, не отступая ни на шаг, весь окровавленный, с отрубленным ухом, оскальзываясь в крови, хлещущей из него и из поверженных врагов, пока Учитель, сорвав голос, не подбежал к нему сзади и не вырвал у него меч. Тогда он голыми руками проложил себе дорогу к свободе и бежал, не желая видеть, что будет дальше, потому что он уже знал, что будет дальше.

Он должен был умереть этой же ночью, попросту истечь кровью, но добрые люди подобрали его в придорожной канаве, и каким-то чудом он сумел выжить. Слово «чудо» употребляется здесь не как фигура речи, он совершенно уверен, что спасло его именно чудо, мистическое вмешательство, – первое мистическое вмешательство в его жизнь. (С именем Иоанна традиция всегда связывала мистические мотивы. Византийские авторы прилагали ему слово «мист», церковно же славянские – «таинник».) Через два месяца после гибели Назаретянина, когда Иоанн кое-как, на карачках, впервые выполз на солнышко погреться, его нашёл Иаков Старший. «Всё, – сказал матёрый разбойник. – Хватит дурью маяться. Пошли, там у меня повозка». С этого момента и на некоторое время Иоанн перестал быть христианином. Наверное, его следовало бы назвать отступником. На самом деле никакого отступничества в строгом смысле этого слова не было. Просто от горя и отчаяния он потерял какую бы то ни было перспективу и пустился во все тяжкие.

Несколько лет спустя, когда Боанергес, наслаждаясь заслуженным отдыхом, прогуливали хабар в компании шлюх и подельщиков в одном из притонов на окраине Александрии, Иаков вдруг толкнул брата в бок:

– Гляди, кто пожаловал, – сказал он.

Иоанн поглядел и увидел длинного и сухого, как жердь, нищеброда, который, стоя у порога, торопливо и жадно поедал неаппетитную снедь, извлекая её грязными пальцами из щербатой глиняной миски.

– Да это же тот самый Агасфер! – сказал Иаков. – Ботадеус, «Ударивший бога»!

– Не знаю такого, – отозвался Иоанн, – да и знать не хочу. По-моему, это его бог ударил, а не наоборот.

И тут Иаков с шаром пересказал ему, что произошло в день казни между Учителем и Агасфером на пороге к Голгофе, в то время как раз, когда Иоанн подыхал от потери крови у добрых людей.

Иоанн внимательно выслушал всю историю до конца. Он вдруг испытал огромное облегчение. Оказывается, он ничего не забыл. Оказывается, все эти голы он мучался мыслью, что Иуда сумел уйти от возмездия. Каифа тоже давно откинул копыта. Пилат недосягаем. И есть ещё тысячи. Они не убивали Его. Они всего-навсего оскорбляли его. Их тысячи, и они безымянны. Но вот наконец появился некто с именем. Длинный, тощий, унылый, пожирающий отбросы. Ударивший бога.

– Этот человек должен быть строго наказан, – сказал Иоанн громко.

Он не знал, что этот человек уже наказан достаточно строго – так строго, как неспособны наказывать смертные. И, уж, конечно, ему в голову не могло прийти, что, наказывая этого унылого дерьмоеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил, – из живых и из мёртвых.

Никто не обратил внимания на его слова, а он спихнул с колен разомлевшую эллинку, легко поднялся, подошёл вплотную к нищеброду и тем самым длинным ножом, которым только что кромсал баранью лопатку, ткнул под щербатую миску – снизу вверх, по самую рукоятку.

Exit Агасфер, он же Эспера-Диос, он же Ботадеус, Ударивший бога.

И дальше понесло братьев Боанергес по пределам Великой империи, и уже полиции двадцати городов и шестнадцати провинций числили их в своих списках «листид энд вонтид», трижды стяжали они и трижды промотали громадные состояния, четырежды принимали участие в мятежах против римских властей, и неисчислимое множество раз совершили они разбойные нападения на купцов, на помещиков, на ростовщиков, на мытарей, на случайных прохожих, а однажды даже – на базу морских пиратов, – пока не оказались в Риме и не попались на самом что ни на есть пустяковом дельце.

Поскольку дельце было пустяковое (они зарезали поддатого горожанина, возвращавшегося из бани, и были взяты ин флагранти), всё было закончено в одно заседание. Разумеется, братья назвались чужими именами. Иаков Старший выдал себя за беглого из Пергама, а

Иоанн, словно по наитию, назвал себя Агасфером, горшечником из Иерусалима. Господину районному судье, завзятому антисемиту, с утра вдобавок страдающему от алкогольного отравления, всё это было совершенно безразлично. «Пергамец! – сказал он с болезненным сарказмом. – Это с такими-то пейсами! А ну скажи: „На горе Арарат растёт красный виноград!..“» Дело было абсолютно ясное. Двое бродяг из колоний дерзко лишили жизни римского гражданина. Приговорить мерзавцев к смерти через отравление.

В ночь перед казнью Иоанна почему-то совсем замучал дурацкий вопрос – зачем это ему вдруг понадобилось назвать себя именно Агасфером из Иерусалима? Что это было? Приступ бандитского ухарства, лихая предсмертная шутка? Холодный ли расчёт? Назовусь-ка я именем мертвеца, пускай ищут. Или, может быть, подсознательное желание ещё раз опозорить позорное имя?

О том, что это было предопределение, Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее.

Иаков, проглотив яд, умер довольно быстро, хотя, разумеется, и помучался, ровно в той мере, в какой это было предусмотрено имперским правосудием. Иоанн – не умирал. Трижды ему, связанному, вливали в рот смертельное пойло, и трижды, судорожно корчась, он извергал всё обратно. Случай это был хотя и редкостный, но далеко не первый, и в соответствии с прецедентом положено было доварить Иоанна в кипящем масле.

Так ему выпала ещё одна ночь жизни. Видимо, яд всё-таки проник в его организм, потому что по самого утра мучали его образы и одолевали голоса. Это было страдание. Он никак не мог понять, кто разговаривает с ним и что именно говорит. Нет, это не был Назаретянин. Это был кто-то равный Ему, но не внушающий любви и не дарящий радости. Слова его были невнятны Иоанну. Иоанн понял только, что ему снова выносят приговор и снова его наказывают.

Заколов Агасфера, ты нарушил волю Учителя, – вроде бы сказано было ему.

Приняв имя Агасфера, ты сам определил себе наказание, – вроде бы сказано было ему.

Отныне и до Страшного суда ты будешь ходить по миру, – сказано было ему.

И будешь ты делать нечто, нечто и нечто, – сказано было ему.

А вот что такое это «нечто», Иоанн так и не понял в ту ночь.

Утром его привели к Латинским воротам и при небольшом скоплении народа сунули ногами вниз в огромный чан с кипящим маслом. Это было невыносимо больно, и Иоанн потерял сознание. Но он опять не умер.

Очнувшись, обнаружил он, что лежит на каменном полу в знакомом помещении суда, а над ним в пять глоток бранятся чины римской юридической коллегии. Оказывается, никакого преступника нельзя казнить трижды. Казнить третий раз, оказывается, означает искушать долготерпение богов. Искушать долготерпение не хотелось никому, кроме господина районного судьи, который, таким образом, оказался в меньшинстве. Однако, с другой стороны, никакого преступника нельзя, разумеется, оставлять безнаказанным. Поэтому юридическая коллегия приговорила: сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханных колоний Рима, в Азию, а именно – на островок Патмос. Что и было исполнено.

(СПРАВКА: Патмос, крошечный остров в Эгейском море в сорока километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в две дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме

фригийцев и коз, из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы.) Иоанн провёл на Патмосе сорок лет.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что всё это время рядом с ним безотлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у Латинских ворот ему было шестнадцать лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со всевозрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова Учения вперемежку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили всё отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол-Рима, Прохор понял, что со человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нём был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушёных смокв на первое время. Всё это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого отправлял обязанности ученика писца.

Предыстория Иоанна-Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история.

11. В полном молчании мы поднялись на наш двенадцатый этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь:

– Ты вот что, Серёга. Говорить буду я, а ты помалкивай.

Я ничего ему не ответил, меня бил озноб. Только на лестнице, минуту назад, по меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая и что он сам настоял на этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо. Ну их всех к чёрту». Но ведь и так поступить я тоже не мог! Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг...

В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчёсывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришёл в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать.

– Куда прикажешь? – спросил он негромко, продул расчёску и сунул её в карман.

– Сейчас, подожди минутку, – сказал я.

Я не желал, чтобы мой Миша вёл эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще, пусть всё увидит своими глазами.

– А вообще-то, чего ждать? «Пошли», – сказал я и двинулся прямо в Комнату.

– Спокойно, Серёга, спокойно, – промурлыкал Миша у меня за спиной. – Всё нормально…

Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел всё: и дурацкий топчан у стены, и две блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям Кабинета, и дверь в Кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша всё это быстро оглядел, и из лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки.

Демиург грянул:

– Клиента – в Приёмную! Что ещё за вольности?

Я стиснул зубы и злобно процедил:

– Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним.

– Делайте, что вам сказано!

Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону Кабинета:

– Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я – майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать.

Демиург, по-видимому, нисколько не удивился.

– Побеседовать или допросить? – осведомился он.

– Я здесь неофициально, – ответил Миша. – Просто хочу задать вам несколько вопросов.

– Почему – мне?

– Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняю: сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы.

– Можете не уточнять. Я всегда в таком праве… Сергей Корнеевич, я всё равно не выйду, не надейтесь. Предложите гостю сесть.

– Не беспокойтесь, – сказал Миша. – Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось.

– Ещё бы… Ладно, я обдумаю эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы.

У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчана, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «барыня прислала туалет».

– Кто вы такой?

– У меня много имён. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Милунгу, Моримо, Мукуру... Достаточно, я полагаю?

– Я не спрашиваю ваше имя. Я спрашиваю, кто вы такой.

– Я гончар, кузнец, плотник, ткач... Неужели мало? Я Демиург, наконец.

– Но вы, я полагаю, человек?

– Конечно! В том числе и человек!

– А ещё кто?

– Вы что – не знаете, кто такой демиург? Так посмотрите в словаре.

– Хорошо. Посмотрю. И давно вы здесь?

– Больше полугода... Хотя... Это же зависит от того, как считать. Послушайте, а вам не всё равно?

– Мне не всё равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?

– Вот что, майор. Хочу вас предупредить. Если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то уверяю вас: ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите.

– Хорошо, я приму это к сведению, – терпеливо сказал Миша. – Так откуда вы прибыли?

– Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда.

– Бот в этой самой комнате?

– Эта комната была здесь не всегда, майор. А я – всегда. В известном смысле. Причём и здесь, и не только здесь.

– Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы всё-таки не человек?

– Человек такой способностью не обладает. Верно. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком.

– Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания здесь?

– Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами.

– Почему же это вам кажется?

– Очень правильная речь. Очень свободные манеры. И вы явно привыкли задавать этот вопрос – о целях пребывания.

– Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?

– Я ищу Человека.

– Кого именно?

– Я ищу Человека с большой буквы.

Всё время, пока шёл этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту. У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно вдумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошёл комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены, постоял, задрав голову, под свисающим чёрным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошёл к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем – по одной и по другой. С отчаянием и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице всё отчётливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли: да, порядочной ерундой я тут занимаюсь, позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют, и все дела...

Услышав про Человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, неслышными шагами направляясь к двери в Кабинет, произнёс с комической серьёзностью:

– А вы возьмите меня.

И впервые не последовала ответная реплика. Миша успел сделать ещё два осторожных шага, и тут из тьмы навстречу ему выдвинулся Демиург, остановился на пороге и навёл на Мишу бешеные яблоки своих глаз.

Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока. А Миша отступил на шаг и сделал странное, незаконченное движение правой рукой – то ли хотел заслониться ею, то ли (несмотря на заверения его) что-то всё-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал:

– Я обдумаю ваше предложение.

Сказал и соскользнул обратно во тьму.

12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его от меня со словами: «Давай, давай сюда! Что ещё за китайские церемонии!» Пока он застёгивался и напяливал перед зеркалом берет, я всё ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щёлкнула задвижка, и из совмещённого санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо, обеими руками застёгивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель.

– Пардон, пардон, пардон! – жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом. Разрешите представиться: Агасфер Лукич Прудков, Госстрах, к вашим услугам. Руки не подаю – в силу последнего местопребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам...

И с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломлённым Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предоставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования.

Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл всё, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страхагент, от которого совершенно не знаешь, как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими руками отстраняющие жесты, прижимал ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже...» – в общем, вёл себя не как Исаев-Штирлиц, а как занюханный кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатою на руках. И когда мы выкатились наконец на лестничную площадку, и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал:

– Уф-ф... Еле ушёл!

Мы начали спускаться по лестнице.

– Ну, как тебе? – нетерпеливо спросил я с тревогой.

И тут выяснилось такое, о чём я и сейчас вспоминаю с ознобом между лопатками. Хотя на самом-то деле – ну чего другого мог я ожидать? А было так.

На протяжении первых четырёх этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу, говорил не потому, что котёл говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен. Я молодец. Я правильно сделал, что обратился к нему. Дело вызревает нешуточное. Этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно... Что тебя, собственно, здесь держит? Может быть, нужна помощь? Так скажи! Лучше всего, если ты уйдёшь прямо сегодня, прямо сейчас... О жилье не думай, это всё будет устроено...

На девятом этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него – лет пятнадцать назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего

нового под луною, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу всё понял. Никакие это не направляющие – это шины. А в кабинете у них – генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может, да это и не его дело... Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов; месяц уже орудуют как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять: тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, а ещё кандидат, без пяти минут доктор... Ты дождёшься, что тебя вместе с ними заберут! Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях... Не купили же они тебя, в самом деле. Понимаю, понимаю: обманули. Я и сам спервоначала чёрт-те что подумал, а ведь я – стреляный волк... Ничего, не дрейфь, я тебе верю, заступлюсь, пройдёшь по делу как свидетель... И возвращайся-ка ты в свою Степную, займись своими звёздами, забудь про всё про это, чёрт тебя сюда принёс!..

На третьем этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески-растроганным тоном. Хотя, с другой стороны, что ты имел в своей Степной? Гостиничный номер? А здесь такая квартирка, ей-богу, завидно. Спальней ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду, она же меня живым съест... И где только люди достают такие гарнитуры! И вообще, где ты книги берёшь? Блат у тебя, что ли? Я «Военные мемуары» всю жизнь собираю, но такого набора... Жалко, Соня твоя на работе, сто лет не виделись. Слушай, что за манера – приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с жёнами, с ребятишками, моего Саньку с твоей Танькой познакомим... (тут он заржал). Как она из туалета-то выскочила... заалелась, будто маков цвет... Красивая девка, между прочим, растёт. Да, брат, стареем, матереем, ещё пяток лет – и детей женить пора... А коньячок у тебя ничего был, штатный. И всё-таки, когда ты ко мне придёшь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, если я об этом не позабочусь... Ну, ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощенье, спасибо за привет... Нет-нет, провожать не надо, я знаю – вон там «шестёрка» останавливается. Ну, давай!

Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь, рукой за мокрую, ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпича на кирпич, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса.

13. Демиург сказал:

– Есть у вас ещё вопросы?

– Нет, – сказал Миша. – Благодарю вас.

Он уже вполне оправился, к румянец вернулся на лицо его, но пот всё стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.

– Тогда я задам вам вопрос, – сказал Демиург. – Всего один. Чего вы хотите?

– Сейчас я хочу только одного, – криво улыбаясь, проговорил Миша. – Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся. Проснулся, а вас нет и не было.

– Воистину, странный ответ, – сказал Демиург. – Не ожидал от вас… Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально.

– Ах, вы имели в виду… Знаете, всё, чего мы хотим, изложено в Программе Партии. Прочтите, там всё написано.

Демиург грянул:

– Благодарю вас! Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу – подать.

…И когда я, как старая кляча, влекомая на живодёрню, приволокся на своё место в Приёмную, он сказал:

– Впредь прошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение… Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха – это эпоха могущественных организаций, а я по старинке всё вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли, благодарю вас.

14. СПРАВКА. Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда её не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде.

В дальнейшем я ещё дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен, однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил «славный вечерок», который провёл у меня в гостях, и попросил передать привет «Сонечке и Танюшке».

Других знакомых «в могущественных организациях» у меня нет. Прямое, по официальным каналам, обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома.

Я остался один. Теперь уже совсем один.

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал…

ДНЕВНИК. 18 июля (Дополнение к 17-му)

Я, точно так же, как Михайла Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г.А. так рьяно болеет за Флору.

«Милость к падшим призывал»?

Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими, не в том, так в другом смысле, а он – нет. Он вообще не признаёт это понятие – «падший». Всё, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит, закономерно, а значит, в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим МЫ, – тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. (Именно поэтому то, что хорошо в девятнадцатом веке, достойно всяческого осуждения в двадцать первом. Безогляднее чинопочитание, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов.) Понимание и милосердие.

Понимание – это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе.

Милосердие – это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Там, где присутствует милосердие, – там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, – где присутствует всё, что угодно, кроме милосердия, – там дрессировка.

Через милосердие происходит воспитание Человека.

В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух. И, разумеется, береты всех мастей. Машины убийства. Профессионалы.

Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание Человека не хватало? Или средств?

Да нет, просто нужды, видимо, не было.

А сейчас появилась? «Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг…» Значит, всё-таки появилась! Иначе теория ПВП никогда бы не пробилась через реликтовые джунгли Академии педагогических

наук. И не была бы создана система лицеев. И Г.А. был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й ташлинской средней школе.

Конечно, бытие определяет сознание. Это – как правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах.

Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрёзен.

18 июля. Вечер

Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное. Говорил – ни к чёрту плохо. Не умею говорить. Но каков Аскольд!

Не хочу сейчас об этом писать.

Г.А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызывала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием.

С одиннадцати до четырнадцати был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки (на самом высоком профессиональном уровне) и вёл лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа.

С пятнадцати до девятнадцати готовился к отчёт-экзамену, конспектировал мадам Тепфер. Всё-таки до чего трудно! Неужели же придётся всерьёз браться за эту чёртову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна! Не верю я в неё. А если у человека нет способностей к абстрактному мышлению? Всё-таки мы живём в очень жестоком мире.

События.

С утра по городскому каналу выступил Михайла Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. (Эге! – разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга.) Задержано шесть человек: один курьер, трое распространителей и двое боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каковым оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. («Эге!» – сказал я сам себе и, за отсутствием Г.А., переглянулся с Аскольдом.) По подозрению в причастности задержана ещё куча лиц, в частности заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие

добрые граждане. (Ни одного студента. Что характерно.) Следствие продолжается. Есть асе основания полагать, что в ближайшее время наш город наконец будет полностью очищен от наркомафии.

Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же всё это надобно понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что Г.А. уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про «крёстного» из горисполкома, и ещё, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причём как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбре и прочих студиозусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше прочей наркомерзости? И откуда он мог знать, что Михайла Тарасович начнёт свою операцию именно этой ночью?

Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая многое объясняет. Майклу я решил её не сообщать. И воздерживаюсь излагать её здесь. И так запомню.

Г.А. знает, что делает, – на этом мы с Михой и порешили.

Сегодняшние газеты полны Флорой. Оказывается, позавчера (я пропустил) Ревекка разразилась большой статьёй в «Городских известиях», и теперь по всем газетам идут отклики. Триста тридцать три вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку Ёжика, как он валяется в остывшей золе у костра, ясные глаза остекленели, рот распущен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех. Вслух. Дело было за обедом. При женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать. В гинекологии две девчонки оттуда лежат – одной двенадцать, другой тринадцать. Знаете, как они себя называют? Подлесок!»

Никогда такого не видывал: в городе появились пикеты. Пожилые люди, на вид пенсионеры – стоят по двое, по трое перед дверями дешёвых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перец «Неедякой» – двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам». На другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают».

Ещё плакаты (на оградах, на бульваре перед горсоветом, прямо поперёк улицы) – чёрным по красному: «Твои дети в опасности! Спаси их!», «Бросай работу! Раздави гадину!», «Сделаем наш город чистым от зелёного гноя!» ...

На улицах полно людей. И милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъёма, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка приняли то ли для смелости, то ли для бодрости, – раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошёл на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения.

(Вообще говоря, мне это не) травится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбуждённо хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли.) И конечно же, ни одного фловера. Что не удивительно. Будь я фловером, духа бы моего не было в этой атмосфере. И вообще в радиусе трёхсот километров. Может быть, всё-таки обойдётся без насилия? Не полные же они дураки, должны же они понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше?

В конце бульвара у меня ёкнуло сердце: на дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зелёные лапти, всё честь по чести. Но, конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет двенадцати со спичками и зажигалками. Я окоротил их: во-первых, десантные комбинезоны не горят; во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека; в-третьих, они похожи сейчас на куклуксклановцев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошёл своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ.

(Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мыслей ребятишкам, которые ни о чём таком и не думали. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к фловерам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом, а сегодня попалось им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забегали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвалят... Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в десять килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении, а брызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вёл я у них в

прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука.) А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор гороно товарищ Лютиков Андрей Максимович, созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с «гениальным предложением»: вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю «Вишенку» в полном составе, включая парализованных, слепых и безнадёжных. Колонна пойдёт под лозунгом: «Мы обвиняем Флору!» Это произведёт эффект. Это найдёт отклик.

Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдели. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и растопчет. Тогда Сергей Фёдорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается её инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. «И затрясся вурдалак проклятый...»

В преподавательской воцарились три минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривою, в великом молчании осторожно положил трубку, в великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало.

Всё-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности если это не дела, а делишки, а дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Риве неизъяснимую симпатию, хотя, казалось бы, ну что такое особенно хорошее она сделала? Любой нормальный человек на её месте должен был поступить так же. Особенно на ЕЁ месте. Тут, видимо, всё дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, по умиления симпатичным.

Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню. Ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг – гвалт, размахивание руками, и каждый – ни шагу назад. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего шесть человек. Страшно вообразить, как бы всё это выглядело, если бы орали и размахивали руками все двести.

Картина: в столовой почти все огни погашены, тридцать пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья опрокинуты, ужин недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Ираклий Самсонович, белый колпак сдвинут набекрень, в глазах ужас, в руке – невостребованный белый соус к биточкам.

Вот что замечательно: если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору... так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов.

Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном: прав Г.А. или нет. И как относиться нам к его правоте или неправоте. (Господи! Куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Ираклий Самсонович свидетель: шестеро мартышек, швыряющих друг в друга помётом и банановыми шкурками.) И что ещё замечательно: ведь общего, между нами, гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г.А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собою ничего особенного – целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г.А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему.

Мы с Мишелем размахиваем руками, главным образом, потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отталкиваемся, но никаких серьёзных оснований отмежеваться от большинства у нас нет, и это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону Г.А., и это нас ужасно беспокоит. Потому что ясно: если кто-то здесь и ошибается, то уж, наверное, не Г.А. То есть это для нас с Мишелем ясно. А совсем не ясно нам с Мишелем – как быть дальше. Следовать своим убеждениям – значит остаться в дураках, да ещё предать Г.А. вдобавок. А слепо идти за Г.А. означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно.

Вот у Иришки всё просто. Она очень любит Г.А., и она очень жалеет Г.А. Этого для неё вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне Г.А. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у неё такие убеждения: ей жалко любимого Г.А. до слёз, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и уходят, а Г.А. должен пребывать и будет пребывать вовеки. Аминь! А будешь много тявкать, получишь этой овсянкой по физиономии.

Кириллу хорошо: у него билет помой на завтра, на тринадцать двадцать. Впрочем, он теоретик. «Верую, ибо абсурдно». Человековедение – это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни показать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе. Или теплее... Г.А. – бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г.А. оказался не прав, я всё равно буду верить в Г.А. и смеяться над вашей практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины.

Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у неё тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. (И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас – с утра по ночи и с ночи до утра, гнойные простыни, жёлто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих...) А Флора для неё – за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов. Они вообще вне... Г.А. – святой, а вы – нет. А я уж совсем нет, до последней степени – нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом, ужин ведь всё-таки...

В общем, никто меня особенно не удивил. Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен, с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая. Имидж. Г.А., помнится, пошутил как-то: с такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры. Тунеядство должно быть уничтожено. Перед нами выбор: либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторое милосердие. И каждый тунеядец должен это усвоить твёрдо. А мы с вами должны сделать так, чтобы каждый потенциальный тунеядец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с наивозможной убедительностью предупреждён о своей неотвратимой гибели. Не надо: слюней, соплей, метаний и самопожертвования. Надо: железную твёрдость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Г.А. – гений, это бесспорно. Да с этим

никакой дурак и не собирается спорить. Просто надо помнить, что гении тоже ошибаются. Ньютон... Толстой... Эйнштейн... и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму...

Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось, и все мои аргументы были – яростное швыряние помёта и банановых шкурок. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт:

Я: Предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия?

Он (пренебрежительно): Было. Сначала венерические болезни, потом СПИД. Старо.

Я: нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей. Совершенно ни в чём не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно-твёрдым, беспощадно последовательным и абсолютно не примиримым?

Он: Что ты ко мне пристал? Я не врач!

Я: Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократа. Но ты принимал присягу Януша Корчака! Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлищ. Так вот, врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных – только на тяжёлых и лёгких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог – это тоже врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить! Всех! А у тебя, я вижу, одно лекарство – гаррота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь? Организацией акций?

(Он в бессильной ярости принимается швырять в меня помётом и банановой кожурой.) Да, воистину: самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником.

Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Аскольдовы подопечные Серёжка Петух и Ахмет-богатур заметно отличаются и от моих ребятишек, и от всего остального их класса. Холодные драчуны. Кадеты. Маленькие аскольдики. Это уже неконтролируемое размножение! Ей-богу, хватит с нас и одного Аскольда.

Настроение, и без того не радужное, вконец у меня испортилось. Врачу, исцелися сам. Педагоге, воспитай себя, а уже потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитаешь, что сотня Г.А. их не перевоспитает.

Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребяток. Пусто и уже припахивает пылью. Но на стенах – милые сердцу картинки. Да подоконнике – недостроенная модель Термократора. На столике – развороченный компьютер. На спинке стула – забытая Ёжикова майка с надписью «It's time of Total Truth»[2] ...

Я присел перед подоконником, впаял Термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. Проще надо быть! Проще! Счастье – в простом.

Мне кажется, я понимаю, какую связь подразумевает Г.А. между этой древней рукописью и моей работой, но это слишком долго, а я слишком устал, чтобы сейчас об этом писать.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Совершенно не помню, что я тогда имел в виду. К сожалению.)

РУКОПИСЬ «ОЗ» (15–18)

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на сон грядущий Агасферов «Прекапон». Они разговаривали в комнате. Тоже, видимо, на сон грядущий. Я не прислушивался. Как всегда, между собою, они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак освоить не мог, – гортанном и изобилующем придыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с тахты, и тут Демиург заревел, как иерихонская труба, а Агасфер Лукич завизжал невыносимым, скребущим душу визгом. Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был не животный, не механический и не электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать Конь Бледный, бешено топча сонмы грешников. И сейчас же что-то тяжело ударило в стену, да так, что всё висевшее на ней оружие с лязгом обрушилось.

В одних трусах вылетел я в Комнату. В голове моей торчала одна-единственная нелепая мысль: «Весь ведь квартал на ноги поднимут, уроды!»

Уроды же выглядели так.

Агасфер Лукич, весь расхлюстанный, блистая потной плешью и потным брюхом, вывалившимся из-пол брючного ремня, наскакивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрыки ручками и ножками, – то ли норовил вскарабкаться на него, как на

[2] Время полной правды

Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приёмами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад.

Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга, они были чёрные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти, длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху.

На моих глазах он распахнул портфель (Агасфер Лукич вновь издал апокалиптический визг) и, придерживая его левой рукой, засунул правую в пышущие жаром недра – засунул глубоко, неправдоподобно глубоко, куда-то этажом ниже, как мне показалось. Несколько долгих секунд он шарил там, в жарких пространствах, звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз.

Только на несколько секунд его и хватило – портфель полетел в сторону, а освобождённая рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и с множеством локтей, а кисть её по первого локтя была раскалена и светилась всеми цветами побежалости, и с кончиков ослепляюще белых пальцев срывались и летели по Комнате дымные искры и капли. А потом (волосы поднялись у меня по всему телу) левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул её вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже, как дыни, он разинул пасть, изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул медной головищей так, что кисточка парика взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку и словно окурок сигары выплюнул её в бездонную тьму за дверью Кабинета.

И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо-крыло, то другое, как бы демонстрируя нимало не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. Агасфер Лукич сидел на корточках возле топчана, любовно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращённый портфель. В углу всё ещё корчилась, остывая, страшная рука – скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью и медной окалиной.

Потом Агасфер Лукич вдруг, словно бы спохватившись, перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя. Не обнаружив искомого, он двинулся вдоль стены на трек конечностях, прижимая четвёртой портфель к голому потному боку. Тут

я понял наконец: Агасфер Лукич в пылу сражения потерял своё искусственное ухо.

Демиург грянул:

– До вон же оно, под калорифером! Что вы, в самом деле, будто Иов на гноище!

Агасфер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до калорифера, нащупал драгоценное и, радостно улыбаясь, приладил его на место.

– Благодарствуйте, мой Яхве! – весело сказал он.

Так закончилась ещё одна ссора между ними. Правда, раньше по драки дело у них не доходило. Чего они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитил что-то у Демиурга... Бог у бога портянки украл.

16. Вот этот клиент мне окончательно осточертел. То есть я, кажется, уже всяких повидал, но этот был – что-то неописуемое. Тощий, старый, бледно-зелёный, с запёкшимися губами, с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методу спасения человечества. Мысль его, словно поезд метро, постоянно двигалась по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент!..

Всё очень просто. Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему всё новую и новую щёку, это учение привело человечество на грань катастрофы. Древний благородный лозунг «око за око, зуб за зуб» оклеветан, забросан грязью, заклеймён как человеконенавистнический. Все беды – именно отсюда. Зло сделалось безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Всё дозволено тому, кто нагл, силён и злобен. Нет управы на него, кроме законов человеческих, коим цена – овечье дерьмо. Хулиган безнаказанно измывается над слабым. Чиновник безнаказанно измывается над робким. Наглый безнаказанно топчет скромного. Клеветник безнаказанно порочит правдивого. Властитель безнаказанно попирает всех.

Конечно, сам по себе лозунг «око за око», будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссияет на хоругви, несомой мощными дланями...

Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение, чтобы тут же

начать всё сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платяного шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И всё это время он, как бы не замечая моих усилий и своего унизительного положения, втолковывал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых, унижаемых и оскорбляемых – это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда.

Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в Приёмную, с отвращением обтирая об себя ладони, липкие от хладного пота ходатая, Демиург спросил:

– А как вы полагаете, Сергей Корнеевич, почему третий закон Ньютона не выполняется в сфере человеческих отношений?

Я подумал.

– На самом-то деле он, наверное, выполняется. В конце концов всем известно: как аукнется, так и откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия.

Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступило время обеда.

17. Я шёл с авоськой по Балканской, направляясь в молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное.

То есть началось-то оно вполне обыкновенно. Грохоча и лязгая, промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятьем я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и с брюк холодную жижу, как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги, и хриплый, задыхающийся голос просительно просипел:

– Позвольте мне! Мне позвольте!

Я и ахнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясущимися красными лапищами осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща, брючину и заляпанный ботинок. При этом он, словно в лихорадке, бормотал:

– Сейчас!.. Моментально!.. Секундочку только, и всё...

Я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, и лишь шагах в двадцати вонял на холостых оборотах давешний самосвал, стоя совершенно наперекосяк. Я шарахнулся, мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща, он побежал за мною, быстро

перебирая коленями, и, заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел:

– Языком вылижу! Блестеть будут...

А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и быстрым шагом пошёл прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и, поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях, он лишь опустил зад на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понурив голову. У него был вид человека, обречённого на казнь.

Душевное равновесие моё было нарушено, и, не сделав по проспекту Труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида – в шляпе и с тростью. Собственно, столкновения не произошло, в последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами. Я пробормотал что-то вроде: «А, ч-ч-ч... Виноват...» Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу, взяв на отлёт свою палку, проговорил, словно в театре:

– Мой дорогой! Разрешите принести вам мои глубочайшие извинения! Я позволил себе задуматься и был крайне небрежен.

– А-ап... – сказал я. – А-ас... Собственно, это я был небрежен... Вина, собственно, моя... Ещё раз – пардон.

– Мы оба были небрежны, – с видимым облегчением произнёс пенсионер и улыбнулся, как мне показалось, фальшиво. – Вообще-то, сейчас время такое, что глаза лучше дома на забывать.

– Правда ваша, – согласился я, чтобы не затягивать сцену, и пошёл себе дальше в молочную.

Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под рёбрами справа. Всё вокруг было до тошноты знакомо. Испещрённый трещинами неровный асфальт с вечными лужами, и прошлогоднее пятно на нём от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок кроманьонца. Мокрые жалкие прутья садовых насаждений вдоль тротуара, в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским вылинявшим плакатом «Саду цвесть!» на брандмауэре бывшего доходного дома. Отгородившаяся от неба лоснящимися зонтиками терпеливая очередь за обоями в хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, всё больше тётки с кошёлками, с сумками, с бидончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господи, сколько нынче в городе машин!..

Вроде бы всё, как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, а я не знал, как об этом спросить.

...Решительно, машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде «40», но ведь и вчера здесь было «40», а половина шофёров, как водится, никакого внимания на это не обращала... У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды. То есть буквально у всех!..

...Что они мне все улыбаются? Я эту тётку вижу впервые в жизни, а она мне кланяется, и вся расплылась в улыбке, такой же фальшивой, как её зубы... И эта туда же...

– Здрасьте... И вам здрасьте... Приветствую вас...

Вот оно! Ведь все же прячут глаза... лица прячут... Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта, нет... Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пасть до ушей, поклон чуть ли не подобострастный и – «здрасьте! здрасьте вам! доброго денёчка!»

Сначала я подумал было, что это моя известность как личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на всё население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денёчка.

...Нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось, они делали это явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были (почему, собственно?) непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я распинался на службе, власть в городе захватили исступлённые почвенники и призвали соотечественников (под угрозой наказания на теле) вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов и, хотя бы на улицах, вести себя в соответствии.

Смешного тут не было ничего. Я предпочёл бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки у Агасфера Лукича или по крайности включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это, во-первых, а во-вторых, чёрт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всём самому.

В молочной на первый взгляд ничего необычного и не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло старух десять, но

сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пачки масла по двести граммов и пристроился в очередь в кассу.

Нет, здесь тоже было нехорошо. Очередь вела себя не как очередь, а словно бы на светском рауте, как я себе это представляю. Они беседовали. Все они не стояли друг другу в затылок, как это принято испокон веков, они норовили встать друг к другу вполоборота, чтобы, упаси бог, не оказаться к кому-нибудь спиной.

Физиономию у кассирши, казалось, свело судорогой от перманентной любезной улыбки, руки её так и порхали – выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали, и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. (Обычно она разговаривает так: «Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?» Зовут её Аэлита.) В магазине были ещё грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных чёрных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигались как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если путь им пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своеобычных возгласов: «Валёк! На хрен ты, падла, это сюда приволок?.. Эй, мамаша, подбери корпуса!..»

До кассы было восемь человек. От силы десять минут.

В очереди разговаривали:

– Дожди и дожди, а снегу всё нет...

– Очень нужен снег. Для урожая.

– Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой – это самое первое дело.

– То-то Рейган радуется!

– У них там – тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны...

Шесть человек по кассы.

Грузный седой дядька, стоявший передо мною, повернулся ко мне вполоборота и, напрягшись, выдавил заветное:

– Осень в этом году. Всё тянется и тянется...

Я напрягся и ответил:

– Да. Полгода уже тянется.

– И не говорите. Когда она кончится!

До кассы оставалось всего четверо, но тут из сметанной очереди прискакала бабка и, рассылаясь в корявых извинениях, пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга.

Дядька передо мной ещё раз поднатужился и пошёл по новой:

– Когда осень, обязательно дожди. Случая такого не припомню, чтобы осень – без дождей.

Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили:

– Это вы правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет.

– И в Австралии! – объявил дядька с неожиданным апломбом, но тут же спохватился: – Хотя точно утверждать не могу. В Австралии, может быть, и есть, южное полушарие всё-таки...

Я был уже третьим от кассы, но тут подошла особа в шляпе и с банкой сметаны в руке и сказала моему дядьке:

– Я, кажется, перед вами занимала...

– А пожалуйста, – сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне.

Особа впёрлась. Я оглянулся. Народу-то за мной стояло всего два человека. Нет, ей обязательно надо использовать своё право. Ладно, я четвёртый, переживу... А вот я и опять третий...

И вдруг раздался странный звук, что-то вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особа в шляпе, хватая воздух пальцами в чёрных нитяных перчатках, стала медленно падать вбок от очереди. На секунду всё замерло. Раздался короткий взвизг. Я стоял столбом в обычном своём для подобных ситуаций ступоре. Особа в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело её противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударилась затылком о кафель.

Я всё стоял столбом, уставясь на бьющуюся в судорогах женщину, но уже понимал, что это у неё какой-то припадок, приступ какой-то, и надо броситься и помочь ей, и я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром... Самое страшное, однако, заключалось в том, что люди вокруг, вместо того, чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись врассыпную кто куда, только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, с треском круша стойки и перегородки, нечленораздельно крича и панически взвизгивая.

Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился.

Первое, что я, очнувшись, услыхал, был пронзительный душераздирающий вопль Аэлиты:

– Ты что наделал, облом тамбовский? Харя твоя непроспатая! Это же учёный из нового дома, каждый день сюда ходит!

Я лежал щекой на кафеле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет.

– У них такое пятно должно быть лысое за ухом… – виновато и опасливо бормотал незнакомый сипловатый басок.

– За каким ухом-то? За правым? «За левым?» – спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряжённо-испуганный.

Голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой.

– Нет у него ни хрена, – с явным облегчением и уже раздражённо сказал второй голос. – Ни за левым, ни за правым… Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие.

– Да я же вам говорю! – снова завопила Аэлита. – Учёный он, из нового дома на Балканской!

– Так, а чего он, понимаешь… – агрессивно-виновато сипел басок.

– Чего, чего… В очереди человек стоял, вот чего!

– Так а чего он на неё глядел? Так и вперился, как этот…

– Ладно, давай хоть посадим его, что ли…

Меня взяли пол мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавку-холодильнику. Две опухшие сизоватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием.

– Извини, друг, – просипел тот, что был слева. – Мы тебя за этого приняли… за громобоя… знаешь, который разрядом человека бьёт… Уж больно ты страшно на эту бабу уставился… Прямо вызверился, как этот…

В магазине не было ни одного покупателя. Припадочная особа тихо лежала головой в луже сметаны. Она уже моргала.

– Продуктов-то сколько потоптали! – завопила Аэлита с новой силой. – Прилавок опять разнесли!.. Ну, чего встали, запойные? Вызывайте милицию! «Скорую» вызывайте!

18. Я сказал Демиургу:

– Я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов.

Демиург ничего не ответил, а Агасфер Лукич напомнил мягко:

– Серёжа, ведь я же говорил вам: не надо нам кефира, обойдёмся! Ведь говорил же!

– Так масла же не было в доме ни крошки, – сказал я растерянно.

19. Остров Патмос на поверку оказался…

ДНЕВНИК. 19 июля (утро)

У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит.

19 июля. 20 часов 30 минут

Утром позвонил тренер: занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос: «Почему?» Ответ: «Вы что – сами не понимаете?»

В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятья, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований.

«Городские известия». В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. «Мы в принципе не против так называемых неедяк, которых всё-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями (ДРП). Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обуть и даже обеспечить жильём. Тем более, что уровень потребностей их в три-пять раз ниже среднего в нашем городе, и тем более, что большая часть группы ДРП как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причём берёт на себя (пусть даже только спорадически) наименее престижные и непривлекательные работы. Я улье не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, что бы ни говорили сердобольные её защитники, это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться...»

«Университетский вестник». Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. (Ну и что?) Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2 % опрошенных. (Это и так все знают.) Алкоголем балуются примерно 30 %. (Ну и что?) Ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Только гордое признание в конце: де прозевали мы те сложные объективные

процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов: чего вы к ним пристали? Вспомните хиппи, вспомните битников, «металлистов», «караканаров», «акутагуев», «шлемников» ... Перебесятся и вернутся к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку – сами бывшие фловеры.

Но зато статья проректора – это нечто! Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Калёным железом! Поганой метлой! Дустом их, дустом!

«Ташлинский агропром». Сплошный мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка.

«Кооператор». Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма – главным образом от пикетирования предприятий, бьют себя в грудь на тему «не виноватая я!» и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными неедяками, приводя примерно те же аргументы, что и «Городские известия».

«Молодёжные новости». Тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизованности комсомольской работы – с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам – с другой. Одним словом, Что Лично Сделал Ты – Чтобы Твой Друг Не Ушёл Во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда?

Всё это, впрочем, цветочки, а ягодки – в «Ташлинской правде». Целая полоса. Три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться.

Застрельщиком выступает некий Плюхин К. П. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых, так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду фловеров, которых он случайно встречал на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодёжь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И хотя в массе своей наша молодёжь «поднялась на здоровой закваске»,

закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в её среде у нас нет никакого права.

Тут бы, казалось, самое время вскричать: «Огнём и мечом!» – однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит всего-навсего использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения. Здравоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникёрские, волюнтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность – это две стороны стёршейся фальшивой монеты дешёвого политиканства.

Таким вот путём.

Дальше на две колонки идёт наш Г.А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и всё время слышишь его голос.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Статья эта не сохранилась. Я не нашёл её даже в Публичке. И можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал её в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых её тезисов, наиболее меня затронувших.) Флора – разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступник вообще ближе к нам, чем Флора, – и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них – ноль. Их ценности для нас – за пределами нашего понимания, как кошачий язык.

Флора – дикари, не доросшие по нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа – племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило.

Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, всё и так ясно.

Флора не есть что-то отдельное от нас – некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. (Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область? В соседний регион? В соседнюю республику?)

Флора – это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия. И никакого самолечения! Никаких шаманских плясок! Никаких самопальных знахарей – с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета.

А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодовлеющая культура. И тогда кровь, боль, нечистота – роды! Младенец непригляден, даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречён на рост, и в обозримом будущем он обречён занять своё место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров!

Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь!

Очень громко, оглушительно кричат те (как водится), кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе – и в первую очередь те, кто был ОБЯЗАН всё это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии: плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крике, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные.

Зычно взрёвывают ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-какеров, теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнителей и, уже как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом не менее зычно ревут пока ещё полуответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капиталец, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за всё и потому не отвечающее ни за что!

И уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времён очаковских и покоренья Крыма, последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые драбанты перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетёшкать да хранить уют семейных очагов, – нет, куда там! Вперёд, развернувши старинные знамёна, на которых ещё можно разобрать полустёртые лозунги: «Тяжёлому року – бой!

Не нашей культуре – бой! Цветоволосы – с корнем! Синхролайтинги – с корнем! Системки – на помойку! Контакторы – под каблук!»

И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убеждённые в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно: высоко и коротко.

И с каждым часом всё громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении весёлой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того чтобы помолчать и задуматься.

«Я не называл имён, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Всё, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых – мои ученики и ученики моих учеников. Всё, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично – в той мере, в какой может принять её отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства – и, в частности, Флоры как социального явления в обществе начала второй НТР. Всё очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с Г.А. он явно предпочёл не вступать (не знаю уж, из каких соображений), однако чувствуется, что он не согласен с Г.А. практически по всем позициям. Ни с содержанием, ни с формой.

Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что Флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы ещё имеем моральное право осуждать Флору. Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упрёком указываем Флоре, но уже недалёко то время, когда вторая НТР завершится (ориентировочно, через 40–50 лет), непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флоре, когда она скажет нам: ладно, давайте вашу работу. Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное

время – время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю Флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уж отдалённого будущего?»

Что я из всего этого понял?

Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком ещё не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны – подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К. П. всё прописано досконально: и ветеран, и персональный пенсионер, и почётный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. То же и про декана: профессор, членкор, лауреат, депутат... А про Г.А. сказано просто, без затей: Г.А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г.А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намёк: мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра – Г.А. Носов, и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы: горком никаких крайних акций не допустит – пошумят, погалдят и утихомирятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотки Ривы, да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновное лицо.

Всё это он изложил нам в вестибюле с чемоданом наперевес. Говорил очень убеждённо, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне пора в круиз вокруг Африки.

Едва мы его проводили, как меня вызвал Г.А. и сказал: «Пойдём». Мы пошли, и по дороге я всё гадал, куда это мы идём, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым (несимпатичным), и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе ещё?»

Да, он старый и верный друг Г.А. Да, он по гроба благодарен Г.А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. До сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет, никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть, а самое малейшее

вмешательство в происходящее с неизбежностью приведёт к тому, что си будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто «хуже не будет, а лучше – может быть». Будет именно хуже, причём гораздо хуже! Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир: заведующей гороно, председателю Совета ветеранов, главному редактору «Ташлинского агропрома» ... Если сейчас в эфир выйдет Г.А., тогда он (волосатый, несимпатичный главный начальник) по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и ещё двум десяткам неназванным, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым мётлам, калёному железу и ежовым рукавицам...

Кончилось тем, что Г.А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда всё закручивалось и похлестче, а кончилось благополучно, и в конце концов волосатый несимпатичный совершенно разрыдался – улье не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г.А. взглядом показал мне, чтобы я вышел.

На обратном пути я спросил Г.А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г.А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, ещё и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом ещё помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае, я больше никуда обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово: «Поздно, поздно! – кричал Вольф, – продекламировал Г.А., оживившись. – Пена и кровь стекали по его подбородку». Как всегда, цитата рта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, Князь, что мы сейчас живём на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадёжно, но с другой стороны – счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые... А, Князь?»

В самом деле, каково это – жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно, – перелом истории? Когда на перекрёстках стоят броневики и чадят костры, на которых догорают старые истины, – это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом – это производная по времени. Говорят, сердечники реагируют не на плохую погоду, а на изменение хорошей. Вокруг ещё солнышко сияет, тепло благорастворение воздухов, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же? Может быть, Г.А. со своей чуткостью реагирует

на изменения, которые только-только ещё начались? Не удивился бы, хотя сам никаких изменений не ощущаю.

Пикетов ещё больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно, они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами.

Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его друг, Князь Игорь, комсомолец же, не ушёл во Флору? Реликтовые звуки были мне ответом.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (19–22)

19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживлённым местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не порог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного.

На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком прикахты, что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия. Возомнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непотрафившие реформаторы – некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий.

И всё это была элита, даже те, кто был без гениталий. Социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки: если уж на него не хватило масла, то место ему было, без всякого сомнения, на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей – и не преуспели.

Сначала были убиты три собаки: его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на угольях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чём не превосходили своего хозяина.

Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры Четырнадцатого легиона. Облава кончилась ничем: сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлёбкой да захватили несколько коз, случившихся неподалёку и вряд ли ему принадлежавших.

Той же ночью посёлок прикахтов запылал, подожжённый с четырёх концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагрузившись скарбом сенатора Варрона, ушёл в горы. Таким образом, развесёлое приключение изнывавших от скуки крестников трёх императоров превратилось в тяжёлую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унизительных условиях.

Иоанн-Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда приходили пастухи. Не здороваясь, садились у костра и пили кислое вино, принесённое с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени: ему не надо было работать, и всё, чего он желал, было у него под рукой.

Вокруг него ничего не происходило.

Зато внутри него происходили вещи, поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в своё сознание часами напролёт, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у Латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. Но он не участвовал.

Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием, – всезнанием наделяют они щедро его. Но по мере того, как сознание его наполнялось, по мере того, как вселенная вокруг него и в нём самом становилась всё огромнее, всё понятнее, всё

яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, всё проще в своей неизречённой сложности, – по мере того, как всё это происходило, он всё твёрже укреплялся в мысли, что никаких богов нет и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и всё то, что озаряет его сейчас, идёт не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно, со всей вселенною внутри.

Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печёную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном-Агасфером, и даже не Иоанном-Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом – диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об Учителе уже потускнела в нём, оставив лишь смутное ощущение неопределённой ласковой теплоты.

Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нём, как Левиафан в толще вод, и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.

Знание просыпалось в нём неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами – богами, жрецами или властями, – к их животному.

Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под молодое самодельное вино. Обыкновенным путём разговор от женщин перешёл на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животное; каким образом надлежит подготовить его к употреблению; а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно, и чтобы не случилось скверного – чтобы не зачать чудовище.

Иоанн-Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота её. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда враньё пошло громоздиться на враньё, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн-Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. (Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это и, более того, совершенно точно знает, почему это невозможно.) Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда всё понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье.

Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, силясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик. Он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один – только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилем по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю.

Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком. И очень скоро обнаружилось в нём четвёртое вожделение: жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть (если хочешь получить исчерпывающее наслаждение) обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнёров.

Он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди начитанные и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собою всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное.

Он стал своим человеком в колонии прикахтов.

А Прохор всё записывал.

Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был

искренне уверен, что ни единое слово не пропало втуне. Он начал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нём, Иоанн-Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи – горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами.

Он записывал, когда взбешённого Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным учёным. И ещё многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка.

Так рождался АПОКАЛИПСИС, «Откровение Иоанна Богослова», знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн-Агасфер называл не иначе, как кешер (словечко из жидовской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний «роман», – байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голодания воров в законе). Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счёте возникало под стилем Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить.

Иоанн-Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее – на классическом койне.

Далее. У Иоанна-Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему всё время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю вселенную от плюс по минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому (а хотя бы и пожилому!) уроженцу Херонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое: пищаль, гравилет, ТВЭЛы, питекантроп, мутант, гомункулус, партеногенез, Линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нуль-т, римско-католическая церковь, магнитное поле, Облачный город, лазер, инквизиция... Он и сам-то, Иоанн-Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления: Он всего лишь ЗНАЛ о ник, он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель и, как все великие писатели, прирождённый мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с наслаждением и без каких-либо колебаний заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка.

Далее. Прохор изначально убеждён был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн-Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчества. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние...

В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся кешер можно множеством способов в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя.

Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни (как-никак четыре десятка лет) Прохор провёл в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения.

Так появляется ещё одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный приём, с помощью которого по современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах Зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце шестидесятых Прохор, переводя с листа, читал Иоанну-Агасферу избранные отрывки из своего Апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец...» А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрёк: «Имей в виду, Прохор, этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломается...»

Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, «Божественную комедию» Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре.

А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну-Агасферу в голову странная мысль: не был Апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был Апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний-провинций против Рима, титанической диспозицией типа «ди ерсте колонне марширт...», в которой всё имело

свой чёткий и однозначный военно-политический смысл – и вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и Дева, поражавшая Дракона... И применена была эта диспозиция впервые (некоей своей частью) во времена Иудейской войны и, вполне по Л. Н. Толстому, обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.

20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я оцарапал щёку о золочёный багет. Где-то на середине подъёма стекло хрустнуло, и сердце моё оборвалось от ужаса, однако всё кончилось благополучно. Задыхаясь, из последних сил, я протащил картину через коридор, внёс в Комнату и прислонил к стене: полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич – прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожёвывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой.

– М-м-м! – произнёс он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. – Очень неплохо, очень... Вы знаете, Серёжа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

– Ни копейки, – сказал я, отдаваясь. – С какой стати? А если не подойдёт?

– И как это всё вместе у нас называется?

– Не помню... Мотоцикл какой-то... Да там написано, на обороте. Только по-немецки, естественно.

Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.

– Ага... – произнёс он, выпрастываясь обратно. – Всё понятно. «Дас моторрад унтер дём фенстер ам зоннтаг морген». – Он посмотрел на меня с видом экзаменатора.

– Ну, мотоцикл... – промямлил я. – В солнечное утро... Под дверями, кажется...

– Нет, – сказал Агасфер Лукич. – Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.

На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева – развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин;

справа – чудовищный комод с выдвинутым ящиком, на комоде – масса фарфоровых безделушек. Посередине – человек в исподнем. Он в странной позе – видимо, крадётся к окну. В правой руке его, отведённой назад, к зрителю, зажата ручная граната. Всё. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».

– Больше всего ему должна понравиться граната, – убеждённо произнёс наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

– «Лимонка», – сказал к без особой уверенности. – По-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения.

– Правильно, «лимонка», – подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. – Она же «фенька». А в Америке её называют «пайн-эппл», что означает – что?

– Не знаю, – сказал я, принимаясь снимать пальто.

– Что означает «ананаска», – сказал Агасфер Лукич. – А китайцы называли её «шоулюдань» ... Хотя нет, «шоулюдань» – это у них граната вообще, а вот как они называли «Ф-1»? Не помню. Забыл. Всё забывать стал... Обратите внимание, у неё даже запал вставлен... Очень талантливый художник. И картина хорошая...

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал её через два кулака, как детишки изображают бинокль.

– Но, во-первых, – сказал он, – во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем, шарманщик. Или, страшно сказать, ребятишки с гитарой... Это, во-первых. А во-вторых... – Глаза его закатились, голос сделался страдальческим. – Статично у него всё! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение где? Где движение? Вот вы, Серёжа, можете мне сказать – где движение?

– Движение в кино, – сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хотелось есть.

– В кино... – повторил он с неудовольствием. – В кино-то в кино... А давайте посмотрим, как у него дальше там всё развивается!

Человек на картине пришёл в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу «лимонку» и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор. Звякнули стёкла – в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и

взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

– О! – воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. – Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл. – Он снова сделал из кулаков бинокль. – И не вообще мотоцикл, Серёжа, а мотоцикл марки «цундап». Хороший когда-то был мотоцикл… – Он возвысил голос. – Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! Посмотрите, что мы вам приготовили… Сюда, сюда, поближе… Каково это вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой типа «Ф-1», она же «лимонка», она же «ананаска». Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Серёжей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее… Правда, забавная картина?

Некоторое время Демиург молчал.

– Могло бы быть и хуже, – проворчал он наконец. – Почему только все считают, что он – пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести… нет, полтораста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите всё, что он предложит… Каков он из себя?

Я пожал плечами.

– Бледный… прыщавый… рыхлое лицо. Молодой, чёрная чёлка на лоб…

– Усы?

– Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.

– Лицо заурядное, живопись заурядная… Фамилия у него незаурядная.

– А какая у него фамилия? – встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочитать подпись в правом нижнем углу. – Да ведь тут только инициалы, мой Птах. А и С латинские…

– Адольф Шикльгрубер, – проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму. – Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит…

Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развёл руками.

21. – …Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич, – сказал я наконец этому страховому лжеагенту. – Всё-то вы толкуете о своём всезнании, а о чём вас ни спросишь, ничего не помните. Апостолов – поимённо – не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк – не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие… Библиотекарем

Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась – показать не можете. Как прикажете вас понимать?

Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным.

– Чего же тут непонятного? Знать – это одно, а помнить – совершенно иное. То, что я знаю, – я знаю. И знаю я действительно всё. А вот, то, что я видел, слышал, обонял и осязал, – это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете, когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете, про Дорогу Жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну, и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

– Ладно, ладно, не горячитесь, – сказал я. – Понял. Только опять вы всё перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда ещё и на свет на родили.

22. На небольших глубинах тёплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на пне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых (бивалвиа). Речь идёт о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, по тридцати сантиметров в диаметре и до десяти килограммов весом. Пресноводные – значительно меньше, но зато живут до ста лет.

В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и, если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-чёрные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.

Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает тупа по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет – какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, – так возникает и растёт жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин. А стоящие жемчужины – и того реже.

Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П.маргаритафера и существами вида хомо сапиенс имеет место определённое сходство. Только то, что у П.маргаритафера называлось жемчужиной, у хомо сапиенсов того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. Постепенно заполняя правобережье (или левобережье?), они бродили там, стеная и жалуясь, погружённые в сладостные воспоминания о левобережье (или правобережье?). Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней, как товара, была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.

Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. (Так, может быть, раковины П.маргаритафера воображают, будто каждая из них несёт в себе жемчужину.) Иоанн Агасфер очень быстро обнаружил, что это – заблуждение. Да, каждый хомо сапиенс в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался её. Ну, конечно, не один на тысячу, всё-таки чаще. Примерно один из семи-восьми.

Некоторое время Иоанн-Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нём. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомирная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятности, математической статистикой и теорией графов. (Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его.) Попервоначалу он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он ещё не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбуждение общественного спроса на тени. Массовая скупка товара. Создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по «шёлковому пути» к парфянам и дальше, в Китай... Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь.

И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать

и приобретать всё новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида хомо сапиенс таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспламеняют его. Он мечтал уже о селекции и – кто знает? – может быть, о синтезировании их вне раковин... Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими всё на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза.

Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немногого и стоили – мелкий тусклый грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось: он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок.

Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор.

Прохор, сделавшийся к тому времён и сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, драчливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, – этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты!

Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже вовсю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при порогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что ни месяц, на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны, и слышали только то, что способны были воспринять жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору.

Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом попривык и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время, и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким сорокапятилетним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.

Году этак в девяностом Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать своё евангелие, которое должно было стать лучше всех других, известных к тому времени, вариантов описания жизни Учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своём честолюбии и жадно выспрашивал всё новые и новые подробности времён ученичества Иоанна в звании апостола.

Его мощно было понять. Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом.

Идея сделки лежали на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущённо улыбалась. Каждому казалось, что он получил телёнка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом, – облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку.

Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, Вечного Жида, Искателя и Ловца Жемчуга Человечьего.

Десяток лет спустя, находясь в Йасрибе, в славной лагуне человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн-Кутабы, странствующего поэта и новообращённого христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в девяносто восьмом году в Эфесе.

Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил впросте, по-человечески. Он велел закопать себя живьём при большом стечении народа.

Воистину, прав был Эпиктет, сказавши: «Человек – это душонка, обременённая трупом».

23. Теперь их было уже трое. И у каждого...

ДНЕВНИК. Уже 20 июля. Ночь, 1.30

Около одиннадцати позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться. Срочно. Мы встретились в «Кабачке», и он с ходу объявил мне: «Ну, всё. Доигрались вы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени, я даже перепугался. Оказалось (по его словам), что статья Г.А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей. Как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов, и ещё скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода, у нас всё-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или, там, на «тридцатке». Г.А. одного в город не выпускать – ни в коем случае, рядом чтобы не меньше трёх мужиков, да поздоровее, не таких, как ты...

Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему: что ты мелешь, мы с Г.А. весь день по городу ходили, что ты панику разводишь, паникёр? «Это вы сегодня ходили, – сказал он. – Завтра уже не похо́дитё. Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идёт про ребятишек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то.

Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с три сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим, с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добры молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стёкла. Всё это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал.

Длился этот пандемониум минут двадцать, а потом на своей «ноль сорок третьей» примчалась ураганом красотка Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счёта повезли в Ташлинский Центр

смотреть новейшую серию «Термократора», родители были расточены и разогнаны, добры молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу.

Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой – дикость ведь, двадцатый век! Главное, я никак не мог понять: зачем была эта демонстрация? Что им было надо? И кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на «субботник», всё уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлёстывают.

«А ты-то куда смотришь? – спросил я, ощутивши вдруг приступ неописуемой злости. – Тоже на „субботник“ настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека». И мы тут же поцапались.

Ни в чём я его убедить не смог – может быть, потому что сам потерял ориентировку. Всё-таки это довольно нелепая ситуация – ты говоришь: «Так делать нельзя», а когда тебя спрашивают: «А как нужно?», – ты отвечаешь: «Не знаю».

В конце концов Иван угрюмо сказал: «Ладно. Я сюда не спорить с тобой пришёл. У тебя своё, у меня своё. Ты про Носова своего всё понял, что я тебе сказал?» Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Г.А. в городе – человек номер спин, тут и говорить не о чём. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестёрку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака, – сказал он мрачно. – А там ухе как знаете».

На том мы и расстались, и я сразу же побежал к Г.А. Оказалось, что у Г.А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г.А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам до́лжно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только по двое. Девочек – сопровождать. Но! Силовые приёмы – только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая: дискуссия с враждебно настроенной толпой – не с коллективом, а с толпой. Хорошая практика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее.

Я встал и поднял вопрос о его, Г.А., безопасности. В конце концов главная злоба города направлена не против нас, не против лицея, а против Г.А. лично. К моему огромному изумлению, Г.А. тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: мы должны знать и помнить, что не только

он, Г.А., но и наш лицей как учреждение определённого типа давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицея на существование. «То, что под ударом сейчас оказался я, – это полбеды, а самая беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще».

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Напоминаю: действие происходит в самом начале тридцатых. Вот-вот появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца двадцатых годов. Основное обвинение против лицеев: они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицеи – принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими – с известной долей вероятности – развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.) Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли её по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольдик. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г.А. Ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с коими он вполне согласен, он тем не менее хочет подчеркнуть, что Г.А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него (по мнению Аскольдика) требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил её ещё больше.

Г.А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать, он ставил перед собой совсем другую задачу – заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься.

В ответ на это вконец распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г.А. не выполнил. Своей статьёй он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что десять человек в городе, может быть, и задумались, но зато десять тысяч только вконец остервенились.

Г.А. не стал с ним спорить. «Десять задумавшихся – это совсем не так мало, – сказал он примирительно. – Дай бот каждому из вас на протяжении всей жизни заставить задуматься десять человек. Не к

народу ты должен говорить, – продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью, – но к спутникам. Многих и многих отманить от стада – вот для чего пришёл ты... Откуда?» Никто не знал, и Г.А. сказал: «Ницше. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с поклонниками».

И велел всем идти спать.

ДНЕВНИК. 20 июля. 11 утра

Мы в осаде.

В семь утра нас поднял на ноги дикий рёв, лязг, гром, одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. Добры молодцы. Человек цвести, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включённый на полную мощность, и, кроме того, они приволокли ещё десяток стационарных звучков, каждый ватт на сто, и эти звучки тоже работают вовсю. Надо же – не поленились! Не поленились притащить звучки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города!», «Долой дворянское гнездо!», «Лицеисты, стыдно! Вы должны быть с нами!» Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты, но что орут – ничего не слышно за музыкой.

Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиною к нам ребята из городского патруля. (Не без удовольствия узнал я среди них Серёжку Сенько, Рената Гияттулина, Рейнгарта Хансена с биологического и – с особенным удовольствием – Ивана моего родимого Дроздова.) Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе, чем на два шага, к ним не приближаются. Не сразу заметил я в сторонке два «лунохода» и кучку милиционеров. Угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии.

Сначала всё это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем, это я помню точно.

Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелёгкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субаксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу – наводить порядок. Исполненный железной твёрдости,

беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нём с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной, и только втроём мы сначала притормозили, а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щёки, он принёс нам извинения за свою горячность, и мы все направились к Г.А.

И вот тут на меня накатило. Воображение моё ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольдик вырывается от нас, врезается в толпу, и что тогда начинается? Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что всё держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнёт и нас, и ребят из патруля, и милицию, – не только в том смысле, что зверьё растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверьми.

(Страшная штука – неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытан страх – но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином, с каждым шагом к выходу сам всё более превращаясь в зверя.) Пока мы шли к Г.А., мне объяснили, что лицей, оказывается, пуст. Кроме нас в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя – никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтёр таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход.

Г.А. спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду – отправиться на кухню, готовить завтрак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра?

Де Сааведра тут же появился. Оказывается, всё это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеоплёнку, правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был – встрёпанный, в одних трусах, и аппарат на ремне, как автомат. Г.А. посмотрел на него с одобрением и продолжал: к окнам желательно не подходить. То есть если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений. Стёкол жалко.

Мы разошлись по постам.

Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Всё-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.

Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога... Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма... Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством... Претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма... Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города – через посредство административной высылки в установленном порядке...

Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодёжные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного, и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу – военный комендант.

Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рёв – действительно глас народа. Видимо, Г.А. своей статьёй попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре – почти ни слова. Такое впечатление, что про неё забыли совсем. Мне даже в голову пришло, что Г.А., может быть, нарочно выступил со своей статьёй, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.

В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намёки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями, совершенно личными, весьма далёкими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г.А.Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а потом уже заниматься общественными?

Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул из меня и спросил: «Ты что – не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь», – пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну её к чёрту.

Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии – цитирую дословно из «Известий»:

«Ташлинск, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству

высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачёва...» и так далее.

А мы-то, дураки, тут переживаем!

Имеет место определённая эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лицея будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично...» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканьем и хрюканьем. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько сцепок пустились в пляс.

Аскольд наладил мегафон и предложил Г.А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г.А. резко ответил: «Нет. Мне всё равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (23–25)

23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый их них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.

Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Пётр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой – скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней – Библия в издании Московской патриархии. Простой – и даже простейший – стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремлённость. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом – под койкой.

Парасюхин псе был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приёмной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной

невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застеклённых шкафа невыясненного назначения; книжную стенку вместе с муляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрёт под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разноразмерные (двенадцать, дюжина), бюстгальтеры женские разноразмерные (семь)... Много чего он уволок, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упёр что-нибудь из моего рабочего инвентаря.

В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскошные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда прибор), на одной стене – Сусанна в тяжёлой золочёной раме, на другой – портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и чёрной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку, над роскошной постелью – бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дём фенстер ам зонтаг морген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки – подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встаёт, тому Бог даёт». В дальнем углу – огромное старинное зеркало, местами потемневшее, – перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и неколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютлихькайт. И запашок, как в борделе.

А вот кабинет, или, точнее, обиталище, Матвея Матвеевича Гершковича (Мордехая Мордехаевича Гершензона) являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, судками и особыми баночками – Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь трефного. (Не то, чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток).

Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натёрт и блестит, на аптечной тумбочке – ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежепромыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещён на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в который уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына».

В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремлённости, чтобы убрать свою комнату от альфы по омеги. Он теоретик. Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично. Как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщение, и только мне... Казалось бы, дай ему волю, – и полмира насилья ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремлённости, чёрт её подери совсем. Мешает, чёрт её подери совсем, природная незлобивость, а также врождённая убеждённость, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось.

Он из тех знаменитых евреев, которые способны выразить приступ острого антисемитизма у самого Меира Кахане или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился со вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. Пять рублей в день, ну и что? Это недорого. Обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль тридцать. Вот, я вижу, вы всегда берёте яйца по рубль тридцать. А я могу брать

по девяносто, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яички. Вы – молодой человек, вы этого не понимаете, что главное – это устройство с питанием...

Кто может выдержать такое? Разве что Пётр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу вполоборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича. К злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном армагеддоне или, наоборот, возвысить?

Непроспавшийся же и злой антисемит Парасюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку.

Однако в отличие от известного историка Матвей Матвеевич (Мордехай Мордехаевич) ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные, своекорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать всё, а без знакомства человек ничто – особенно, если он не сумел как следует устроиться с питанием.

Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Парасюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать

овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишённый даже возможности бежать, заткнувши уши, испускает из себя освящённую веками нутряную исступлённую жалобу: «Да господи же боше мой! Ну нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься – везде ведь они!»

Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрёпанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой – бисквитик, а на устах – бессмертное: «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды...»

Происходит двойной взрыв. Парасюхин взрывается потому, что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишён даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства.

Дуэт:

– Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич! Довольно странно, что вы, при вашем опыте, при ваших знаниях, норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации! Ведь вы же русский человек! Что вы тут нашли смешного? Да, выпили! Если нет воды, значит, именно они и выпили! В прямом или в переносном смысле! И ничего смешного!..

– Что значит – жиды? Причём здесь опять жиды? Почему у вас во всём и всегда виноваты жиды? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами – древний еврей! И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста! Пейте! Открывайте кран и пейте!..

Пётр Петрович Колпаков неопределённо улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марека Парасюхина. Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь:

– Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом – в унитаз, в унитаз!..

Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим – чёрным фломастером по белому кафелю кухонной стены – напоминание: «Lasciate ogni speranza»[3] Что держит меня здесь? На что я ещё надеюсь? Почему давным-давно не сбежал?

---

[3] «Оставь всякую надежду». Данте, «Ад», песня третья

Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то ещё жду.

Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены.

Вот сейчас, например. Пожалуйста. Я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привёл с «плешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности – славяно-арийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомлённая, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает всё.

Сегодня шестнадцатое ноября. Опять. И опять всё та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег.

А может быть, это Сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового Агасфера?..

24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя, как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с лёгким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний «Астрофизикл джорнэл», и он по крайней мере наполовину был посвящён моим «звёздным кладбищам».

Ганн, Майор и Исикава, независимо друг от друга приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал своё дело.

Ничуть не отставая от них, Семён Бирюлин, используя данные нашего «Луча», подтверждал мои «кладбища» в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых всё выглядит именно так. И ещё большая методологическая статья Де-Прагеса... и ещё два письма каких-то незнакомых китайцев...

Удивительно, но всё это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошёл в своё время

в дикую, унизительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск «Астрофизикл джорнэл» или хотя бы «Астрономикл лэттэрз».

Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным облегчением и утолённой гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомойник и теперь вот придётся идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в «Галантерею»...

И когда я поднял глаза на Агасфера Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» – с обидой и упрёком произнёс он и тут же сделал мне выговор.

Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, Агасферу Лукичу, чтобы подвигнуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упрёков было обрушено, сколько досады было вымещено, – вообще сколько времени было потрачено, драгоценного, невосполнимого времени известного лица? И наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие, – и всё для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного, избалованного теоретика!..

Большею частию всё это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упрёков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все былые чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говаривал сэр Редьярд Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего С. Манохина с его маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Манохиным. Я был теперь мелким лемуром в безотказном услужении у непостижимого чудовища, только в отличие от фаустовских лемуров я сохранял способность сознавать и всё ещё пытался разобраться в происходящем, упростить его до такой степени,

чтобы оказаться способным его понять и, следовательно, – хоррибле дикту! – влиять на него...

Агасфер Лукич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих репримандов на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определённое беспокойство. Я плохо ем. Я почти не улыбаюсь. Я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвёл, имея в виду моё духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно...

Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И всё это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня.

Сначала я (впопыхах и сгоряча) вообразил себе, будто оказался секретарём, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося наконец на Землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный Суд. Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в моё сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретённых материалистических представлений, с одной стороны, и железной логикой наблюдения – с другой. Это было время, когда моё душевное здоровье находилось под самой серьёзной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно.

К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных (скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов-Водкин и неописуемая Селена Благая) благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасён, однако ненадолго.

Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего Космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого – вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей Космократ обрушил своё внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем,

чтобы Космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления.

Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неописуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадёжности, за которыми вновь встаёт призрак безумия.

Ибо, несмотря ни на что, я всё-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей. Несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями порождаемых и извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей. И несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, несмотря ни на что, остаюсь.

Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращённости даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова: раз уж Космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же, то есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нём сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он, здесь, перед вами! Глядите и приступайте!

Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплёскивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!..»

Признаюсь, ему-таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно – ощущать себя просматриваемым насквозь, да ещё глазом бывалого микропсихолога. И в то псе время я испытывал определённое облегчение человека, болезнь которого наконец названа и признана пусть тяжёлой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и

раздражённые толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал.

Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня всё это. Но ведь я же всё-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывают, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту.

По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу?

Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить Вселенную добром, решило по крайней мере избавить её от зла? Как мне это понравится: собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравши, – утопить в Тускарорской впадине? «Всех утопить!» Фауст. Пушкин.

Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней по крайней мере одного преимущества – преимущества оптимизма?

Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанья в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность. Его грубость. Его брезгливость ко мне подобным. Его истерики. Наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание…

Всё это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости. Его метаний. Его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятного, но явно тяжкого креста. Этой его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных

распоряжений… Да в силах ли я понять, что это такое: пребывать сразу во всех восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб!..

Да в силах ли я понять, каково это: вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всём том тебя не узнают! Никто. Никаким образом. Никогда. Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого. За того, кто презираем тобою и вовсе недостоин узнавания!.. Проклятые годы. Что делают они с нами!..

Да в силах ли понять я, каково это: быть огранненно всемогущим? Когда умеешь всё, но никак, никак, никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого… Когда всё, что ты умеешь, и можешь, и создаёшь доброго, – отягощено злом?.. В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него, а время всё проходит, оно только проходит – и для него, и сквозь него, и мимо него…

Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздражённого презрения:

– На кухне! Из четвёртого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете?

25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся оттого, что неподалёку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, – гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке.

Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих – Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать и о чём они бубнят, сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности всё возвышающийся тон мне решительно не понравились, я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжёлый шестопёр и высунулся в коридор.

В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом – Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал.

Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели: был он в своём бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне ещё по гостинице «Степной», из-под рубашки торчал угол чёрного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита, он даже накладное ухо своё не нацепил, оставил в гранёном стакане с агар-агаром...

Невидимый мне визитёр гортанно выкрикнул что-то насчёт того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости Милостивого, ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело – доить верблюдиц и подвязывать им вымя. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнёс, почти пропел, явно цитируя:

– «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте». Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?

Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопёр на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал даже, жирный старик в синих шёлковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бёдрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежевыбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, чёрное от солнца, тоже было в саже, и белая растрёпанная борода была захватана грязными руками, а чёрные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чём остановиться.

Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо неё огромный треугольный проём, и из этого проёма высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра (совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуром Длинноносым ввалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега). Абитуриент стоял на своём ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зелёный линолеум.

– Демон зла и падения Абу-Сумама! – после некоторого молчания возгласил абитуриент. – Снова и снова заклинаю тебя: перед тобой смертный, который нужен Рахману!

– Муджжа ибн-Мурара, – явно пародируя, ответствовал Агасфер Лукич. – Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и

благодетеля племени своего Масламу Йемамского, снова и снова отвечаю тебе: ты не нужен Рахману!

Муджжа ибн-Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проёма.

Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там – то ли костёр, то ли жаровня, – и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском, – вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белёсое лицо с чёрными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта.

– Я свидетельствую: ты лжёшь, Абу-Сумама! – прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. – Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!

– Он не захочет, – равнодушно сказал Агасфер Лукич. – И Омар ибн ал-Хаттаб обойдётся без тебя. Он заберёт Египет мечом Амра. И без особенной крови, между прочим…

– Омар ибн ал-Хаттаб – жалкий пёс и выскочка! – взвизгнул толстяк. – Он стал халифом только потому, что Пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери! Клянусь тёмной ночью, чёрным волком и горным козлом, кроме этой дочери, нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

– Клянусь ночью мрачной и волком смелым, – отвечал Агасфер Лукич, – у тебя, Муджжа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману.

Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.

– Я не прошу службы, – прохрипел он. – Я прошу милосердия… Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи… Пусть Рахман оставит меня у ног своих!

– Нет тебе места у ног Рахмана, Муджжа ибн-Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья – извечно не сытый; пятнистый короткошёрстый; и гривастая вонючая… Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут – слишком ты сделался стар и мирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет…

Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне всё время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и всё же пропустит его

пред светлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда.

И как видно, толстый старый Муджжа тоже понял это. Выкаченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испепелить ненавистью.

– Лишённый стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумамы, – просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. – Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн-Унфува, прозванный Раххалем! Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!

Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.

– Клянусь пустым кувшином и высосанной костью, – сказал он с усмешкой. – Ты никому не сможешь ничего отрубить, Муджжа ибн-Мурара. Здесь тебе не Йемама, смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатёр.

Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезабилье, даже Селена Благая. Только Пётр Петрович Колпаков счёл необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас».

Наверное, с точки зрения средневекового араба мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж, во всяком случае, фантастическое. Однако Муджжа либо был не из трусливых, либо уже на всё махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, всё сильнее сутулясь, всё шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.

– Ты, Раххаль, – произнёс он, захлебнувшись, – шелудивый бродяга и бездомный пёс. Ты смеешь называть меня предателем. Предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме!..

– А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама! – вставил Агасфер Лукич, но Муджжа его не слушал.

– Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника! Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн-Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись преступить справедливость и обычаи? Посланником Пророка был Хабиб ибн-

Зейд, а ты велел схватить его, мирно возвращавшегося, и отрезать ему обе руки и обе ноги, – ты, Раххаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Сход!

– Пустое говоришь, – снисходительно сказал Агасфер Лукич, – и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам: презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Всё получившее благословение Масламы он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодяя, и руки, рассыпавшие яд.

– Свидетельствую, что ты лжёшь! – отчаянно выкрикнул Муджжа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта. – Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были злом для детей, для земли и для воды йемамской! Ты, Раххаль, раб лжепророка, предавший и его, вспомни сражение у Акрабы! Может быть, стыд наконец сожжёт тебя? Ты, бросивший своё войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа умирать под саблями жестокого Халида! Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все по единого, кроме тебя!

– А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени…

– Лжёшь ты и лжёшь! Железо оков проело мясо моё до костей моих, слёзы прожгли кровавые вади на щеках моих, но, когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа, я обманул Халида!.. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый чёрным самумом! Это похоть гнала тебя! Клянусь чёрным волком, похоть, похоть и похоть! Ради бабы ты бросил всё – своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности; и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости; и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали «Раххаль! Раххаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполнить таким образом его душу…

– Я не советую тебе говорить об этом, – произнёс Агасфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук пробежал у меня по голой груди.

Но Муджжа уже ничего не слышал.

– …однако лжемилостивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом – и без вожделенной души его, и без своей вожделенной бабы! Ты, Раххаль, дьявол при лжепророке, преуспевший во зле!

Муджжа замолчал. Он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он ещё говорил что-то, и клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица Агасфера Лукича. А тот медленно проговорил всё тем же страшным, кусающим душу, голосом:

– Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджжа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают, им нечего больше скрывать и незачем больше томиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю я тебя, Муджжа: не было этого, не било этого, не было.

Тогда Муджжа засмеялся.

– Записочку! – проговорил он, захлёбываясь смехом и пеной. – Записочку вспомни, Раххаль! – хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, тряся отвислыми грудями и огромным брюхом. – Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы... Ты помнишь её, я вижу, что ты не забыл! Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал! Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его – это Бара ибн-Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Раххаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов!

И сейчас же, без всякой паузы:

– Ты позволил себе недозволенное, – произнёс Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раххаль. – Ты должен быть строго наказан.

«Милиция!» – ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдёт. Мы все поняли, что сейчас произойдёт. И уж, конечно, Муджжа ибн-Мурара понял, что сейчас произойдёт. Рука его нырнула во тьму треугольного проёма и сейчас же вернулась с широким иззубренным мечом, но Раххаль шагнул вперёд, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое чёрное лицо над испачканной бородой враз осунулось и стало серым... храп раздался, наподобие лошадиного, и страшный плеск жидкости, свободно падающей на линолеум.

Тут я, видимо, на некоторое время вырубился.

Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич. «Милиция! – кричал он. – Милиция!» Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал Марек Парасюхин... А Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе:

– Тише, тише, граждане! Ничего страшного, всё будет путём. Идите, идите, я тут всё сам приберу…

Exit Муджжа ибн-Мурара, наместник йемамский.

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад…

ДНЕВНИК. 20 июля, 13 часов

Мы остались без Мишеля.

За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь гнал на машине, как сумасшедший. Была очень тяжёлая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжёлом приступе (начиталась газет, наслушалась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи), и Мишель её просто убьёт, если не приедет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся, – я не стал на это смотреть, ушёл подобру-поздорову.

Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался. Любой в таком положении сдался бы. Тем более что у нас здесь ничего страшного не происходит, толпа основательно подрассосалась – надоело, опять же и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своём посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше.

Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через два дня снова будет здесь.

Без Мишеля тускло.

20 июля, 15 часов

Плохо дело.

В два часа в дверь позвонили. Это явился Первый и с ним ещё какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохромных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: «Плохо дело», – хотя ещё не понимал, что именно плохо и почему.

Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Г.А. Я повёл их под перекрёстными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице Первый изволил пошутить: «Ну как вы тут, осаждённые? Крыс уже всех подъели?» Мне было не до шуток.

Я запустил их в кабинет Г.А. и остался сидеть в приёмной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика: раз уж сам Первый нанёс визит, значит, всё будет ОК.

Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам Первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г.А. это может означать только одно: дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно... демократия... позиция первичных партийных организаций... наробраз... комсомол... невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определённо... разумеется, мы учтём все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем, но сегодня, сейчас... и не обращайте внимания на выпады экстремистов... культура дискуссий у нас пока ещё далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся... но все мы ни на минуту не забываем, что вы – гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец!..

Всё это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. (А может быть, я действительно всё это слышал? Только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности.) Когда они вышли от Г.А., я ещё владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я всё ещё сдерживался. (Лицо у Г.А. было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не смотрел.) И я ещё сдерживался, пока вёл их по главному коридору, вывел на лестничную площадку и вот тут сдерживаться перестал. (Г.А. с нами уже не было, он вернулся к себе.) К сожалению, – а может быть, к счастью, – я плохо помню, что я им говорил. И спросить не у кого – ни одного из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. Вы предали его, сказал я. Он так на вас надеялся, он до последней минуты на вас надеялся, ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а вы его предали, (Щёголь в фотохромных очках, кажется, пытался остановить меня: «Не забывай, с кем ты разговариваешь!» И я тогда сказал ему: «Молчите и слушайте!») Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка!..

И ещё что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: «Так ты что же – веришь во все эти его фантазии?» «Нет, – сказал я честно. – К сожалению, нет. Умишка у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю: пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения. И в сто раз нужнее всем нам».

Они обошли меня с двух сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед. А может быть, и не говорил, может быть, только думал. Вы сейчас послали его на крест. Вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день, – как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодцевато отдают честь...

И с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылков,

20 июля, половина шестого вечера

Подуспокоив нервы, отправился к Г.А. посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали, Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка всё время подкладывала мне плюшки. Видимо, они всё-таки слышали, как я орал на Первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный.

Потом Г.А. посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Пётр Викторович вознамерился сегодня, на неделю раньше срока, выступить с ежемесячным обращением к своему городу.

Обычная двадцатиминутная речь. Как всегда жовиален, прост, округл, хитроват и задушевен. Наши немалые достижения и главным образом наши недоделки, недостатки и недодумки. Средства освоены, с одной стороны, сроки не выдерживаются, с другой стороны; приток валюты, с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы, с другой стороны; не умеем ещё как следует работать, с одной стороны, отдыхать совершенно разучились, с другой стороны...

И только в самом конце, без особого нажима, как о делах, всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, – сначала о работе санэпидслужбы города (недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной

эпизоотии у сусликов), и только потом, наконец: «В окрестностях города у нас уже который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на десятом километре, в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали. Уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу. К сожалению, безуспешно. Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чём нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет». И снова – об осушении Ерёминского болота, о мерах против бродячих животных, ещё минуты две жовиальности и простодушия и: «До следующей встречи, спасибо за внимание».

Вот так. Спасибо тебе, Пётр Викторович. «На мэра, надейся, но и сам не плошай... Кто за доброе дело, тот мой союзник».

Г.А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За всё человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть – только на Г.А., да и то исподлобья.

Тут Г.А. пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайла Тарасович, вяловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Г.А. шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать своё мнение по поводу вчерашней статьи.

Г.А. прервал его немедленно. Что же это такое? Значит, завтра всё-таки акция? Михайла Тарасович подувял и со вздохом развёл руки: что поделаешь, такова жизнь. Г.А. сказал очень резко: «Как же вам не стыдно? Вы же обещали!» Михайла Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво: «Что это я вам обещал? Ничего я вам не обещал!»

Г.А.: Стыдно, Кроманов. Стыдно! Перед людьми за вас стыдно! А что будет, если я расскажу всем о нашей договорённости?

М.Т.: О какой ещё такой договорённости? Не было никакой договорённости... Вы, Георгий Анатольевич, говорите, да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь, я в договорённости с частными лицами не вступаю!

Г.А. молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михайла

Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции.

М.Т. (чеканит): Я бы попросил вас не забываться. Намёков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более, извольте знать меру и понимать порядок...

И ещё что-то в этом же роде, исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы.

Г.А. всё молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михайла Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Си приостанавливает свои речи, надувает щёки и медленно выпускает воздух.

М.Т. (тоном ниже): В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договорённость... Какая может быть в таких цепах договорённость? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить!.. Сокрытие информации, важной для следствия... пособничество преступлению, между прочим... укрывательство, если угодно! Это всё, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться...

Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на Г.А., потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво:

– Да не переживайте вы так, Георгий Анатольевич! Ничего там страшного не будет, в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены, по закону сорок восемь часов будут сидеть как миленькие. Личный состав проинструктирован, эксцессы будем пресекать в зародыше... Что ты, в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы асе прошло гладко, без драки, без крови... Неужели ты не понимаешь?

Г.А. выключает телефон.

Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадёживающее, не обнаружил и сказал:

– Всё. Вот теперь уж окончательно всё. «...Всегдашний приём плохих правительств – пресекая следствие зла, усиливать его причины». Откуда?

– Ключевский, – сейчас же ответил Аскольд.

– Правильно, – проговорил Г.А. уже рассеянно. – Впрочем, один шанс у нас ещё остался...

Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г.А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через десять секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый

зелёный куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошёл примерно следующий разговор.

Г.А.: Гарик, мне надо срочно увидеть нуси.

Гарик: Нуси в ложе.

Г.А.: Пусть придёт, когда выцветет.

Гарик: Он выцветет к дождеванию.

Г.А.: Скажи, чтобы пришёл как можно скорее. Я буду его ждать.

Гарик: Трава на ветру (или что-то в этом роде).

Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой нуси, но я-то знал и, хотя жаргона не разобрал, догадался, что Г.А. вызывает к себе главаря Флоры, скорее всего чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. И самый лучший выход – и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто – уговорить их уйти, – Г.А. давным-давно бы их уговорил.

Г.А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: «А как понимать все эти слова – про сокрытие информации, про преступление?» (Поразительно всё-таки холодная задница, этот Аскольд!) Г.А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он всё-таки ответил: «Это надо понимать так, – сказал он, – что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников».

20 июля. семь вечера

Потому что тогда он сразу переставал быть учителем. И в истории он как учитель уже не значился.

Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими, – как они насчёт завтрашнего? Пойдут все как один? С развёрнутыми знамёнами? Может быть, ещё и хлебнут для храбрости? Акция ведь всё-таки – дело новое, непривычное!

Поздно спохватился. Перец лицеем уже никого нет, одни окурки катаются, да кучка добрых молодцев, окружив последний звучок, препирается, кому его отсюда тащить. И ещё стражи порядка прохаживаются в отдалении. («В отдалении реяли квартальные».) Появился Ираклий Самсонович. Длинно и путано объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра каши.

Объявилась библиотекарша. Сделала мне выговор, что не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрубил ей. Хамло я такое.

Тоскливо. Аскольда видеть не хочу (что дурно). Зойка в миноре, а Иришка твердит как заклинание, что всё будет хорошо.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (26–27)

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров.

Был некто Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раджаль или Раххаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий», или, говоря попросту, «бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нём в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионером и связником в Йемаму, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену-Ханифа.

Конечно, в то время никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда: почётный Маслама, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись я различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «Масламишка задрипанный».

Раххаль выбрал Масламу. Он остался в Йемаме, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемаму.

Слава о нём распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуется, а потому и преуспевает во зле. Сам Пророк незадолго до смерти говорил о Раххале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Сход. (Видимо, Сход был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что, когда Раххаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим.) Наследник Мухаммеда халиф Абу-Бекр в первую голову решил заняться

усмирением Йемамы. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда ещё не было. Лихие кавалерийские наскоки Икримы ибн-Абу-Джахля, равно как и Шурхабиля ибн-Хасана, были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Йемамы сделалось тяжёлым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн-Хасан, с востока – ал-ала ибн-ал-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут ещё с севера обрушилась на Йемаму и дошла до самого харама (обиталища Масламы) христианская пророчица Саджах из Джезиры с двумя корпусами диких темимитов на конях и верблюдах.

Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка. Ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Йемаму за зерном и вообще за добычей.

Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Йемамцы презрительно называли кочевников-темимитов «люди войлока», а темимиты говорили йемамцам-земледельцам: «Сидите в своей Йемаме и копайтесь в грязи. И первый, и последний из вас – рабы».

Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрёзном виде. Совершенно напрасно: Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни. Да и по возрасту, если уж на то пошло.

Не было скабрёзности в этой истории. Была любовь. Огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей – на бешено фанатичную красавицу-темимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в бога, ни в дьявола Раххаля, друга, руководителя и клеврета самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом-салуком (которого называли иногда вторым Антарой ибн-Шалдадом) в поэме «Матерь запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не пошёл до нас.

Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюблённый дьявол Раххаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала её присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы темимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму

двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн-ал-Валида.

И тут на сцене появляется наш знакомец Муджжа ибн-Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать – спихнуть Масламу и властвовать в Йемаме.

В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы, с тем чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджжу ибн-Мурару, там наместником.

Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска йемамцев дьявола Раххаля в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побеждённых после окончания военных действий. Раххаля предстояло удалить с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах (а может быть, и подлинной, кто знает?). Сам Муджжа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом: он будет ходить закованным в кандалы, полумёртвым от голода и жажды, а в нужный момент он «обманет» Халида, и Халид «попадётся» на этот обман, и слава Муджжи ибн-Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Йемаме, и все Бену-Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки.

Всё прошло как по маслу. То есть замысел Муджжи реализовался целиком и полностью.

Правда, отсутствие Раххаля, противу всяких ожиданий, никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии харама Масламы йемамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба (которому Раххаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела), давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусейлима, дралась, как безумная, и в битве за карам потеряла руку и получила двенадцать боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войско сражаться за своих жён и за свою честь – о вере он упомянуть забыл, – так вот Шурхабиль задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше «бешеный и горячий» Бара ибн-Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама – там, окружённый воющей толпой йемамцев, он, как

безумный, пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство...

В этих сражениях полегло десять тысяч йемамцев. Как военная сила Бену-Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны: список одних только знатных, погибших на поле боя, достигает тысячи двухсот человек.

Муджжа ибн-Мурара исправно разыгрывал свою роль. Измождённый и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножнами жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухаккима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы – Шурхабиля. И конечно же, он опознал труп Раххаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Йемаме.

Над телом Масламы, малорослого, жёлтого, тупоносого человечка, между Муджжой и Халидом при стечении свидетелей произошёл следующий диалог:

– Вот это и есть главный враг ислама, – объявил Муджжа. – Теперь вы избавились от него.

– Быть того не может! – с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. – Неужели этот облезлый привёл вас туда, куда он вас привёл?

– Да, именно так оно и случилось, Халид, – сказал Муджжа сокрушённо. Но тут же гордо выпрямился и произнёс на всю округу: – Однако клянусь богом, не радуйся слишком рано. Пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, по-настоящему опытные жнут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться.

И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах – весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это всё были женщины да подростки, настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось.

Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, вопросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно: жёлтое и белое (золото и серебро) – всё, какое есть; кольчуги и кони – все, какие есть; а от пленных – только половину.

Переговоры начались. Муджжа выступил делегатом от Халида, и всё закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И, наконец, последняя сцена.

Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орёт на Муджжу: «Ты обманул меня!», – а тот, измождённый, но гордый, высоко поднимает голову и ответствует в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторгов. Все валятся ниц. Занавес.

О дальнейшей судьбе Муджжи ибн-Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил Йемамой, обращённой в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему – осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Муджжи возглавить поход мусульман на Египет.

27. **Саджах.**
О Саджах!
Саджах из Джезиры!
Груди твои...

Получив записку, Раххаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый! Я жду тебя в Басре. Спеши, ибо ты можешь опоздать». Четыре месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной. Он уже забыл о нём. Он распорядился вполголоса. Верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что всё готово, он принял из рук Молчаливого Барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхого.

Через десять минут Акраба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было тридцать караванных переходов. Следовало пройти этот путь за десять суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного Под ними были лучшие дромадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии: двадцать бывших таридов, изгоев без роду и племени,

двадцать телохранителей, двадцать поэтов, двадцать побратимов, преданных друг другу по последнего и почитающих его, Раххаля, как самого бога. А может быть, как дьявола. Они никогда ни о чём не спрашивали его, как никогда ни о чём не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях.

Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Раххалю исполнилось шестьсот тридцать четыре года. Любовное безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Раххаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить. Ни войско, ни самум, ни землетрясение. Ни даже море. Ни даже смерть. Так по крайней мере он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали «любимый», и он рисковал опоздать.

Саджах.
О Саджах!
Саджах Месопотамская!
Бёдра твои...

(С непривычно и неприятно стеснённым сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упёршись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в моё колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с иззубренным йеменским мечом Муджжи ибн-Мурары, маленький, нелепый, безобразный, – и говорит, говорит, говорит...) Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных темимитов, уже нацелившиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней и, словно стаи вспугнутых уток, опрометью разлетались кто куда.

Басра.

Её здесь нет уже. Был бой, персы отбросили её, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умирающий от ран танухид клянётся богом своего племени: ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой? Проклятые персы!

Купцы каравана, попавшегося пол ноги, валятся ничком на раскалённый песок, в мыслях своих расставшись уже и с жёлтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самою жизнью впридачу. Некогда! Потом, братья, потом! Вперёд!

Хира.

Она была здесь. Ещё дымятся развалины гарнизонной казармы, ещё причитают, исходя проклятьями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку, ещё болтается верёвка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над несторианами... Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь, она разгромила ромеев и пошла на Алеппо... Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идёт на всю мощь ромеев! Несомненно, это любовная тоска. Он понимает её. Она готова сейчас грызть железо только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает: лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов – словно табуны диких жеребцов сутки напролёт дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползёт по бесконечным пескам... Коней! Где взять коней?

В двух переходах от Хиры он натыкается на кочевье безвестного племени. Кони. Много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя – оно навсегда останется безвестным, больше о нём никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубого. Не хоронить! Некогда! Вперёд!

Сиффин.

Она не дошла до Алеппо. Под Сиффином её встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитера Евпраксия. Они убили её. Им удалось взять её живой, и вот здесь, на Бараньем Лбу, пресвитер Евпраксий предал её ужасной смерти как еретичку и лжепророчицу.

Саджах.
О Саджах!
Саджах, дочь танух и тамим!
Лоно твоё...

Тысячи и тысячи женщин были у него, он никогда не был аскетом, он был лакомка, он и сейчас не пройдёт мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и, видно, вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь

так болит? Ведь её давно нет, она была тринадцать веков назад! Почему же так мучительно ноет, ломит и саднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду?

О Саджах.

Насмерть перепуганный сиффинец не только показал, по какой пороге ушли ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Раххаль увидел дымы их костров. Дальше всё было делом техники. На рассвете четвёртого дня они уже скакали назад. Рядом с Молчаливым Барсом, перекинутый через спину подсменного жеребца, дёргался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитера Евпраксия (взятого в полевом нужнике со спущенными штанами).

На Бараньем Лбу в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели Саджах проделал Раххаль с пресвитером всё то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские статьи. Пресвитер Евпраксий кричал, не переставая, все два часа. Раххаль не слышал его. Чувства в нём отключились. Он только вспоминал.

Губы твои...
Глаза твои...

Что же всё-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной, – умный враг состряпал её для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить всё и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен? Ведь и действительно, если судить по всем действиям Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в своё удовольствие – лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от неё к Раххалю ни связных, ни гонцов, ни пересыльщиков. И только в любовном своём безумии способен был объяснить хитрый, многоопытный, осторожный Раххаль поступки её как любовное безумие хитрой, многоопытной, осторожной воительницы.

Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабель. И тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту

фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь, получи её Раххаль хотя бы тремя днями раньше, всё обернулось бы по-другому.

Ну, конечно же, возлюбленный у неё был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что возлюбленный был – молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака Вашхии ибн-Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама. Однако Раххаль не мог ревновать. Он точно знал: абиссинец дрался за Саджах по последнего своего вздоха, – утыканный ромейскими стрелами, иссечённый ромейскими мечами, проткнутый ромейскими пиками, залитый своей и чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица.

А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн-Малик быть её возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Муджжа ибн-Мурара в своём мучительном предсмертном стремлении уколоть побольнее солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал, что нельзя представить себе соперника, более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн-Малик.

Да разве в сопернике дело? Какая разница – абиссинец, Бара ибн-Малик, ещё кто-то, – они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев её, не превратился бы в воспламенённого леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Раххалю, прекрасно понимавшему своё физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней...

Муджжа ибн-Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень, очень больно. Потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым. И вмиг воспалившееся воображение нарисовало картину поистине адскую: молодой, ловкий наёмный любовник, мастер и ходок, подосланный расчётливым негодяем, диктует задыхающейся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать.

Почему эта мысль, такая простая, такая естественная, не пришла ему в голову тогда, тринадцать веков назад? Он бы нашёл этого наёмника. А сейчас даже глины не найти, в которую обратились его шести...

Уста твои, страстной неге навстречу раскрытые,
Лоно твоё, как нехоженый луг, молодыми сочащийся травами.
Кипящая жизнью, нетронутая, нежная мякоть груди,
И затуманенный взгляд, призывающий твой...

(Я смотрел, как он плачет мутными, старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно, никогда не распадается цепь времён, ибо воистину, как смерть, крепка любовь, люта, как преисподняя, ревность, и стрелы её – стрелы огненные...)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа...

ДНЕВНИК. 20 июля, около полуночи

Странно, мы никогда не думали о семейной жизни Г.А. Знали понаслышке очень немногое, и этого нам хватало вполне. Это было для нас неважно. Знали, что жена его умерла пятнадцать лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась до время первой эпидемии «африканки» и погибла. Знали, что у него двое детей, сын и дочь, но где они, кто они – никого это не интересовало. Г.А. для нас всегда был Г.А. – одинокий, единственный и самодостаточный. Без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам.

Г.А. провожал нуси к выходу, а я подслушивал. Это был безнадёжный конец какого-то безнадёжного разговора. И нуси сказал: «Папа, зря ты мена позвал, и зря я к тебе пришёл. У тебя свои ученики, у меня – свои. У вас, папа, своя правда, а у нас – своя». Они говорили ещё что-то, но я стоял, как пыльным мешком трахнутый, и ничего больше не слышал и не понимал. «Папа»! Понимаешь теперь, на что эти гниды намекали? Не знаю, что писать. В голове не помещается.

21 июля. Два часа ночи

Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что в детях гениев природа отдыхает. А во-вторых, если подумать, нуси-то ведь тоже учитель – и причём самого высокого класса! Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустыню идеей...

Неужели Г.А. угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться, будучи в полном праве, как равные, а в перспективе, может быть, и в большинстве... Господи, бедный Г.А.

А может быть, не такой уж и бедный? Пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию!

Гордись, Игорь Всеволодович, ты хорошо сказал сегодня: «Если он даже ошибается, каждая его ошибка в сто раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения».

«The uncommon man wants to leave a world different from what the found; a better, enriched by his personal creation. For this he is willing to sacriface much or all of the happiness that the common man enjoys.»[4]

РУКОПИСЬ «ОЗ» (28–29)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа, до самого обеда.

Когда я вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из эмалированной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми от грязи плоскостопыми ножищами. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под всклокоченной пегой шевелюрой. Дрисливый гусёнок. Лет ему было, наверное, не более шестнадцати, голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали «бутон д'амур».

Когда я вошёл в кухню, он шарахнул в мою сторону паническим взглядом, но, не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провёл пальцем под носом и снова вернулся к хлёбову. Я только глянул на его неописуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почуял ещё в прихожей. Этот бурнус не стирали. Никогда. И не снимали тоже. Его только носили. И днём, и ночью. В нём даже наверняка ни разу не тонули.

– Кто таков? – спросил я грозно.

Бригада моя, сочувственно окружавшая носителя бурнуса, безмолвствовала – как мне показалось, трусливо и виновато.

– Кто впустил? – продолжал я, беря тоном выше. – Почему не сделали санобработку? Инструкция не для вас писана? По холере соскучились?

Кто его впустил – так и осталось неизвестным. В конце концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую, – и всех делов. Бывали такие случаи. И не раз. А вот пакетным супом (овощным со специями, тридцать семь копеек пакет, счёт прилагается) его накормил сердобольный Марек Парасюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическое милосердие и славянская широта натуры.

---

[4] Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным, нежели тот, в который он явился, – лучшим, обогащённым его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей или даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный.

Дохлебав угощение до последней капли, он вылизал миску, да так быстро и ловко, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была, как новенькая. Потом он принялся говорить – так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлёбываясь, как только что ел.

Вначале, кроме постоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы. Что-то там у него было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах... отец был богатый, а денег на него совсем не давал... И все его били. Всегда. Пока он был маленький, его били ребятишки. Когда он подрос, за него взялись взрослые. Его обзывали: тухляком, прорвой ненасытной, масалыгой, идиотом, дерьмочистом, дерьмодралом и дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сявкой и залепухой, колодой, дубиной и длинным колом... Девицы не хотели иметь с ним дела. Никакого. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И всё время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать... Ничего не было для него в этом мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго слова...

И вот появился Рабби.

Рабби положил руку ему на голову, узкую чистую руку без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено. Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире ещё оставались добро и любовь.

Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил. Всегда так складно, так гладко, так красиво, но он никогда не понимал, о чём речь, и не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов? Может быть, была только музыка, настойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота...

Конечно, среди учеников он оказался самым распоследним. Все его гоняли. То за водой, то на рынок, то к ростовщику, то к старосте. Вскопай огород хозяину – он нас приютил. Омой ноги этой женщине – она нас накормила. Помоги рабам этого купца – он дал нам денег... Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии – чтобы к утру починил! Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь – «показывает Иерусалим». Спесивый и нудный Пётр ежеутренне пристаёт с нравоучениями, понять которые так же

невозможно, как и речи Рабби, но только Рабби не сердится никогда, а Пётр только и делает, что сердится да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит... тужится, кряхтит и нудит.

И всё равно – это было счастье. Ведь рядом всегда был Рабби, протяни руку – и коснёшься его. Он потреплет тебя за ухо, и ты весь день счастлив, как пчёлка.

...Но, когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось, он видел только, что все сделались недовольны, а на чело Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделать? Он из кожи лез вон. Старался услужить каждому. В глаза заглядывал, чтобы угадать желание. Бросался по первому слову. И всё равно подзатыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных, а Рабби стал рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи. И вот она настала.

Все переоделись в чистое (кроме него – у него не было чистого) и сели вечерять. Неторопливо беседовали, по очереди макали пасху в блюдо с мёдом, мир был за столом, и все любили друг друга, а Рабби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжких предчувствий, не было в ней ничего о добре, о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злобе, о боли.

И все загомонили, сначала робко, с недоумением, а потом всё громче, с обидой и даже с возмущением. «Да кто же? – раздавались голоса. – Скажи же! Назови нам его тогда!» – а опасный Иоанн зашарил бешеными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем украдкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду, и тут Рабби вдруг сказал про него: «Да вот хотя бы он», – и наступила тишина, и все посмотрели на него, а он с перепугу уронил кусок в мёд и отдёрнул руку.

Первым засмеялся Фома, потом вежливо захихикал Пётр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть, а потом и Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом к, чуть не валясь со скамьи. И захохотали все. Им почему-то сделалось смешно, и даже Рабби улыбнулся, но улыбка его была бледна и печальна.

А он не смеялся. Сначала он испугался, он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к мёду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание? Неизвестно. Может, родилось оно от

бледной и печальной улыбки Рабби. А может быть, это было просто звериное предчувствие беды.

Они отсмеялись, погалдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за неделю отпустил шутку и шутка оказалась столь удачной. Они доели пасху, и ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот, когда он мыл во дворе посуду, вышел к нему под звёздное небо Рабби, присел рядом на перевёрнутый котёл и заговорил с ним.

Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, повторял снова и снова одно и то же: куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить, и когда поставят его перед спрошенным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил накрепко: куда, кого, что рассказать и что делать потом.

И когда, уже утром, он правильно и без запинки повторил приказание в третий раз, Рабби похвалил его и повёл за собой обратно в помещение. И там, в помещении, Рабби громко, так, чтобы слышали те, кто не спал, и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильнее сказать – на сегодня, потому что утро уже наступило, и дал ему денег, взявши их у Петра.

И он пошёл по прохладным ещё улицам города, в четвёртый, в пятый и в шестой раз повторяя про себя: кого; что рассказать; что делать потом, – и держал свой путь тупа, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему чёрное, звериное предчувствие беды сейчас, когда он выполняет приказание Рабби, не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом, и почему-то виделись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Иоанна и чудился леденящий отблеск на лезвии его длинного ножа...

Он пришёл, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить, и сначала его не пускали, и мучительно долго томили в огромном, еле освещённом единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал, и без запинки, без единой ошибки (это было счастье!) проговорил всё, что ему было приказано проговорить. И он увидел, как странная, противоестественная радость разгорается на холёном лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили и сунули ему в руки мешочек с деньгами. Всё было именно так, как предсказывал Рабби: похвалят, дадут денег, – и вот он уже ведёт стражников.

Солнце поднялось высоко, народу полно на улицах, и все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Всё, как предсказывал Рабби, а беда всё ближе и ближе, и ничего невозможно сделать, потому что всё идёт, как предсказывал Рабби, а значит – правильно.

Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошёл в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом.

Войдя, он сказал, как было приказано: «Я пришёл, Рабби», и Рабби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошёл к нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иного сына целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а навстречу им с ужасающим рёвом, прямо через стол, вылетел Иоанн с занесённым мечом, и начался бой.

Его сразу же сбили с ног и затоптали, и он впал в беспамятство, он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела, а над ним сидел на корточках Пётр, и больше в помещении никого не было, всё было завалено битыми горшками, поломанной

мебелью, растоптанной едой, и обильно окроплено кровью, как на бойне.

Пётр смотрел ему прямо в лицо, но словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал, большей частью неразборчиво. «Делать-то теперь что? – бормотал Пётр, бессмысленно тараща глаза. – Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться?», а заметивши наконец, что он очнулся, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: «Ты сам их сюда привёл, козий отброс, или тебе было велено? Говори!» «Мне было велено», – ответил он. «А это откуда?» – заорал Пётр ещё пуще, тыча ему в лицо мешочек с деньгами. «Велено мне было», – сказал он в отчаянии. И тогда Пётр отпустил его, поднялся и пошёл вон, на ходу засовывая мешочек за пазуху, но на пороге приостановился, повернулся к нему и сказал, словно выплюнул: «Предатель вонючий, иуда!».

На этом месте рассказа наш гусёнок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом уставился на дверь. Тут и мы всей бригадой тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, Агасфер Лукич и с неопределённым выражением на лице (то ли жалость написана была на этом лице, то ли печальное презрение, а может быть, и некая ностальгическая тоска) смотрел на гусёнка и манил его к себе пальцем. И гусёнок с грохотом обрушил все свои мослы на пол и на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая:

– Велено мне было! Белено! Он сам велел! И никому не велел говорить! Я бы сказал тебе, Опасный, но ведь он никому не велел говорить!..

– Встань, дристун, – сказал Агасфер Лукич. – Подбери сопли. Всё давно прошло и забыто. Пошли. Он хочет тебя видеть.

29. Сегодня наступило, наконец, семнадцатое, но не семнадцатое ноября, а семнадцатое июля. Солнце ослепительное. Грязища под окнами высохла и превратилась в серую растрескавшуюся твердь. Тополя на проспекте Труда клубятся зеленью, серёжки с ник уже осыпались. Жарко. В чём идти на улицу – непонятно. Самое летнее, что у меня есть, это нейлоновая майка и трусы.

Прямо с утра Парасюхин облачился в свой чёрный кожаный мундир эсэсовского самокатчика (а также патрона «Голубой устрицы») и пристал к Демиургу, чтобы тот откомандировал его в Мир Мечты. Мир – с большой буквы, и Мечта – тоже с большой буквы. Трижды Демиург нарочито настырным, казённо-дидактическим тоном переспрашивал его: Мир чьей именно Мечты имеется в виду? Даже я,

внутренне потешаясь над происходящим, почуял в этом настойчивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный, и некое смутное неприятное воспоминание шевельнулось во мне, я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Парасюхина.

Однако румяный болван не учуял ничего – со всей своей знаменитой нордической интуицией и со всем своим широко объявленным Внутренним Голосом. Он пёр напролом: Мир только одной Мечты возможен, всё остальное – либо миражи, либо происки... Мечта чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа... его, парасюхинская, личная Мечта, она же мечта родов народных...

С тем он и был откомандирован. Вот уже скоро обедать пора, а его всё нет.

Явилась пара абитуриентов. Юнец и юница, горячие комсомольские сердца. Оба в зелёных выгоревших комбинезонах, исполосованных надписями БАМСТРОЙ, ТАМСТРОЙ, СЯМСТРОЙ, такие-то годы (в том числе и 1997, что меня несколько удивило). Лица румянятся смущением и пылают энтузиазмом.

К стопам был повергнут проект «О лишении человечества страха». Фундамент и отец нашей цивилизации – страх... Совесть зачастую тоже базируется на страхе... и тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте и на вычитанной где-то фразе: «Поскребите любое дурное свойство человека, и выглянет его основа – страх». (Сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу.) Страх сковывает и угнетает: чувство справедливости, прямоту-честность-откровенность, гордость сюда же, собственное достоинство, принципиальность...

Демиург запутал их играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх сковывает и угнетает также: садизм-мазохизм, стремление к лёгкой наживе, склонность к лжесвидетельству, мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность... Кроме того, если поскрести кое-какие ДОБРЫЕ свойства кое-каких людей, то и в этом случае частенько вылезает наружу всё тот же страх... Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чём поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить! Угостить нашим морсом! Подать пальто!

Какие пальто в середине июля. Я повёл их на кухню поить морсом, и тут объявился Парасюхин.

Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потолка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я

только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки-ноги, заслонился растопыренными ладонями, локтями и даже коленями и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытаращенным глазом. Волна зловония распространилась по коридору – то ли он обгадился, то ли его недавно окунали в нужник, – я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду. Бригада набежала, и я распорядился. Парасюхина поволокли волоком в санобработку, – Колпаков, как обычно, с молчаливой старательностью, Матвей Матвеевич – с визгливыми причитаниями, а Спиртов-Водкин – поливая окрестности сквернословием, словно одержимый болезнью де ля Туретта.

И вот тогда-то я осознал, наконец, смутные свои опасения, отчётливо и в деталях вспомнив о своём собственном печальном опыте в Мире Мечты Матвея Матвеевича Гершковича...

Мир Мечты, назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством, Мир Мечты – это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано. В особенности – о мирах.

Юнец с юницей меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать, я просто собирался напоить их морсом, что и сделал под разнообразные элоквенции, явственно доносящиеся из санпропускника.

А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один.

«Эссе хомо!» – провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался – небольшого роста, ладный человек лет пятидесяти, в костюме странного покроя. На правой скуле его розовело что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стёртого грима. И с левой рукой у него было не всё в порядке – она висела плетью и казалась укороченной, кончики пальцев едва виднелись из рукава.

Таким я увидел его в первый раз – немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным.

– Прошу любить и жаловать, – произнёс Агасфер Лукич весело. – Георгий Ана...

(ПРИМЕЧАНИЕ ИГОРЯ К. МЫТАРИНА). На этом рукопись «ОЗ» обрывается. Продолжения я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего весь дальнейший текст был изъят самим Г.А. – например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г.А. Разумеется,

возможны и другие объяснения. Их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны.)

НЕОБХОДИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По понятным причинам, на двадцатом дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло сорок лет, и я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра двадцать первого июля. Почему мы все оказались рядом с Г.А. около его автомобиля в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после треволнений предыдущего пня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г.А., и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню.

Помню, что сразу же сел за руль.

Помню, как Г.А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда.

Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, – словно в какой-то старинной мелодраме, ей-богу.

Помню, как Иришка рвётся в машину, заливаясь громким плачем, и слёзы у неё летят во все стороны, будто у ревущего младенца.

И очень хорошо помню Аскольдика – как он решительно выдвигается, крепко берёт Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает Г.А.: «Не беспокойтесь, поезжайте, я её придержу».

На всю жизнь я запомнил это: ВЫ ПОЕЗЖАЙТЕ СЕБЕ, А Я ЕЁ ЗДЕСЬ ПРИДЕРЖУ.

(Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за сорок лет успел совсем позабыть их. Допускаю даже, что ты в то время вообще не припал им значения: слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно – выкидывать слово из песни?) Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брезжит только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу.

Помню скотомогильник в предрассветных сумерках. Мне показалось тогда, что кости шевелятся, а черепа провожают нас пустыми глазницами.

Флора не спала. Множество костров догорало, и бродили между кострищами понурые зябкие фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьём. Запахи почему-то запомнились. Вот странно!

Г.А. подошёл к самому большому костру и сел у огня. Рядом с нуси. Рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более что говорили в общем-то на жаргоне, помню только, что это были жалобы и проклятья. Они проклинали Г.А. за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обречённо. Г.А. молчал, он только обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике.

Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал даже – нормированным русским языком, безукоризненно чисто и правильно. Г.А. ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня – свои. У вас своя правда, у нас – своя», – и нуси ушёл.

Помню, как мне было страшно. Зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моём теле. Г.А. обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надёжный, твёрдый и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищённый, и я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах.

И тут у костра оказался этот толстенький, лысоватый, в дурацком костюмчике с дурацким разбухшим портфелем под мышкой.

(Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой, – то ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли всё-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нём какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой рукописи я и не подумал, – был он для меня просто раздражающе чудаковатый и неуместный тип, не к месту и не ко времени прицепившийся к моему Г.А.) Они поговорили о чём-то. Коротко и невнятно. Деталей не помню никаких. Помню только, что чудаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Г.А. – видимо, я тут же отнёс их к самому себе: «Да перестаньте вы, в самом деле. Ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент...»

Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещённую, жёлтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам.

Содержание

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Глава 1 3
Глава 2 8
Глава 3 18
Глава 4 21
Глава 5 30
Глава 6 35
Глава 7 41
Глава 8 47
Глава 9 63
Глава 10 71
Глава 11 79
Глава 12 87
Глава 13 95
Глава 14 104
Глава 15 120
Эпилог 131

Пикник на обочине

Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19... год: 137

1. Рэдрик Шухарт, 23 года, холост, лаборант Хармонтского филиала Международного института внеземных культур 140

2. Рэдрик Шухарт, 28 лет, женат, без определённых занятий 175

3. Ричард Г. Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Хармонтском филиале МИВК 211

4. Рэдрик Шухарт, 31 год 248

За миллиард лет до конца света

(рукопись, найденная при странных обстоятельствах)

1 275

2 284

3 292

4 304

5 312

6 322

7 329

8 339

9 354

10 367

11 376

Отягощённые злом, или Сорок лет спустя

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 383

ДНЕВНИК. 10 июля (ночь на 11-е) 387

РУКОПИСЬ «ОЗ» (1–3) 390

ДНЕВНИК. 12 июля 402

РУКОПИСЬ «ОЗ» (4) 408

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 411

ДНЕВНИК. 14 июля 419

РУКОПИСЬ «ОЗ» (5–9) 422
ДНЕВНИК. 16 июля 431
ДНЕВНИК. 17 июля. 5 часов утра 440
17 июля. Вечер 443
РУКОПИСЬ «ОЗ» (10–14) 447
ДНЕВНИК. 18 июля (Дополнение к 17-му) 460
18 июля. Вечер 461
РУКОПИСЬ «ОЗ» (15–18) 468
ДНЕВНИК. 19 июля (утро) 477
19 июля. 20 часов 30 минут 477
РУКОПИСЬ «ОЗ» (19–22) 484
ДНЕВНИК. Уже 20 июля. Ночь, 1.30 498
ДНЕВНИК. 20 июля. 11 утра 501
РУКОПИСЬ «ОЗ» (23–25) 504
ДНЕВНИК. 20 июля, 13 часов 520
20 июля, 15 часов 520
20 июля, половина шестого вечера 522
20 июля. семь вечера 525
РУКОПИСЬ «ОЗ» (26–27) 526
ДНЕВНИК. 20 июля, около полуночи 535
РУКОПИСЬ «ОЗ» (28–29) 536
НЕОБХОДИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 544

Очередная книжка-малышка, для ценителей старых, журнальных иллюстраций.

Идея, работа с текстом и иллюстрациями by formally.